Хьюго Виккерс

ЖЕНЩИНА - МИФ

ГРЕТА ГАРБО

и ее Возлюбленные

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга британского писателя Хьюго Виккерса рассказывает о киноактрисе Грете Гарбо, ставшей легендой еще при жизни. Судьба этой знаменитой женщины предстает перед читателем в переплетении с судьбами людей, любивших ее.

Марлен Дитрих, Мерседес де Акоста, Эва Ле Галльен — эти и многие другие личности сыграли важную роль в жизни Греты Гарбо, самой красивой женщины всех времен, блистательной актрисы, создавшей на экране образы загадочных роковых героинь.

- Хьюго Виккерс
  - ○
  - ○ Глава 1
    - ■ Голливуд, 1932: «…У нас здесь постоянно происходит что-нибудь новенькое»
    - ■ Мерседес: «Кто из вас принадлежит только к одному полу?»
    - ■ Мерседес: «Изящное тело, лилейные руки»
    - ■ Эва Ле Галльен
    - ■ Гарбо и Мерседес: «Я купила это для тебя в Берлине»
    - ■ Гарбо и Сесиль: «Я сделала с тобой такое…»
  - ○ Глава 2
    - ■ Успехи в свете
    - ■ «Мои отношения с мужчинами куда романтичнее, нежели с женщинами»
    - ■ «В присутствии этой тайны»
  - ○ Глава 3
  - ○ Глава 4
  - ○ Глава 5
  - ○ Глава 6
  - ○ Глава 7
  - ○ Глава 8
  - ○ Глава 9
  - ○ Глава 10
  - ○ Глава 11
  - ○ Глава 12
  - ○ Глава 13
  - ○ Глава 14
  - ○ Глава 15
  - ○ Глава 16

    - Глава 17
    - Глава 18
    - Иллюстрации
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13

Хьюго Виккерс
Грета Гарбо и ее возлюбленные

ГРЕТА ГАРБО

Глава 1
Друзья и возлюбленные

Голливуд, 1932: «…У нас здесь постоянно происходит что-нибудь новенькое»

Осенью 1932 года, вскоре по возвращении из Голливуда в Лондон, двадцативосьмилетний английский фотограф Сесиль Битон получил письмо от своей знакомой, Аниты Лоос, автора сценария фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Лоос в то время жила в Лос-Анджелесе, где писала сценарии для киностудии «МГМ».

«Мой обожаемый Сесиль!

Было просто замечательно получить от тебя столь длинное письмо. Какое, должно быть, блаженное время ты провел на отдыхе вместе с Питером. Не иначе как вы пребывали на седьмом небе.

Здесь у нас постоянно происходит что-нибудь новенькое, и поэтому всякий раз, когда я берусь за перо, то начинаю ломать голову, как бы мне чего не упустить. Роман Гарбо и Мерседес — что ни день, то новые сюрпризы. Между ними не раз вспыхивали ожесточенные ссоры, и в конце концов Гарбо просто хлопнула дверью, даже не попрощавшись. И тогда Мерседес полетела вслед за ней в Нью-Йорк, но Грета не захотела ее видеть. Мерседес прилетела назад в расстроенных чувствах. А еще она заявляет, будто у нее ни гроша в кармане — и вообще у нее ни минуты свободного времени и все просто ужасно. Ее жалобы наверняка составили бы толстый том размером с энциклопедию, но правда куда более увлекательного содержания, и поэтому я надеюсь, что когда-нибудь ты встретишься с Мерседес и все услышишь из ее уст…»

Далее Лоос перечисляет другие голливудские новости: Талула Бэнкхед собирается сотрудничать с «МГМ»: «Рыжеволосая женщина», комедия, сценарий которой был написан Лоос для Джин Харлоу, не прошла английской цензуры; американская писательница-драматург Зоя Аткинс и ее супруг ведут беспрестанные сражения, совсем как «два эсминца». У Лоос также нашлись свежие новости об Эдмунде Гулдинге, еще одном приятеле Сесиля. «Гранд-отель» — фильм, премьера которого состоялась весной того года — тотчас получил восторженные отзывы, главным образом благодаря Гарбо: она сыграла в нем томную роковую женщину, перед чарами которой не устоял Джон Барримор.

«Эд Гулдинг уехал спустя двенадцать часов после того, как закатил вечеринку для своих восьми подружек, которая

закончилась тем, что две из них угодили в больницу. Вмешался Херст и замял эту историю, так что в прессу почти ничего не просочилось, кроме нескольких туманных намеков в колонке у Уингелла. Должно быть, Херст в душе рвал и метал. В одной из газет представителям студии посоветовали не волноваться, что эта история станет достоянием гласности, — мол, она такая мерзкая, что ее нигде не напечатают. Лично мне неизвестно, что конкретно там у них происходило, но город полон всяких слухов и домыслов. Будь добр, ты тоже не слишком распространяйся об этом — думаю, что не стоит портить нашему Эдди настроение в Лондоне».

В Голливуде тридцатых годов лишь узкий круг «посвященных» ведал обо всем, что там творилось, в то время как широкой публике мало что становилось известно. «Роман Гарбо и Мерседес» ‘был одним из таких голливудских секретов, о котором официальные представители студии предпочитали хранить гробовое молчание, и неудивительно, что Сесиля наверняка бы заинтересовало дальнейшее развитие событий. Однако новости, изложенные в письме Лоос, наверняка подогрели его интерес в гораздо большей степени, нежели она подозревала. Сесиль в течение какого-то времени был без ума от Гарбо и, находясь в Калифорнии, преследовал ее, не ведая усталости, буквально по пятам, в надежде получить ее фото для обложки «Бога» или для книги, над которой он тогда работал, — Гарбо избегала его до самого последнего дня, когда Сесилю пришла пора возвращаться в Англию. И вот, наконец, в роскошном, построенном в испанском стиле особняке Гулдинга, где остановился Битон, знаменитый фотограф и кинозвезда встретились, и эта встреча затянулась до самого рассвета. Как ни странно, Сесиль — что весьма на него не похоже — не стал распространяться об этом событии.

Грета Гарбо жила большей частью тихо и уединенно, избегая шумных голливудских вечеринок и официальных мероприятий. Ей больше всего на свете нравилось быть одной или в кругу близких друзей. На протяжении всей своей жизни она была известна как «затворница», правда, иногда к этому слову прибавляли эпитет «светская затворница». Разумеется, иногда она совершала выходы в «свет», и во время одного из них, на небольшом приеме, устроенном в начале 1931 года Залькой Фиртель, сценаристкой польского происхождения, Гарбо познакомилась с Мерседес де Акостой, поэтессой, драматургом и автором ряда киносценариев, которая вскоре стала ее самым близким другом. Из воспоминаний Мерседес можно сделать вывод, что Гарбо первой заметила ее, договорилась о новой встрече и пригласила де Акосту к себе домой. Если верить

запискам Мерседес, в первую ночь, проведенную ими в обществе друг друга, женщины засиделись допоздна, беседуя за накрытым столом, а затем пошли на пляж.

«Мы говорили о вещах… глубокомысленных и тривиальных. Затем, когда луна зашла за горизонт, а на востоке край неба озарился узкой полоской света, мы примолкли. Медленно разгоралась заря. И как только взошло солнце, мы отправились в горы, где собирали букеты диких роз».

Летом 1931 года Гарбо и Мерседес уединились на озере Сильвер-Лейк, в горах Сьерра-Невады, в небольшом домике, принадлежавшем актеру Уоллесу Бири. Там, вдали от посторонних глаз, они в течение некоторого времени предавались идиллии, хотя и не столь долго, как уверяет Мерседес:

«Как же описать шесть последующих волшебных недель? Даже сами воспоминания о них служат подтверждением тому, какое счастье выпало мне тогда. Шесть бесподобных недель, что случаются лишь раз в жизни. Уже одного этого достаточно. На протяжении всего времени между Гретой и мною или нами обеими и природой не возникло ни секунды дисгармонии…»

Мерседес пристально наблюдала за Гарбо. В отрывке, который она предпочла в своей автобиографии опустить, поэтесса так описывает ноги Гарбо; «…их цвет был не просто цветом загара, как то обычно бывает; нет, просто кожа приобрела легкий золотистый оттенок и нежнейшие волоски, покрывавшие ее ноги, тоже стали золотистыми. Сами ноги были классической формы. Их не назовешь ни типичными ножками танцовщицы из «Фолли-Бержер», ни мечтой американца, с его представлениями о том, какими полагается быть женским ногам. Нет, они обладали той совершенной формой, какую мы находим у греческих статуй».

Гарбо жила в лос-анджелесском районе Брентвуд, и Мерседес переехала к ней поближе. Она как раз завершила работу над сценарием для Полы Негри, и, когда ее работу отвергли, Гарбо решила, что Мерседес должна написать что-нибудь для нее. Этот проект получил название «Совсем отчаявшись». Сценарий был зарегистрирован на «МГМ» 21 января 1932 года, в нем рассказывалась история девушки, чья мать спрыгнула со скалы, после чего сама девушка следует знаменитой заповеди Ницше:

«Надо научиться жить, совсем отчаявшись». Мерседес описывала свою героиню, словно это была сама Гарбо.

«Вы моментально чувствуете ее странную, необузданную натуру, внутри которой до сих пор борются устремления ее матери и отца, мира старого и нового, и эта битва кипит в ее душе едва ли не с младенческого возраста. Вы тотчас чувствуете в ней веселость и печаль, ясность духа и невротичность, бьющую

ключом жизнь и полную отрешенность, апатию и непоседливость, застенчивость и дерзновенность — и все это перемешано в ней в каком-то безумном противоречии, которое подтачивает ее силы и заставляет воевать с самой собой, отчего она еще больше превращается в загадку, непостижимую для простого смертного. В ее глазах вы уже замечаете отрешенность, которая скорее проистекает из ее души, нежели из происходящего вокруг, — застывший взгляд, на дне которого покоится вечность».

На протяжении большей части картины героиня Гарбо должна была появляться на экране в мальчишеском одеянии, чтобы скрываться от полиции и остальных. Ирвинг Тальберг, заведующий постановочной частью «МГМ», и слышать об этом не желал. «Вы что, хотите, чтобы против нее восстала вся Америка? Все женские клубы? Да вы, наверно, выжили из ума, коль предлагаете такое… Мы годами создавали образ Гарбо как великой блистательной актрисы, и вот теперь вы лезете со своим сценарием, желая нарядить ее в штаны и сделать из нее что-то вроде мартышки». В конечном итоге на проекте пришлось поставить крест.

После этого Гарбо снялась в «Гранд-отеле» и «Если ты хочешь меня», вышедшем на экраны в июне 1932 года. Пока шли переговоры по поводу ее нового контракта с «МГМ», Гарбо улетела из Голливуда в Нью-Йорк, где укрылась в отеле «Сент-Моритц» возле Центрального Парка, а затем и вообще отплыла в родную Швецию. Мерседес осталась одна, в том состоянии, в котором ее описала Анита Лоос в своем послании Сесилю Битону. Однако, поскольку вскоре Мерседес начала забрасывать цветами другая актриса, Марлен Дитрих, вознамерившаяся во что бы то ни стало завоевать ее, то страдания поэтессы, по всей видимости, были не столь жестоки, как полагала Лоос.

Мерседес: «Кто из вас принадлежит только к одному полу?»

Эти слова принадлежат Мерседес де Акосте — теперь практически всеми позабытой личности, которая в свое время была знаменита в литературных и кинематографических кругах. Младшая из восьми детей Рикардо де Акосты, она родилась 1 марта 1893 года и провела свои юные годы вплоть до первой мировой войны в Нью-Йорке, где воспитывалась в строгом духе испанского католичества. Это была брюнетка с темными глазами, ростом 5 футов 4 дюйма (примерно 170 см). В ее внешности было нечто величественное, и неудивительно, что Мерседес утверждала, будто принадлежит к древнему кастильскому роду, хотя бытовало мнение, что ее предки переселились в США с Кубы.

Мерседес сочиняла романы, пьесы, киносценарии, её стихи часто публиковались в прессе, хотя сейчас их никто не читает.

Одна из сестер Мерседес, красавица Рита Лайдиг, служила моделью Саржану и Больдини. «Потрясающая женщина, похожая на героиню романтического романа, миссис Рита де Акоста Лайдиг явилась истинным украшением первых десятилетий двадцатого века благодаря своему совершенству, которое практически невозможно встретить со времен Возрождения», — писал Сесиль Битон в своей книге «Отражение стиля», в которой дотошно проанализировал веяния двадцатого столетия.

Нью-Йорк в детские годы Мерседес поражал каким-то особым очарованием, ныне безвозвратно утраченным. По его улицам все еще бродили шарманщики-итальянцы, водившие за собой на цепочках печальных обезьянок. По нью-йоркским улицам грохотали кареты с лакеями на запятках. Благодаря старшей сестре Мерседес познакомилась со многими знаменитостями того времени, начиная с Родена и Анатолия Франса и кончая Эдит Уортон и королевой Румынии Марией. Она подружилась с Пикассо, Стравинским, Сарой Бернар и многими другими. Мерседес частенько заявляла, что ум ее «интернационален», если не «универсален», хотя в душе она остается «типичной испанкой».

Кинематографическая карьера Мерседес включала и такой эпизод, как ссора с Ирвингом Тальбергом — тот уволил ее за то, что она отказалась написать эпизод для фильма «Распутин и императрица» (1932 год). В картину предполагалось включить эпизод встречи княгини Ирины Юсуповой с Безумным Монахом, что не соответствовало действительности. Мерседес была в Голливуде «паршивой овцой».

Жизнь Мерседес не назовешь легкой, Она часто впадала в депрессию, отчего в детские годы громко стонала, забившись в угол. Став взрослой. Мерседес нередко страдала бессонницей и приступами мигрени. Не однажды ей пришлось пережить то, что сама она называла «потемками души». Мерседес верила в «астральное перемещение», когда «дух или же внутреннее «Я» во время сна покидает тело и тем не менее не утрачивает связи с жизненной силой». Мерседес поясняла, что, если вам случится внезапно проснуться среди ночи, словно вас кто-то толкнул, это значит, что «ваш астрал слишком резко оставил физическое тело».

Будучи вегетарианкой, она искренне верила, что употребление в пищу мяса приводит к тому, что человеческое тело превращается в могильник для трупов убиенных животных. Мерседес увлекалась восточными религиями и была последовательницей Кришнамурти. Свою жизнь она начала как ревностная католичка и имела привычку проводить долгие часы на коленях, вытянув при этом сложенные крестом руки. Мерседес засовывала к себе в туфли гвозди и камни и ходила до тех пор, пока стопы ее не начинали кровоточить. Позднее она отвергла многие из доктрин католической церкви, сказав Эльзе Максвелл по этому поводу следующее: «Я не верю в догмы. Я убеждена, что из каждой религии следует черпать лишь самую ее суть и тем самым вырабатывать собственную веру». Мерседес была ярой феминисткой и обожала Айседору Дункан, поскольку та помогала женщинам сбросить с себя чулки и корсеты за ненадобностью и освободиться от многослойной одежды и ввела в моду босоножки.

Мерседес до семи лет была убеждена, что она мальчик. Ее родители поддерживали в ней это убеждение, говоря о ней как о сыне и одевая как мальчика. Мать Мерседес страстно желала сына, которого собиралась назвать Рафаэлем, и поэтому звала дочь этим именем. И Мерседес играла наравне с другими мальчиками в мальчишеские игры. Но однажды «разыгралась трагедия». Кто-то из мальчиков сказал Мерседес, что поскольку она девочка, то не сможет кинуть мяч так же далеко, как он. Мерседес оскорбилась и вызвала обидчика помериться силами в поединке. Однако вместо того, чтобы ввязываться в драку, мальчик отвел ее за угол и продемонстрировал девочке свой миниатюрный пенис.

Позднее Мерседес вспоминала эту сцену:

«А это у тебя есть?» — спросил он. Я была в шоке. Я наслушалась всяких историй, как из взрослых и детей делали уродов. И вот теперь это было первым, что пришло мне на ум. «Тебя изуродовали!» — воскликнула я. «Если ты мальчик и у тебя

этого нет, то, значит, это тебя изуродовали!» — возразил он.

К этому времени нас окружили другие мальчики и живо принялись демонстрировать мне тот странный феномен, который мне только что продемонстрировал первый из них. Вид у них был угрожающий, словно они желали за что-то покарать меня! Они требовали, чтобы я продемонстрировала им то же самое. «Докажи, что ты не девочка, — хором кричали они».

Для юного «Рафаэля» этот случай стал настоящим потрясением.

«В одно мгновение абсолютно все в моей юной душе стало чудовищным, ужасающим, мрачным».

Мерседес в слезах бросилась к няне, а затем потребовала у матери ответ, и та призналась ей, что она девочка. В конечном итоге, как писала Мерседес в неопубликованных набросках к своим мемуарам, ее отправили в монастырь, дабы она там приобрела приличествующие барышне манеры, однако юная дикарка убежала оттуда. Она продолжала отрицать свою принадлежность к прекрасному полу, объясняя это ошарашенным монахиням так: «Я не мальчик и не девочка, или же я и то и другое — я точно не знаю. А раз мне это не известно, то я никогда не буду принадлежать ни к тем, ни к другим и всю свою жизнь останусь одинокой».

Спустя несколько лет Мерседес размышляла о том, как этот случай повлиял на всю ее жизнь и отношение к мужчинам и женщинам.

«…Это позволило мне увидеть и понять полутона жизни, как, например, трепетные полутона сумерек и предрассветной поры, что во все времена были полны тайн и романтики, и поэтому я пристальнее взглянула на эти полутона жизни и на людей, что шагают в ритме с ними, и обнаружила, что они — самое прекрасное творение на свете. К внешней форме, демонстрирующей принадлежность нашего тела к тому или другому полу, я осталась совершенно равнодушна, мне непонятна разница между мужчиной и женщиной, и, веруя исключительно в непреходящую ценность любви, я отказываюсь понять этих так называемых нормальных людей, которые убеждены, что мужчина должен любить только женщину, а женщина — мужчину. Но если это так, то где же тогда дух, личность, ум? Неужели любовь и впрямь заключается только во влечении к физическому телу? Убеждена, что в большинстве случаев этим и объясняется тот факт, что «нормальные» люди, как правило, обделены вдохновеньем, художник в них мертв, чувства их менее обострены, чем у людей «полутона». В целом их отличает приземленность, и они столь озабочены физической оболочкой,

что не видят дальше внешних различий между мужчиной и женщиной. Древние греки прекрасно понимали, что в каждом из нас присутствует как мужское, так и женское начало, и во время достижения телом высот этого духовного понимания они, не колеблясь, создавали в своих скульптурных работах тела, наделенные чертами гермафродитов. В поэтике своей жизни они принимали как гомо-, так и бисексуальное влечение, чьи импульсы они рассматривали всего лишь как еще один поток, несущий свои воды к одному и тому же великому морю — вечному источнику любви!»

Юная Мерседес любила свою эксцентричную мать-аристократку и нередко признавалась, что страдала от материнского комплекса. Когда мать умерла. Мерседес отказывалась подпускать к ее телу кого бы то ни было. Когда же брат попробовал приблизиться к гробу, Мерседес схватилась за нож и пыталась его заколоть.

Ее отец, поэт и интеллектуал, был видным мужчиной. В годы молодости, еще на Кубе, он один остался в живых после боя, в котором погибли двадцать его товарищей. В более поздние годы он постоянно мысленно обращался к этому эпизоду. Когда же Мерседес было четырнадцать, он — уже убеленный сединами старик — покончил с жизнью, сбросившись с высокой скалы.

«Я знала, что этот шаг был для него чем-то вроде искупления вины перед товарищами за то, что он тогда один избежал смерти», — писала Мерседес.

Мерседес и сама была способна на дерзкие, полные драматизма поступки. У нее имелся небольшой револьвер-кольт, и ей становилось легче на душе при мысли, что если жизнь станет невыносимо тяжела, то она всегда сможет сунуть ствол пистолета в рот и «убрать себя с этой непонятной планеты». В один прекрасный день револьвер исчез. Мерседес выяснила, что это ее сестра Баба спрятала его от греха подальше, а точнее, выбросила в Ист-Ривер. Мерседес метала громы и молнии.

Она вспоминала:

«Это ты взяла его, — крикнула я и бросилась на сестру. Я навалилась на нее всем весом моего тела, и она упала навзничь, а я сверху. Я вцепилась ей в горло и принялась бить ее головой об пол».

Подобно многим жителям Нью-Йорка, Мерседес обожала атмосферу ночных клубов двадцатых годов и прочих сомнительных увеселений.

«Теперь трудно понять, что мы находили во всем этом хорошего. Полагаю, что это был недавно открытый нами соблазн однополой любви, которая после войны пышным цветом расцвела

в ночных клубах и кабаре, где молодые люди одевались, как девушки. Эта любовь, как и спиртное, была под запретом и нередко влекла за собой полицейские облавы, отчего запретный плод казался еще слаще. Молодежь взбунтовалась, ей ничего не стоило обвести власти и полицию вокруг пальца, и это только придавало ощущениям особую остроту».

Мерседес так писала в черновике своих мемуаров: «Какими словами мне передать читателю то разнообразие личностей, которые сосуществуют в моей душе; возможно, как и у меня, у него или у нее — в зависимости от пола — тоже живут в душе сразу несколько личностей. И сразу возникает еще одна проблема. Кто из нас принадлежит только к одному полу? Во мне временами сосуществуют и мужчина и женщина…»

С 1920 по 1935 год Мерседес была замужем за художником-портретистом Абрамом Пулем, однако она терпеть не могла, когда о ней говорили как о миссис Абрам Пуль, и настаивала, чтобы к ней обращались «Мерседес де Акоста». Впрочем, замужество не мешало ей оказывать знаки внимания многочисленным дамам. По ее собственным утверждениям, даже в медовый месяц она прихватила с собой подружку. В этом отношении Мерседес не было равных. Элис Б. Токлас писала о ней следующее: «Одна знакомая как-то раз сказала мне, что от Мерседес не так-то легко отделаться, ведь ей принадлежали две самые знаменитые женщины в США — Грета Гарбо и Марлен Дитрих». Незадолго до своей кончины, в возрасте ста лет, Дики Феллоуз-Гордон, давняя подруга Эльзы Максвелл, вспоминала, как Мерседес часто хвасталась; «Я могу отбить любую женщину у любого мужчины», — и это далеко не голословное утверждение. Трумен Кэпот был одним из тех, кто восторгался смелыми любовными романами Мерседес. Трумен задумал нечто вроде игры, которую назвал Международной цепочкой Маргариток, — цель ее заключалась в том, чтобы «слить в любовных объятьях как можно больше людей, используя при этом как можно меньше постелей, — вспоминает искусствовед Джон Ричардсон. — Он частенько заявлял, что Мерседес — лучший козырь в игре. С ее помощью можно подобраться к кому угодно, будь то Папа Иоанн XXIII или Джон Кеннеди, — и притом, в один ход».

Мерседес: «Изящное тело, лилейные руки»

Мерседес всегда одевалась с шиком, иногда только в белое, иногда в черное, либо комбинируя эти два цвета. Она обожала плащи и шляпы-треуголки, а также хорошо скроенные жакеты. Она была любительницей шампанского, лилий и икры, при необходимости могла наполнить комнату столь соблазнительными вещами, что мысли о том, во что же это обошлось, тотчас как-то отступали на второй план. Вряд ли найдется хоть одна из знаменитых женщин, чей жизненный путь так или иначе не пересекался с Мерседес. Неудивительно, что та писала: «Я никак не могу избавиться от ощущения некой духовной потерянности, словно я одна на ощупь бреду во тьме». В ее поэзии эта же мысль выражена более сильно.

Я никому не покорюсь.
Заветных тайн своих не выдам,
И пусть кто-то жадно и страстно
владеет моим телом —
Мой дух
Навсегда останется девственным
И, недоступный никому.
Будет скитаться в вечности.

Мерседес то и дело страстно увлекалась знаменитыми женщинами с непростыми характерами — итальянской дивой с трагическим лицом Элеонорой Дузе (впервые она увидела ее, проплывая в венецианской гондоле, когда ей было всего одиннадцать лет. Когда же Дузе скончалась в Питтсбурге, Мерседес похоронила ее в Доминиканской католической церкви на Лексингтон-авеню), русской балериной Тамарой Карсавиной, Айседорой Дункан — знаменитой танцовщицей, чья жизнь трагически оборвалась, когда конец ее шарфа запутался в колесе машины.

Мерседес впервые познакомилась с Айседорой в 1916 году и на протяжении их долгой дружбы нередко платила ее долги, а также отредактировала и опубликовала ее мемуары «Моя жизнь».

«Немало дней и ночей мы провели вместе, — вспоминала Мерседес, — ели, когда испытывали голод, спали, если нас одолевала усталость, независимо от времени суток».

Айседора часто танцевала для нее, а однажды, танцуя, напевала себе под нос что-то из «Парсифаля». В последний год

своей жизни Айседора даже сочинила стихотворение, посвященное Мерседес. Написанное ее неразборчивым почерком, оно, в частности, содержит следующие строки:

Изящное тело, лилейные руки
Избавят меня от никчемных забот.
Белые груди, нежны и упруги.
Влекут мой изголодавшийся рот.
Два розовых, твердых бутона-соска
Заставят забыть, что такое тоска;
Мои поцелуи пчелиным роем
Колени и бедра твои покроют.
Вкушая нектар с лепестков
Столь сладких.
Что выпить готова я все без остатка.

Среди других женщин в жизни Мерседес были и Мари Доро, знаменитая актриса, открытая Чарльзом Фроманом.

Невысокая, подвижная, наделенная острым умом, обычно она тотчас приковывала к себе взгляды своими огромными черными глазами и густыми каштановыми волосами. Мари сочиняла популярные песенки, и одна из них называлась «Неужели я неясно говорю?». Кроме того, она досконально знала шекспировские сонеты и поэзию елизаветинской эпохи. Мари, как и Мерседес, была зачарована религией и даже училась в теологической семинарии в Нью-Йорке.

«Она была наделена способностью то вторгаться в мою жизнь, то исчезать из нее, — писала Мерседес, добавляя: — И если вы близко не были с ней знакомы, а на это понадобилась бы целая жизнь, вы бы ни за что не раскусили все ее уловки, при помощи которых она пыталась скрыть свою красоту. Я тотчас обращала на нее внимание, несмотря на то, что она наряжалась как чучело, чтобы только спрятаться от досужих взглядов.

Мари имела привычку «уходить в подполье», чтобы «предаваться созерцанию», и однажды в течение недели четырежды переезжала из гостиницы в гостиницу, чтобы друзья не беспокоили ее. Когда она скончалась — а это случилось в 1916 году, — то завещала 90 тысяч долларов Актерскому Фонду».

Одной из ранних подружек Мерседес была Бесси Мартери, приятельница декораторши Элси де Вольф, являвшейся также литературным агентом Герберта Уэллса, Сомерсета Моэма и Оскара Уайльда. Кроме того, благодаря ей Мерседес познакомилась с очередным ее романтическим увлечением, Аллой Назимовой, знаменитой русской актрисой.

Назимова — настоящий комок нервов, стройная и темноволосая женщина, во внешности которой было нечто экзотическое. Когда она впервые появилась в США, у нее были хорошо различимые усики, модные в России, но только не в Америке. В конечном итоге ее убедили расстаться с этим украшением. Мерседес познакомилась с ней после грандиозного бенефиса в Мэдисон-Сквер-Гарден, во время которого Назимова, одетая казаком, носилась вокруг арены с российским флагом в руках и через каждые несколько шагов высоко подпрыгивала. Мерседес зашла к ней в гримуборную и тотчас была покорена ее бездонными фиолетовыми глазами. Назимова протянула ей навстречу руки.

«Мы тотчас прониклись симпатией друг к другу. Я чувствовала себя с ней совершенно непринужденно, словно мы были знакомы всю жизнь», — вспоминала Мерседес.

Назимова приехала в Америку в 1906 году. Генри Миллер убедил ее выучить английский, и она блистала в его пьесе «Гедда Габлер». Назимова сыграла ряд ролей в постановках Ибсена и Чехова, а в пьесе Юджина О'Нила «Траур к лицу Электре» создала непревзойденный образ мужеубийцы. Когда ее награждали аплодисментами, она никогда не кланялась, а отдавала «римский салют», который позднее приобрел зловещую окраску у Муссолини и итальянских фашистов.

Назимова жила в просторной гасиенде на бульваре Сансет, посреди трех с половиной акров тропической растительности. В какой-то период бытовало убеждение, что у нее был роман с Рудольфом Валентино, однако Назимова предпочитала общество своих многочисленных приятельниц. Тем не менее она не скрывала своей радости, когда Валентино влюбился в ее протеже, художницу по костюмам и декорациям, Наташу Рамбову, экзотическое создание, постоянно кутавшееся в просторные накидки, в тюрбане и серьгах. Назимова сама представила ему свою подружку. Вскоре она принялась увещевать Валентино, будто тот якобы будет обречен на несчастье, если вздумает жениться на этой потаскушке, но тот упорно стоял на своем. Карьера Валентино застопорилась, и его друзья в своих предположениях додумались до того, что напряжение бракоразводного процесса сказалось на его здоровье и в конце концов свело в 1926 году в могилу.

В 1927 году Назимова превратила свой дом в отель, в знаменитый «Сад Аллаха». Поначалу дела там шли не лучшим образом. Когда же она продала отель, то фактически потеряла все, что когда-то вложила в него, а финансовый крах 1929 года добил ее окончательно. Назимова скончалась от рака в 1945 году.

Правда, она все-таки удостоилась особой чести, войдя в историю как крестная Нэнси Рейган.

Эва Ле Галльен

Незадолго до своего бракосочетания с Абрамом Пулем, состоявшегося 11 мая 1920 года, Мерседес познакомилась с Эвой Ле Галльен. Эве был двадцать один год. Мерседес — двадцать семь. Затем они снова встретились в ноябре 1921 года, когда Эва играла роль Жюли в первой американской постановке пьесы Ференца Мольнара «Лилиом». Мерседес послала ей восторженный отзыв: «Моя дорогая мисс Ле Галльен!» — и пригласила актрису отобедать вместе с ней. Они оказались родственными душами — их влекло друг к другу не только физически, но и духовно — на почве общих надежд найти себя на театральном поприще. Кроме того, обе восхищались великим талантом непревзойденной Элеоноры Дузе.

Эва Ле Галльен, родившаяся, в 1899 году, была дочерью английского литературного критика и поэта Ричарда де Галльена (между прочим, друга Оскара Уайльда) и его датчанки-жены, журналистки Юлии Норрегард. Родители Эвы разошлись в 1903 году, и ее детские годы прошли в Париже. В возрасте семи лет ее как-то раз взяли на спектакль «Спящая красавица», в котором роль принца исполняла Сара Бернар, и в душе девочки зародилось страстное желание стать актрисой. Позднее она вспоминала, что появление на сцене Сары Бернар стало для нее чем-то вроде «удара током». Актерский дебют Эвы состоялся в Лондоне в 1914 году, а год спустя она отправилась в Нью-Йорк в надежде получить роль в одной из постановок Беласко. Первые пять лет, проведенные ею в Америке, были полны трудностей, и роль Жюли явилась важным шагом в ее театральной карьере. Критики полюбили актрису.

Большую часть времени Эва проводила в гастролях, а когда не была занята в спектаклях, то жила уединенно, почти затворницей. В самом начале их романа она призналась, что влюблена в Мерседес, которая на первый взгляд вела жизнь добропорядочной замужней дамы. Эва отправилась в гастрольное турне с «Лили-ом» в феврале 1922 года, три месяца спустя после их первого совместного обеда втроем, и почти каждый день забрасывала Мерседес посланиями. В ее личном архиве насчитывается около тысячи страниц, написанных с 1921 по 1927 год. Она изредка встречалась с Мерседес, когда приезжала в Нью-Йорк на репетиции или же по воскресеньям, однако их встречи проходили украдкой, так как обе женщины опасались стать объектом сплетен и пересудов. Подобное положение разлученных возлюбленных временами было еще более невыносимым,

поскольку усугублялось приступами нездоровья у Мерседес и неуверенностью Эвы в дальнейшем развитии событий.

Они снова встретились в конце февраля, однако Эва по-прежнему не находила себе места. Судя по ее письмам к Мерседес (письма, полученные от подруги, она, по всей видимости, уничтожала), многое из того, что ей хотелось сказать, осталось невысказанным, а то, что все-таки легло на бумагу, написано сбивчиво и сумбурно. Эва ужасно переживала, опасаясь, что надоела Мерседес и сильно осложняет ей семейную жизнь.

Их встреча произошла на квартире у Эвы, которая, по ее мнению, была далеко не шикарной. В соответствии с образом Мерседес, Эве казалось, что она должна украсить свое жилище белыми камелиями, а к ним добавить, в целях самовыражения, несколько гардений. Их встречи оказывались слишком поспешны, в промежутках между посещениями театральных агентов и обедами, с которых Эва обычно старалась сбежать пораньше.

Безраздельно отдавшись Мерседес, Эва приходила в ужас от одной только мысли, что может ее потерять. Она писала, что мысль об Абраме[1] или ком-то еще в объятиях подруги была для нее просто невыносима.

Мерседес сочинила пьесу «Жанна Д'Арк» и надеялась, что Эва сыграет в ней. Та была настроена сделать это во что бы то ни стало, хотя и опасалась, что не оправдает возложенных на нее надежд. В мае Мерседес заболела и Абрам телеграммой известил об этом Эву. Конфликт достиг своего апогея: Эва мучилась ревностью к Абраму, который обладал законным и моральным правом заботиться о Мерседес и делить с ней постель. Щекотливая ситуация усугублялась тем, что на сцене снова появилась бывшая подружка Мерседес по имени Билли Маккивер. Это была жительница Нью-Йорка, дама без предрассудков, происходившая, впрочем, из весьма консервативной семьи. Мерседес написала о ней следующие строки: «Она подобна ртути… дерзкая, необузданная, было в ней нечто «восхитительно потустороннее». Мерседес называла подружку «цыганское дитя».

Мерседес вскоре поправилась и в воскресенье 4 июня отплыла на борту «Олимпика» в Европу, имея при себе около десятка посланий от Эвы, которые предписывалось вскрывать по одному в день. В них говорилось, что Эва без ума от своей возлюбленной, а также выражалась надежда, что Мерседес не станет одерживать романтических побед на залитой лунным светом палубе.

Через два дня Эва отправилась вслед за Мерседес на борту «Мавритании». Она направлялась в Англию погостить у матери в Лондоне. Мерседес не знала, уместно ли будет посылать туда

письма, но Эва заверила подругу, что тотчас спрячет их под замок в надежном месте, а затем ночами будет перечитывать. Эве не терпелось присоединиться к Мерседес, и вскоре она отправилась в Париж, где они и провели несколько недель. Их любовным гнездышком стал отель «Фойо» на Рю-де-Турнон, где некогда останавливался сам Казанова. Во время их совместного пребывания в Париже они нанесли визит Дики Феллоуз-Гордон, которая спустя семьдесят лет вспоминала об их посещении. По ее словам, это была типичная влюбленная парочка.

22 июля Мерседес уехала в Мюнхен, и ей вслед полетели любовные послания Эвы, которая осталась в Париже. К Эве приехала погостить мать, и Эва читала ей вслух отрывки из «Жанны Д'Арк». Когда же Эва осталась одна, то развлечения ради посещала «Мулен Руж» на Монмартре, где с удовольствием отплясывала и болтала с кокотками. Наконец ей в руки попала записка от Мерседес, переданная через скульптора Мальвину Хофман. Мерседес звала подругу к себе, и Эва тотчас откликнулась на ее зов. Восточным экспрессом они вместе объехали Геную, Венецию, Мюнхен и Вену. Мольнар, автор «Лилиом», встретился с ними в Будапеште, где Эву ждал радушный прием и даже лозунги «Добро пожаловать, Жюли!». На улице незнакомые люди дарили актрисе цветы. С этого момента венгры, «казалось, только и были заняты тем, что до самого раннего утра чествовали их».

Однако вскоре Эва была вынуждена оставить Мерседес в обществе Абрама. Сама она через Париж вернулась в Лондон, тогда как Мерседес с Абрамом отправились дальше в Константинополь, где, судя по отметкам в паспорте Мерседес, провели несколько дней — с 8 по 18 августа 1922 года. Они остановились в «Пера», знаменитом отеле, в числе гостей которого бывали Ататюрк и Агата Кристи. В своих мемуарах Мерседес оставила яркие воспоминания о том «животрепещущем эпизоде».

«…Однажды в фойе отеля «Дворец Пера» я заметила женщину той редкой красоты, которая когда-либо представала моему взору. Черты ее лица и осанка отличались изысканностью и аристократизмом, и поэтому я поначалу решила, что это какая-нибудь бывшая русская княжна. Портье сказал, что ему не известно ее имя, однако, если он не ошибается, это шведская актриса, прибывшая в Константинополь с великим шведским кинорежиссером Морицом Стиллером.

Впоследствии я несколько раз встречала ее на улице. Мне просто не давали покоя ее глаза, и меня так и тянуло заговорить с ней, но я так и не осмелилась. К тому же я даже не знала, на

каком языке говорить с ней. Она произвела на меня впечатление полной неприкаянности, и это чувство только усиливало мое собственное меланхолическое состояние духа. Мне претила сама мысль, что я уеду из Константинополя, так и не заговорив с ней, но временами судьба проявляет к нам снисхождение, или же наоборот, мы просто не в состоянии бежать от нее. Может показаться странным, но когда поезд отошел от перрона, увозя меня из Константинополя, у меня возникло предчувствие, что я, возможно, снова увижу это прекрасное и скорбное лицо на каком-нибудь далеком берегу».

Мерседес упорно настаивала на этой версии своей первой встречи с Гарбо, но, к сожалению, эта встреча вряд ли могла тогда состояться, или же Мерседес попросту обозналась.

Ни Гарбо, ни Стиллер не приезжали в Константинополь до декабря 1924 года, а в это время Мерседес, согласно имеющимся данным, пребывала в Нью-Йорке.

Что примечательно, первоначальный набросок мемуаров Мерседес повествует об этой встрече несколько в ином ключе, что дает нам все основания заподозрить, что конечная версия значительно приукрашена.

«В этом странном и удивительном городе, по которому я бродила, движимая тысячью эмоций, совершенно не подозревая, что в тот же момент, так же влекомая потоком человеческого бытия, остановившись в том же отеле, что и я, пребывала другая душа, которая в один прекрасный день станет для меня центром мироздания.

И все же, вглядываясь в прошлое — в те дни и ночи, — я порой ощущаю, что жила тогда, затаив дыхание, казалось, будто я напрягала зрение, слух, пытаясь услышать голос, уловить мимолетный взгляд — то, чего я ждала всю мою жизнь.

Уезжая из Константинополя, я рыдала. Не знаю почему, но у меня было такое чувство, будто от меня отрывают мое собственное сердце. Неужели я уже тогда подсознательно догадывалась, что, покидая этот город, я оставлю там мою единственную возлюбленную, к которой судьба решила временно не подпускать меня, но которую мне было предназначено встретить на далеком берегу за многие тысячи миль от этой восточной земли!»

И пока Мерседес предавалась в Константинополе безудержным фантазиям, Эва гостила у матери в Англии, мучительно пытаясь разобраться в их запутанных отношениях. Мерседес приехала в Лондон, однако Эва чуть ли не на следующий день отплыла в Нью-Йорк на борту «Мавритании». Мерседес оставалась в Европе до октября, а Эва тем временем, не

находя себе места, возобновила гастрольное турне с «Лили-ом». Так получилось, что она вернулась в Нью-Йорк только в декабре.

Длительная разлука разбередила старые обиды, упреки и ревность. Эва до конца оставалась верной Мерседес и частенько обижалась на колкие замечания подруги, будто ей, мол, следовало найти себе для утешения кого-нибудь еще. Эва тосковала в одиночестве, чего нельзя сказать о Мерседес. Временами между разлученными возлюбленными возникала надежда на новую встречу, однако чаще всего это были вспышки ревности и подозрений в неверности. Эва писала, что Билли Маккивер, бывшая подруга Мерседес, причиняла ей относительно терпимую боль, в то время как каждая очередная новость об Алле Назимовой выворачивала ее буквально наизнанку.

Роман тянулся до 1923 года и после длительной разлуки разгорелся с прежней страстью в новогодние дни. К концу января гастрольное турне «Лилиом» подошло к концу и Эва возвратилась в Нью-Йорк. Она прямиком направилась к Мерседес в отель «Шелбурн».

Весной 1923 года продюсер Сэм Харрис отверг сценарий «Жанны Д'Арк». Тем не менее он поинтересовался у Мерседес, не найдется ли у нее для Эвы что-нибудь еще. Мерседес на скорую руку слепила «Сандро Боттичелли», на редкость неудачную пьесу. Сюжет ее довольно прост. В первом акте Симонетта Веспуччи, этот источник вдохновения легендарного «Рождения Венеры», дает согласие позировать перед художником. Во втором акте она одним этим и занята. Согласно замыслу автора, актрисе предстояло позировать обнаженной перед слегка ошарашенной публикой. Сцену предполагалось сыграть следующим образом: актриса сбрасывала плащ, однако нагота ее оставалась скрыта ниспадающими локонами и высокой спинкой стула. Александр Вулкотт буквально разгромил спектакль, назвав его скомканным; сцена была до отказа набита актерами, что скорее напоминало шумную толкотню в коридоре пульмановского вагона.

Фотограф Арнольд Гент писал, что, по его мнению, критики были несправедливы: «Лично мне образ Симонетты, созданный мисс Ле Галльен, показался весьма убедительным, поэтичным и поистине трогательным». Годы спустя Мерседес писала, что провал пьесы был объяснимым и вполне заслуженным. Эва же в это время пришла к выводу, что ей не стоит принимать участие в подобного рода вещах.

Лето Эва провела в Лондоне, вместе с матерью, а Мерседес жила в Турвиле, однако в конце концов влюбленные, переодевшись цыганками, сбежали в Бретань, чтобы вместе предаться странствованиям. Они поселились в домике рыбака в

Пемполе, где питались исключительно свежей рыбой, которой снабжала их вдова рыбака, и заново набирались сил. В Париже они совершили паломничество в отель «Регина», где жила их кумир Элеонора Дузе.

Заметив ее, завернутую в одеяло, сидящей на балконе, обе женщины разразились рыданиями. В конце их путешествия Эва писала, что любит Мерседес сильнее, чем прежде. Осенью Эва снова отправилась на гастроли со знаменитым спектаклем по пьесе Мольнара «Лебедь», где она блестяще сыграла главную роль. В это же самое время Элеонора Дузе приехала в США на свои последние гастроли, и Эва с Мерседес смогли наконец-то встретиться с ней.

Их роман продолжался еще год, время от времени нарушаемый кризисом недоверия друг к другу или же работой. Летом 1924 года их отношения заметно ухудшились. Мерседес начала терзаться подозрениями и то и дело обвиняла Эву в неверности. Она называла свою подругу «бессердечным созданием с холодным рассудком». Эва писала из Чикаго, что ей необходимо хоть чуточку свободы, в ответна что Мерседес обрушилась на нее с новыми обвинениями. Однако вскоре страсти немного улеглись, Эва приступила к репетициям ибсеновского «Росмерсхольма», а Мерседес подружилась с Павловой и Карсавиной, и троица вместе развлекалась в Нью-Йорке. Так оно и продолжалось — Эва колесила по стране с гастролями, а Мерседес крутила новые романы, развлекалась и строила новые планы.

У Эвы наконец-то дела сдвинулись с мертвой точки с постановкой «Жанны Д'Арк». Волею случая она оказалась за ленчем в одной компании с французским консулом, который случайно обмолвился, что некий французский продюсер по имени Фирмен Гемье как раз подыскивает пьесу для постановки следующей весной в Париже. Эва уцепилась за эту возможность, и в начале 1925 года обе женщины, прихватив с собой собачку Эвы, вместе с художником-декоратором Норманом Бель Геддом отплыли в Париж. Пьесу планировалось поставить в «Одеоне». Эва могла наконец-то воплотить в жизнь свою давнишнюю мечту — сыграть на прославленной парижской сцене. Когда ей было шесть лет, она ежедневно проходила мимо театра по пути в школу. Однако их первоначальный план повлек за собой множество изменений и поправок. Одна из проблем заключалась в том, что Париж оказался для Нормана местом, полным соблазнов. Он словно с цепи сорвался — каждый день напивался и частенько возвращался в номер с разбитой головой после пьяных драк или же вывалившись замертво из такси. «Наш юный американский

гений открыл для себя секс, ночные развлечения, богемную жизнь и Париж!» — писала Мерседес.

Наконец в июне пьеса была сыграна в театре «Порт-Сен-Мартен». На премьере присутствовал старый маршал Жоффре. «Жанна Д'Арк» привлекла к себе повышенное внимание публики, как первая американская пьеса, поставленная в Париже на французском языке. Трактовка, данная Эвой своей героине, удостоилась похвалы за «тонкое восприятие и исключительный талант», а декорации, как о них отзывались критики, «отличались изобретательностью и редкой красотой». Эву нередко встречали бурными овациями. Несмотря на видимый успех, пьеса так и не была поставлена в США.

Вскоре после этого тянувшийся три с половиной года роман Эвы и Мерседес завершился. С одной стороны, его «кончину» ускорил тот факт, что у Мерседес появился новый приятель, молодой драматург Ноэль Кауэрд, которому суждено было прославиться в Америке. Он и его помощники приехали в США для постановки «Вортекса», смелой и изощренной пьесы о наркотиках. Команда приплыла на борту лайнера «Маджестик», на котором путешествовали также Эва и Мерседес. Кауэрд отметил про себя, что обе женщины остались недовольны своим вояжем в Европу: «По-моему, они обе пребывали в подавленном состоянии, во всяком случае, их то и дело кидало то в интеллектуальное уныние, то в лихорадочное веселье, и, независимо от настроения, они неизменно носили черное».

В группе Кауэрда находилась его дизайнер Глэдис Калтроп. Она близко сошлась с Эвой, и это событие стало причиной некоего оживления. Дики Феллоуз-Гордон пошла проведать Кауэрда и поинтересовалась, а где же Глэдис. В ответ она услышала следующее: «Все это несколько странно, но они куда-то отправились с Эвой Ле Галльен».

Мерседес в своих мемуарах вспоминает об этом еще более туманно: «Примерно в это время у нас с Эвой было немало причин для взаимного отчуждения».

Роман с Глэдис Калтроп оказался достаточно серьезным, однако существовало и немало других причин для разрыва отношений с Мерседес. Эва была честолюбива, а Мерседес втянула ее в две авантюры, закончившиеся провалом. Самый длительный разрыв имел место, когда Эва познакомилась с Элис Деламар, наследницей значительного состояния. Мерседес намеками, однако с горечью, упоминает в своих мемуарах, что одно жизненное обстоятельство в течение сезона «Сивик Репертори Тиэтр» как раз и снабдило ее необходимыми для этого средствами. Разумеется, здесь не обошлось без финансовой

поддержки со стороны Элис, а также финансиста Отто Кана.

Отношения с Деламар позднее еще более упрочились, после того как Элис приобрела участок земли в Вестоне, штат Коннектикут, а Эва поселилась неподалеку.

После марта 1926 года Эва и Мерседес практически не общались. Они должны были встретиться в Нью-Йорке в конце месяца, но Эва осталась в Филадельфии, объясняя это тем, что не хочет доставлять Мерседес лишние страдания. Вскоре после этого их переписка практически сошла на нет, и к октябрю 1927 года в письмах Эвы отсутствуют даже обычные приветствия. Эва попросту вычеркнула Мерседес из своей жизни. Обычно она хранила все полученные письма и оставалась со старыми возлюбленными в дружеских отношениях, однако письма Мерседес Эва уничтожила и избегала ее общества. Они не виделись вплоть до пятидесятых годов. В 1965 году Эва опубликовала статью в память об Элеоноре Дузе, в которой подробно изложила историю своего знакомства с прославленной дивой, исхитрившись, однако, даже словом не обмолвиться о Мерседес.

Гарбо и Мерседес: «Я купила это для тебя в Берлине»

В конце лета 1925 года, вскоре по возвращении из Европы на борту «Маджестик» вместе с Эвой и Ноэлем Кауэрдом, Мерседес получила записку от знакомого фотографа, Арнольда Гента, в которой говорилось, что он снимает портрет самой прекрасной из когда-либо виденных им женщин и хочет, чтобы Мерседес тоже познакомилась с ней. Однако та как раз собиралась навестить отца Эвы в Вудстоке.

Возвратившись в Нью-Йорк, она обнаружила полученные от Гента бандероль и письмо. Фотограф выражал сожаление, что Мерседес не смогла познакомиться с его моделью, Гретой Гарбо, которая приехала в Голливуд вместе с Морицем Стиллером.

Мерседес вспоминала:

— Я открыла конверт и вытащила оттуда большую фотографию. И моему взгляду в профиль предстало прекрасное лицо той загадочной незнакомки, виденной мной в Константинополе.

Стиллер и Гарбо действительно побывали в Константинополе за несколько месяцев до описываемых событий. Они надеялись снять в Турции фильм, и романтическая версия Мерседес наложилась на реальные события — ее более раннюю поездку туда вместе с мужем. Как бы то ни было, судьба приближала Мерседес к самому безумному роману ее жизни.

Гарбо попала под крыло к Морицу Стиллеру в 1923 году восемнадцатилетней студенткой школы драматургического искусства, неуклюжей и неуверенной в своих силах. Роль Стиллера в карьере Гарбо можно сравнить с ролью Свенгали в жизни Трильби. Еврей, выходец из России, в желтой меховой шубе, он сам, без чьей-либо помощи, проложил себе путь наверх, сняв в Швеции более сорока картин. Он давно поставил себе целью найти сырой, необработанный материал, из которого можно создать звезду мирового масштаба, и поэтому с особым рвением принялся лепить образ Гарбо, ее манеру игры, ее личность. Он сам выбрал ей имя. Грета Гарбо. Всего за 160 фунтов стерлингов она сыграла ведущую роль в фильме «Сага о Йесте Берлинге» (по мотивам замечательного романа Сельмы Лагерлеф, ставшей впоследствии лауреатом Нобелевской премии). Фильм вышел на экраны в 1924 году. Но наибольшее внимание привлек к себе фильм «Die freudlose Gasse» («Безрадостный переулок», снятый С. Б. Пабстом).

Гарбо и Стиллер сделали остановку в Германии по пути из Константинополя в Стокгольм, чтобы сняться у Пабста, и именно в этой картине, мрачном этюде послевоенного общества, чувственность Гарбо впервые нашла свое воплощение на целлулоидной пленке. Тем временем Луис Б. Майер успел посмотреть «Сагу о Йесте Берлинге» и пригласил Стиллера и Гарбо в Голливуд. Таким образом, в 1925 году в предвкушении мгновенного успеха и славы пара отплыла в Америку. Разочарование не заставило себя ждать. Заученные Гарбо наизусть строчки для представителей американской прессы вызывали восторги лишь у одного репортера. «МГМ» бросило их одних в Нью-Йорке, и так продолжалось до тех пор, пока фотосеанс у Гента не помог Гарбо пробиться на страницы «Вэнити Фэар», и Майер снова был вынужден обратить внимание на свое позабытое приобретение. Гарбо вызвали в Голливуд и оказали прием, подобающий настоящей звезде. Стиллеру повезло меньше. Он был одним из европейцев, наподобие мужа Зальки Фиртель, которых переманил к себе Голливуд и которым, впрочем, не нашлось места на фабрике грез. Стиллер снял там два фильма, оба с Полой Негри, для студии «Парамаунт». Остальные его работы были сделаны с участием других режиссеров. Вскоре он возвратился в Швецию, где и умер в 1928 году.

Первой американской картиной Гарбо стал «Поток»(1926 г.) — ей удалось получить там роль благодаря болезни другой актрисы. Отзывы критики оказались весьма далеки от тех, что полагались начинающей звезде. «Мисс Гарбо отнюдь не обладает совершенной красотой, но она потрясающая актриса». Ее следующий фильм, «Искусительница», превратил актрису в бесценное приобретение для студии. Это положило начало знаменитому романтическому сотрудничеству между Гарбо и Джоном Гилбертом, которое началось с картины «Плоть и дьявол» (1927 год) и продолжалось до тех самых пор, как немые фильмы обрели звук. Резкий писклявый голос Гилберта не вязался с его смазливой внешностью, и актер сильно переживал по этому поводу. Из всех фильмов с участием Гарбо и Гилберта не сохранился лишь один — «Божественная женщина» (1928 год). Все они доносят до нас удивительный дар Гарбо — без видимых усилий воплощать на экране любовное томление, отчего все ее партнеры смотрятся на ее фоне ужасно скованными. Несколько надуманные сюжеты этих фильмов еще больше пострадали от ретивых цензоров. Например, в фильме «Влюбчивая женщина» (1929 год) — экранизации знаменитого романа Майкла Арлена «Зеленая шляпа» — стражи нравственности настояли на том, чтобы заменить слово «сифилис» на «аферу». Нередко

предлагаемые сценарии оставляли темпераментную звезду безучастной, и она отвергала один проект за другим, произнося свою ставшую знаменитой фразу: «Наверно, я возвращаюсь домой».

Однако даже в те дни Гарбо удавалось избегать мишурной стороны кинематографической жизни. Ее крайне редко можно было встретить на вечеринках, она придерживалась строгой диеты, неизменно питаясь рублеными бифштексами с жареным картофелем и яйцом, за которыми следовал кусочек пирожного и свежий фруктовый сок. Ее любовь к одиночеству снискала ей репутацию загадочной женщины. Талула Бэнкхед заметила, что ее загадочность «густа, как лондонский туман». Иногда на, протяжении всей ее жизни случалось так, что туман слегка поднимался, Гарбо поддавалась безотчетной веселости и, перед тем как снова замкнуться в своей скорлупе, на считанные мгновения становилась душой компании.

В фильме «Анна Кристи» (1930 год) зрителей завораживал глубокий грудной скандинавский голос Гарбо. И хотя в реальной жизни актриса была несколько ширококостной, с крупным носом и мальчишеской походкой, камера превращала ее в утонченное обворожительное создание. Гарбо не вписывалась в давно испробованные рамки. Она была единственной в своем роде. Поэтесса Айрис Гри описала в своих воспоминаниях веки Гарбо. По ее словам, когда Гарбо смеживала веки, ее длинные ресницы цеплялись друг за дружку и, перед тем как она снова открывала глаза, слышался явственный шорох, наподобие трепета крыльев мотылька. Образ завершал голос актрисы. Спустя несколько лет Кеннет Тайней писал, что то, что вы видите в других женщинах будучи пьяным, в Гарбо вы видите трезвым. Тайней так отозвался о ее кинематографическом образе:

«Она все еще могла (и частенько делала это) откидывать назад голову едва ли не под прямым углом к позвоночнику и целовать жадно мужчину, взяв его лицо в ладони так, что казалось, она пьет с его губ некий напиток».

Критик Артур Найт рассуждал о притягательности Гарбо в любовных сценах:

«…Наступал тот непревзойденный момент, типичный для всех фильмов Гарбо, когда в ней что-то прорывалось, когда все доводы против любви, какие только могли прийти в голову сценаристам, отбрасывались в сторону, и, издав нечто среднее между рыданием и экстатическим возгласом, она бросалась в объятия возлюбленного. В такие моменты каждый мужчина в зрительном зале воображал, будто сжимает в объятиях эту прекраснейшую из женщин, и, неожиданно обезоруженный,

открывал для себя такие глубины чувственности, какие потребуют целой жизни, чтобы утолить эту жажду любовных восторгов».

В 1931 году Грета снималась в фильме «Сьюзанн Леннокс, ее падение и взлет», когда в доме Зальки Фиртель она познакомилась с Мерседес де Акостой. Мерседес только что прибыла в Голливуд или, как его шутливо называли, «фолливуд» (сумасшедший лес), для работы над сценарием для Полы Негри. Вскоре она обнаружила, что главной проблемой города являлись «глупость, вульгарность и дурной вкус», а вовсе не повальный разврат, как это принято было думать. Тем не менее здесь она провела многие годы своей жизни. И хотя время от времени Мерседес была вынуждена появляться на той или иной студии, ей удавалось избегать светского общества и киношников, и, вполне естественно, она тяготела к более утонченному, более «европейскому» кругу Фиртель. Однажды она удостоилась приглашения на чай к ним в дом на Мейбери-роуд в Санта-Монике, и когда все уже сидели за столом и болтали, раздался звонок в дверь. В прихожей кто-то негромко говорил по-немецки, и Мерседес тотчас узнала голос из «Анны Кристи». В комнату вошла Гарбо. Эта встреча запомнилась Мерседес надолго:

«Мы обменялись рукопожатием, она улыбнулась, и мне тотчас показалось, будто я ее знаю всю жизнь или, вернее, знала в моих предыдущих инкарнациях.

Как я и ожидала, она была удивительно хороша — даже сильнее, нежели казалось в фильмах. Одета она была в белый джемпер и темно-синие матросские брюки. Ее стопы оставались обнаженными, как и ее руки, тонкие и чувствительные. Ее прекрасные прямые волосы ниспадали ей на плечи. На голове у нее был надет белый теннисный козырек, низко надвинутый на ее удивительные глаза, в которых, казалось, застыла вечность. Когда она заговорила, покорил не только ее голос, но и акцент. В то время она говорила по-английски совершенно неправильно, с сильным шведским акцентом, и ошибки в ее произношении просто завораживали меня. В тот день я слушала, как она говорила, обращаясь к Зальке: «Я пришагал сюда, чтобы навестить вас».

Как ни странно, произнесенное ею зачастую оказывалось более выразительным, нежели безупречно правильная речь».

Разговор между Гарбо и. Мерседес получился довольно короткий, но на какой-то момент они остались одни.

«Наступило молчание, — молчание, которое давалось ей с поразительной легкостью. Грете всегда хорошо давалось молчание».

Вскоре Гарбо заметила на руке у Мерседес тяжелый браслет.

Де Акоста протянула актрисе приглянувшееся украшение, сказав при этом:

— Я купила это для тебя в Берлине.

На этот раз Гарбо отправилась домой, чтобы, как обычно, провести вечер в полном одиночестве и, отобедав в постели, лечь спать.

Однако первая их встреча прошла весьма успешно.

Благодаря содействию Зальки Фиртель они встретились снова, и Гарбо явно прониклась к Мерседес симпатией и даже пыталась удержать свою новую знакомую, чтобы та не ходила на ленч, который давала Пола Негри. Затем она позвонила Мерседес во время ленча и пригласила к себе домой, в дом № 1717 по бульвару Сан-Винсенте. Приглашая свою новую подругу переступить порог своего дома, а такой чести удостаивался не каждый, Гарбо разбросала для Мерседес по полу цветы. Более того, де Акосте даже было позволено заглянуть в спальню.

«Она скорее походила на спальню одинокой женщины. В ней было нечто печальное».

Однако этот визит был коротким, поскольку Гарбо накануне устала и поэтому произнесла слова, которые вскоре превратились в расхожую шутку, всякий раз повторяемую при расставании:

— А теперь тебе пора домой.

Их дружбу скрепляли откровения о прежней жизни и обсуждение снов, сопровождаемые долгими разговорами о вещах глубокомысленных и тривиальных, которые иногда затягивались далеко за полночь. Мерседес не имела ничего против: «Хотя я не ложилась всю ночь, я чувствую себя бодрой и отдохнувшей».

Вскоре после этого они с Гарбо отправились на отдых, который Мерседес вспоминала как абсолютно идиллический. Начался он с типичной для Гарбо неорганизованности. Она позвала к себе Мерседес, чтобы объявить той, что нуждается в полном одиночестве и поэтому намерена уединиться на «островке» посреди гор Сьерра-Невады. После чего она села в машину и умчалась прочь. Безутешная Мерседес вернулась домой. Спустя несколько дней Гарбо позвонила подруге. Она добралась до своего «островка», и там до нее дошло, что она просто обязана разделить с кем-то его красоту, и поэтому решила вернуться домой, чтобы забрать с собой подругу. Вот почему ей заново пришлось вынести триста пятьдесят миль пути под палящим солнцем через пустыню Мохаве. На обратном пути она каждые несколько часов делала остановки, чтобы сообщить по телефону:

— Я приближаюсь. Я приближаюсь!

Последний звонок был сделан из Пасадены.

Наконец Гарбо добралась до Голливуда, и Мерседес уложила ее спать на веранде, хотя ни та, ни другая не могли уснуть. На следующий день Мерседес позвонила в студию, чтобы объявить о своем отъезде. А так как особой работы для нее не было, то в студии только обрадовались этой новости. Гарбо и Мерседес потребовалось еще целых три дня, чтобы снова добраться до заветного острова, где и началась идиллия.

Джеймсу, шоферу, было велено отправляться домой и не возвращаться до самого последнего момента, пока отдых в горах не подойдет к концу. Затем Гарбо на лодке перевезла Мерседес через озеро Сильвер-Лейк на небольшой островок, на котором стояла небольшая бревенчатая избушка. Гарбо объяснила, что иначе как на лодке до их островка не добраться.

— Нам надо заново пройти крещение, — с этими словами Гарбо сбросила с себя одежду и нырнула в воду. Мерседес последовала ее примеру.

На обед Гарбо готовила им на скорую руку форель. А еще они проводили время за разговорами. На сделанных Мерседес фотографиях мы видим Гарбо, загорелую и пышущую здоровьем, в берете и в шортах, спортивных туфлях и белых носках. На некоторых фотографиях она обнажена по пояс, на других — запечатлена в натянутой через голову рубашке, едва прикрывающей обнаженную грудь. Мерседес открывала для себя неведомую ей ранее сторону Гарбо.

«… Принято думать, что Гарбо нелюдима и серьезна. Это одно из заблуждений, лежащих в основе возведенной вокруг нее легенды. Но все легенды строятся на слухах, на том, что известно понаслышке. Разумеется, она серьезна, коль речь заходит о серьезных вещах, и, разумеется, не носится взад и вперед, нацепив на лицо, подобно большинству американских чиновников, ухмылку от уха до уха. Однако это вовсе не означает, что она нелюдима и ей чуждо чувство юмора. Если на то пошло, только ей по-настоящему свойственно чувство истинного юмора. За шесть недель, проведенных на Сильвер-Лейк, да и не раз после того, она демонстрировала мне свое удивительное чувство юмора».

В ранних набросках своих мемуаров Мерседес пишет об этом «отпуске» более подробно. По ее словам, она буквально каталась по полу от смеха, когда Гарбо смешила ее. Гарбо рассказала Мерседес историю своего шведского дядюшки — о том, как она постоянно терзала его вопросом: «ДЯДЯ, А КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К ИИСУСУ?» и, хотя тот уже несколько раз ответил на него положительно, в конце концов терпение его иссякло. Отбросив газету, он вскочил со стула и заявил:

— Да нет же, черт побери. Какое мне дело до Иисуса!

Эта фраза стала для Мерседес и Гарбо чем-то вроде расхожей шутки, если их вдруг начинала одолевать скука.

Тем не менее в разговорах с друзьями Мерседес временами давала выход накопившемуся раздражению. Гарбо постоянно сидела на диете и, по словам Мерседес, частенько действовала ей на нервы занудным перечислением блюд, к которым она ни за что не притронется. В течение нескольких месяцев в Голливуде, уже после совместного отдыха, Гарбо и Мерседес львиную долю времени проводили в обществе друг друга. Де Акоста начала подмечать в подруге новые малоприятные черты. Мерседес была вегетарианкой и страстной любительницей животных. Гарбо же временами позволяла себе такое, что никак не вязалось со взглядами Мерседес на то, как надо обращаться с братьями нашими меньшими.

«… У нее была ужасная привычка, найдя в траве или в доме какую-нибудь букашку, обязательно ее сжечь. Она, бывало, подпаливала клещей, пауков, косиножек, водяных жуков. Я впервые увидела, как она это делает, когда мы сидели на лужайке и она обнаружила у себя на ноге клеща. Он пытался пробуравить ей кожу, чтобы, как водится, засунуть в крохотное отверстие свою головку. Я увидела, как она сняла его с ноги и, чиркнув спичкой, поднесла к нему пламя. У меня внутри все сжалось.

— Как ты можешь с такой легкостью убивать? — спросила я. — Ведь эти букашки имеют точно такое же право на жизнь, что и ты. Неужели тебе трудно просто забросить его подальше в траву? Скажи, зачем тебе вообще убивать их, не говоря о том, чтобы мучить их на огне? Возможно, у них есть своя большая семья, которая дожидается их. Неужели ты ни разу об этом не задумывалась?.

Она покачала головой и добавила, что никогда не придавала насекомым особого значения, но теперь задумается и изменит свои привычки. Вскоре после этого она как-то раз позвонила мне уже довольно поздно вечером и объявила, что обнаружила у себя в постели паучка, однако не стала его сжигать, а осторожно сняла его и выбросила в окно.

— Браво! — сказала я. — Наконец-то ты учишься ненасилию».

Мерседес имела возможность с близкого расстояния наблюдать за подругой, когда та работала, и поэтому могла убедиться, что Гарбо, как и Элеонора Дузе, далеко не заурядная актриса. Хотя Гарбо не утруждала себя чтением сценария, она умела тонко подметить его суть. Например, у себя в Швеции она ни разу не бывала при дворе или на балу, однако точно знала, как сыграть подобную сцену. Она ни разу не сходила на

предварительные просмотры. В это время Гарбо снималась в фильме «Мата Хари», который вышел на экраны в конце 1931 года. Мерседес нашла сценарий неудачным. Мата Хари в свое время была любовницей Фила Лайдига, деверя Мерседес, и поэтому она знала о ней многое. Гарбо внешне мало походила на Мату Хари, а Рамон Новарро, ее партнер по фильму, был слишком мал ростом, и поэтому ему сделали на туфли специальные набойки, что, кстати, сразу бросалось в глаза.

Гарбо понравилась Мерседес лишь в заключительной сцене расстрела.

«В длинной черной накидке, с гладко зачесанными назад волосами, с напряженным выражением лица, она никогда еще не выглядела столь прекрасно и столь трагично».

В 1932 году, вскоре после завершения работы над картиной «Гранд-отель», Гарбо потеряла все свои сбережения и была вынуждена экономить буквально на мелочах. Именно тогда она перебралась к Мерседес.

В 1932 году она также снялась в «Если ты желаешь меня», по всей видимости в лучшем своем фильме, после, чего уехала в Нью-Йорк, а затем в Швецию. Это было первое из ее знаменитых путешествий домой. Именно после отъезда Гарбо Мерседес тесно сошлась с Марлен Дитрих, которая буквально бомбардировала ее дом букетами роз и гвоздик.

Вполне возможно, что Мерседес наслаждалась с Гарбо отдыхом на уединенном идиллическом острове в горах Сьерра-Невады, однако на протяжении всей своей жизни, как бы близко она ни изучила Гарбо, ей так и не дано было с уверенностью сказать, каковы в действительности их отношения, — и это несмотря на то, что Мерседес удалось неплохо понять характер Гарбо и ее разнообразные проблемы. Мерседес писала об этом так:

«Чтобы понять Грету, вам надо понять Север. И пусть оставшиеся годы она проведет в южном климате, все равно останется северянкой, со свойственными Северу трезвостью ума и замкнутостью. Чтобы понять ее, вы должны по-настоящему понять ветер, дождь, угрюмое, низкое небо. Она создана именно из этих стихий, в прямом и переносном смысле. В этой своей инкарнации она до конца своих дней останется «ребенком викингов», которому не дает покоя мечта о снеге».

Гарбо и Сесиль: «Я сделала с тобой такое…»

В конце мая 1932 года, когда Гарбо жила с Мерседес, еще до своего отъезда в Швецию, в Голливуде у Гулдингов гостил Сесиль Битон. За несколько месяцев до этого Эдди Гулдинг женился на Марджори Мосс, нью-йоркской танцовщице, которая сопровождала Мерседес в Калифорнию. Шафером на их свадьбе был Джон Гилберт, партнер Гарбо, а по некоторым данным, также и любовник. Сесилю было известно, что Гарбо иногда навещала Гулдингов, а поскольку ему не давала покоя мысль познакомиться с ней и сделать серию ее фотографий, то он надеялся, что она когда-нибудь появится там, пока он гостил у своих друзей. И верно, однажды она позвонила, однако услышав, что там будет Сесиль, наотрез отказалась прийти. «Нет. Он дает интервью газетам. Я не хочу с ним встречаться».. Сесиль метал громы и молнии. Он позвонил одному своему приятелю, который лично знал Гарбо, надеясь, что, коль уж ему не повезло познакомиться со звездой, по крайней мере, сможет поговорить о ней. Но его снова постигло разочарование. Ответа не последовало, и Битон удалился к себе наверх, чтобы принять горячую ванну.

Сесиль оделся в свою новую куртку из лайковой кожи, шорты из змеиной кожи, белые носки и ботинки. После чего выглянул из окна и, к своему великому удивлению, увидел Гарбо. Та сидела по-турецки на садовой скамейке вместе с Гулдингами и курила сигарету. Она тоже была одета во все белое.

Сесиль спустился вниз, чтобы еще раз попытаться позвонить по телефону, после чего ввалился в гостиную, где застал Гарбо и своих хозяев. «О, прошу прощения, — вырвалось у него, и он развернулся на каблуках, однако Марджори остановила его. Как Сесиль вспоминал позднее: — На этот раз я пересек гостиную на седьмом небе от счастья».

Сесиль подробно описывает эту встречу в своем опубликованном дневнике «Годы странствий». Он скрупулезно восстановил детали, пользуясь карандашными набросками, сделанными в то время и сохранившимися в его бумагах. Из всех встреч эта представляется наиболее интригующей. Сесиль вспоминает, как Гарбо обрушила на него полный залп своего магнетического очарования, как она восторгалась его молодостью и красотой, его белыми индийскими туфлями, как Гулдинги словно перестали существовать для своих обоих гостей, как они с

Гарбо ходили, обняв друг друга за талию, и дружески жали друг другу руки. Именно во время этой встречи Гарбо вынула из вазы чайную розу и, подняв высоко вверх, произнесла: «Вот роза, которая живет, умирает и исчезает безвозвратно». За чем последовала сцена, достойная Пруста, — лебедь, прижимающий к губам розу Одетты, чтобы затем запереть в потайном ящике письменного стола. Сесиль взял у нее розу, засушил в своем дневнике, привез домой и повесил в рамке у себя над кроватью. Во время распродажи дома, после его смерти, какой-то фотограф из Новой Зеландии приобрел эту розу по сногсшибательной по тем временам цене в 750 фунтов стерлингов.

Вечеринка продолжалась. Обе пары обедали, разыгрывали шарады, потягивали «Беллини». Гарбо приняла приглашение Сесиля посмотреть его комнату и фотографию его дома в Англии. В своих неопубликованных заметках Сесиль утверждает, будто поцеловал Гарбо. Он пишет, будто она сказала ему: «Ты — как греческий юноша. И если бы я тоже была юношей, я бы сделала с тобой такое…». Никто не ложился до самого утра. «Никто не ложился до самого утра. Лампы выключили, и вакханалия при свете камина стала еще более бурной». Когда рассвело, Гарбо села в свой огромный автомобиль и уехала. Сесиль запаниковал, что больше никогда ее не увидит. «Значит, мы расстаемся», — слезливо восклицал он.

«Боюсь, что да. Се ля ви!»

Сесиль подытожил:

«Гулдинги были столь ошарашены происшедшим, что не решались даже говорить об этом. Я сам с трудом верил в то, что произошло. Единственным реальным доказательством была чайная роза, которую она поцеловала».

Что бы сам Сесиль ни думал об этой встрече, не стоит забывать о письме Аниты Лоос и ее рассказе о ссорах между Гарбо и Мерседес, о том, как вскоре после этого Гарбо улетела в Нью-Йорк, даже не попрощавшись с Мерседес, а затем и вовсе уехала в Швецию. Однако к зиме 1933 года Гарбо и Мерседес возобновили отношения, и Мерседес писала Сесилю, с которым она познакомилась в Нью-Йорке в конце двадцатых годов и затем оставалась дружна: «Грета сказала мне вчера, что познакомилась с тобой, когда ты был здесь в прошлый раз. Ты же мне ничего не сказал об этом».

Глава 2
Сесиль

Успехи в свете

В 1971 году Дэвид Бейли сделал документальный фильм о Сесиле Битоне, который озаглавил «Битон по мотивам Бейли». В одной из сцен о нем ведут беседу Трумен Кэпот и Диана Вриланд, редактор журнала «Вог».

Миссис Вриланд говорит:

«Сесиль из тех людей, кто целиком и полностью сотворил самого себя, потому что с самого начала — ведь я знаю его всю жизнь, он мой близкий друг — ему всегда хотелось добиться для себя лучшей жизни, и он понимал, что существует только одна лучшая жизнь и что это та жизнь, которой вам хочется и которую вы строите своими руками. Именно это он и сделал. Согласитесь, что это так».

Кэпот: «Да, он целиком и полностью собственное творение.

Д.В.: «Хмм, целиком…»

Кэпот: «На свете найдется не так уж много людей, которые целиком и полностью являются собственными творениями, и он, безусловно, из их числа, абсолютно ничто в его окружении не могло бы натолкнуть вас на мысль, будто этот человек появился на свет из кокона жизни английского среднего класса».

Дед Сесиля, Уолтер Харди Битон (1841–1904) упорхнул из семейного гнезда в графстве Сомерсет в Лондон, где, еще будучи молодым, основал фирму «Битон Бразерс». Он занимался поставкой спальных вагонов из заграницы. Сам он писал о себе как о торговце лесом и коммерческом посреднике. Уолтер занимался разными видами деятельности, причем довольно успешно. На склоне лет этот солидный и процветающий коммерсант поселился в роскошном доме в Эббот-Лэнгли, в графстве Хертфоршир, где его окружала многочисленная челядь, включая садовника и дворецкого. Когда он умер, а случилось это в 1904 году, то оставил после себя весьма внушительное по тем временам наследство в 154,475 фунтов 12 шиллингов 6 пенсов.

Отец Сесиля, Эрнст Битон, взял в жены Этти Сиссон, симпатичную дочь камберлендского кузнеца. Он взрастил свое потомство в Хемпстеде, причем сумел отдать детей в хорошие школы. Сесиль, например, получил образование в Хэрроу. Однако торговля лесом захирела, особенно после того, как на смену лесу пришли сталь и бетон и деревянные блоки перестали применять при прокладке дорог. Семья, которая в годы процветания переехала на Гайд-Парк-стрит, была вынуждена переселиться в более скромный район Сассекс-Гарденс возле вокзала Пэддингтон.

Сам Сесиль Битон родился в Хемпстеде в январе 1904 года. Он был старшим из четверых детей. У него имелся брат Реджи, невыразительный молодой человек, которого Сесиль, можно сказать, затмевал. Он пошел по стопам отца, включился в семейный бизнес и в 1933 году во время депрессии совершил самоубийство, выбросившись из вагона подземки. У Сесиля были также две сестры, немного младше его, которых он очень любил. Когда они подросли, Сесиль наряжал их в одинаковые платья и часто их фотографировал, а фотографии затем нередко весьма успешно продавал в газеты. Сесиль надеялся, что сможет подыскать им приличные партии, и прикладывал к этому неимоверные усилия, соединяя в себе Свенгали и Пигмалиона. В конце концов Нэнси вышла замуж за сэра Хью Смайли, баронета из Гренадерской гвардии. Младшая сестра. Баба, вышла замуж за Алека Хэмбро. Во время второй мировой войны тот принимал участие в военных действиях и в 1943 году умер от ран в Триполи.

У Сесиля с его отцом было мало общего, хотя и тот и другой являлись страстными поклонниками театра. Эрнст Битон представлял собой солидную фигуру, это был человек здравого смысла и незамысловатых вкусов, надежный и основательный Его любимой книгой была «Ярмарка тщеславия;; Теккерея, которую он перечитал около тридцати раз. Он принимал участие в любительских постановках и у себя в Хемпстеде сыграл сорок шесть сезонов в крикет.

В детстве Сесиль боготворил мать, которая в ту пору являлась для него воплощением светской дамы. Неудивительно, что Сесиль был весьма разочарован, когда узнал, что его мать далеко не благородного происхождения, однако был полон решимости исправить допущенную судьбой ошибку. Кроме того, он был сильно привязан к своей эксцентричной тетушке Джесси, старшей сестре матери, вышедшей замуж за боливийского дипломата. Как и в случае с матерью, Сесиль преувеличивал положение тетушки. Она не отличалась ни богатством, ни светскими манерами, и ее связи со двором были весьма призрачными. Тем не менее именно она открыла Сесилю глаза на дивный притягательный мир за пределами Хемпстеда.

Первой и самой продолжительной любовью Сесиля стал театр. Мальчик собирал фотографии знаменитых актрис и под впечатлением этих снимков начал собственные эксперименты с миниатюрной камерой «Бокс Брауни».

Сесиль посещал школу «Хит-Маунт» в Хемпстеде, где Ивлин Во, его заклятый враг, коим и оставался всю жизнь, развлекался тем, что бросал в него булавки. Затем Сесиля отправили в

мрачное заведение, школу Св. Киприана, где среди его однокашников были Сирил Коннори и Джордж Оруэлл — последний «прославил» эти унылые стены в своем же эссе «Таковы были радости». Сесиль выиграл приз на конкурсе рождественского рисунка в 1916 году и удостоился похвалы за оформление программы «Судно его величества «Пинафор». Его актерские способности рано завоевали признание. «Малышка Лютик» в исполнении Битона был столь правдоподобен, что трудно было предполагать, что это Битон, а не кто-нибудь из его сестер. Его игра была совершенно естественной и вряд ли нуждалась в какого-либо вида поправках. Год спустя участие Битона в спектакле «Младший Микадо» удостоилось в школьном журнале следующей похвалы: «Битон в роли Накки Пу порадовал нас сладкоголосым пением и прочувствованной игрой».

Школа Хэрроу в большей степени отвечала духу Сесиля, и он с удовольствием принимал участие в любительских постановках и посещал класс живописи. В 1922 году он поступил в Сент-Джон-Колледж в Кембридже. Там он не достиг высот на научном поприще, зато стал ведущей фигурой в театральном мире — принимал участие в деятельности кембриджского «Клуба любителей театра» и «Общества Марлоу», а также создавал эскизы декораций. Сесиль завел в те годы несколько весьма полезных ему знакомств, позволивших ему приобщиться к избранному обществу Тринити-Колледжа.

Главным занятием Сесиля в годы учебы в Кембридже стало создание себе имени. В те времена на это стремление посматривали довольно косо. Считалось, что истинный джентльмен может оказаться на страницах прессы лишь трижды: родившись, женившись и отойдя в мир иной.

Украдкой, пребывая в постоянном страхе разоблачения и неизбежного последующего вслед за ним позора, Сесиль забрасывал лондонские газеты заметками о себе самом. Несколько раз он едва не был пойман с поличным, однако во избежание скандала был вынужден солгать. Из-за этого он даже лишался сна и покоя, но как только паника в его душе слегка утихала, он снова брался за новые планы. Ему нравилось играть, однако куда важнее были для него фотографии на страницах газет.

Пользуясь этими методами, он и сделал себе имя. Битон рано понял, что, какими бы талантами ни был наделен любой из нас, вряд ли можно рассчитывать на успех, если результаты трудов никому не известны. Чем большее внимание уделят газеты той или иной постановке, тем больше желающих будет ее посмотреть, а значит, театр получит больше денег, а декорации и костюмы

можно будет сделать подороже. То же самое касалось и фотографии. В начале двадцатых годов Битон не всегда являлся изобретателем изощренных и порой чересчур надуманных идей в области фотографии, однако не вызывает сомнения тот факт, что именно он добился наибольшего успеха. Например, такой прием, как отражение сидящих в крышке рояля, впервые применили Морис Бек и Хелен Макгрегор. Но именно Битон сделал эти позы знаменитыми.

Покинув стены Кембриджа с несколькими экзаменационными «хвостами», но, что более важно, добившись колоссального успеха в постановке пьесы «Вся эта мода» на сцене «Рампы», Сесиль являл собой неприкаянную фигуру. Он довольно энергично окунулся в лондонскую жизнь и даже был готов участвовать в любом скучном благотворительном проекте, если только тот поможет ему пробиться наверх. Прошло не слишком много времени, как Сесиль оказался в Холборне, в постылой отцовской конторе, где вытерпел всего одну неделю, после чего был направлен в контору одного из партнеров Битона-старшего, мистера Шмигелоу.

Сесиль упорно старался пробиться в высшее общество. Обеденный перерыв он обычно проводил, обивая пороги издательств в надежде получить заказ на оформление обложки какой-нибудь книги. Его старания не пропали даром. Затем ему удалось наскрести достаточно денег, чтобы сопровождать двух редакторш из «Вога» во время их путешествия в Венецию, открывшего ему глаза на мир, в который ему вскоре предстояло войти. В «Лидо» он имел возможность лицезреть леди Диану Купер, разглядел барона де Майера, делавшего снимки для модных журналов, и даже сумел показать свои работы Дягилеву. Однако ничего дельного он для себя не добился и вернулся в Лондон с чувством вины.

И лишь в конце 1926 года ему удалось пробиться в тот мир, о котором он всю жизнь мечтал. Это произошло главным образом благодаря счастливой случайности, а именно встрече со Стивеном Тенантом, красавцем-эстетом с внешностью Адониса и весьма изобретательным молодым человеком. Настойчивость, с какой Сесиль сам добивался для себя признания, не ускользнула от внимания Стивена и его окружения — им было прекрасно известно, кто такой Битон, и они с радостью приняли его в свой крут. В некотором роде он стал для них новой забавой. Вскоре каждая молодая шикарная лондонская дама желала получить сделанный Сесилем портрет, а «Вог» был только рад поместить эти творения на своих страницах. Сесиль нажил себе еще более весомый капитал на своем успехе, устраивая всевозможные

выставки. Когда Битон почувствовал, что Лондон уже лежит у его ног, то решил, что пора отправиться на покорение Нового Света.

Мерседес впервые познакомилась с Сесилем Битоном в Нью-Йорке 13 декабря 1928 года на вечеринке, устроенной Мюриэл Дрейпер, на которой собрались «несколько лесбиянок и одаренных молодых людей». Мерседес ушла с вечеринки в обществе Битона, а через два дня взяла его с собой на выставку скульптур своей подруги Мальвины Хоффман. Поначалу Сесиль упирался:

«Я бы не сказал, что она мне уж очень понравилась, и у меня не было ни малейшего желания смотреть выставку ее подруги. Однако, когда я как следует разглядел Мерседес де Акосту, я был весьма польщен и пришел в восторг: я обнаружил, что она добрый и умный друг и советчик, без малейших проявлений наигранности и аффектации. Она — весьма дружелюбное создание, благодаря ей я впервые разглядел Большой Центральный вокзал и был просто потрясен!»

Выставка Сесилю не понравилась. «Большинство работ казались вымученными и слабыми, но среди них нашлась пара замечательных бронзовых африканских голов, которые были выполнены поистине прекрасно».

Мерседес пригласила Сесиля домой и весьма удивила его своим признанием, что Осберт Ситвелл гомосексуалист.

К концу чаепития, как позднее вспоминал Битон, «Мерседес была очаровательна, без умолку болтая своим хрипловатым голосом. Было в ней нечто мужеподобное, однако она была очаровательна, добра, умна, интересна, и я знал, что в Нью-Йорке она станет одним из моих близких друзей».

Так оно и вышло, ибо на следующий день Мерседес пригласила Сесиля присоединиться к ней за обедом у Мюриэл Дрейпер, после чего он пригласил ее посмотреть его работы.

«Это был замечательный вечер, и Мерседес очаровала меня своим неподдельным энтузиазмом. Я ужасно восхищен ею, ее серьезностью и энтузиазмом. А еще я пришел в восторг, что ей сильно понравились многие мои работы. К тому же она весьма тонкий критик. Она такая очаровательная, подвижная и живая, и чем-то напоминает птицу. Она не боится противоречить мне. Она никогда не опускается до лести. Есть в ней нечто детское. После того как я показал ей фотографии и небольшие живописные работы, мы сидели и курили, и разговаривали, а часы все тикали на протяжении нескольких часов, и я открывал для себя в Мерседес все новое и новое.

Ей присущ потрясающий энтузиазм, она потрясающий друг, и я люблю ее за то, что она не побоялась сказать мне: «О да, он

написал мне великолепное письмо, расчудесное письмо, говоря, что я его друг, что он еще ни разу ни с кем не был так счастлив. Он чувствовал, что может доверять мне, что я одарила его большим счастьем и чувством уверенности, нежели кто-либо другой». Она восторженно отзывалась о своей работе, о пьесе, которая наверняка вот-вот появится на подмостках и, по ее мнению, будет просто замечательной, а еще ей с этой пьесой не повезло, потому что она написала ее для Дузе, которую, по ее словам, «боготворила, как никого другого, и сама Дузе была от пьесы без ума и уже приготовилась сыграть в ней, но вскоре умерла, и мне пришлось временно отложить ее и ждать, пока не появится достойная исполнительница». И вот теперь, судя по всему, она нашла эту достойную исполнительницу в пьесе, в которой впервые затрагивается судьба Марии после распятия Христа, — ей уготован либо ужасный провал, либо триумфальный успех. Эта забавная, худая, маленькая женщина с крючковатым носом продолжала свою резкую порывистую речь допоздна. Мы оба валились с ног от усталости, и хотя мне не хотелось торопить момент расставания, я был несказанно счастлив наконец-то оказаться в постели, вытянуть онемевшие члены и расслабиться».

По воспоминаниям Мерседес, Сесиль был в ту пору «ужасно худощавым и стройным. Он чем-то напоминал покачивающуюся на ветру тростинку или иву, отчего создавалось впечатление какой-то особой хрупкости… Сесиль и несколько других молодых людей довели эту моду едва ли не до произведения искусства». Мерседес до конца своих дней оставалась дружна с Сесилем. Вот как она отзывается о нем:

«Понемногу он раскрыл редкое разнообразие талантов, которые нечасто бывают присущи одному человеку. Сесиль наделен уникальным сочетанием творчества и артистического чутья, которое, между прочим, включает в себя и его повседневное бытие. Что касается его внешности, то он стал даже еще более красив и привлекателен, и я верю, что со временем его книги, картины и фотографии в глазах потомков станут наиболее ярким воплощением нашей эпохи».

Это первое путешествие в Нью-Йорк завершилось выгодным контрактом с Конде Настом, оно помогло Сесилю обзавестись новыми моделями, а также встретиться со многими знаменитостями тех дней. Новаторские приемы Сесиля имели колоссальный успех. Дамам просто не терпелось улечься на пол, пока Сесиль карабкался вверх по стремянке, чтобы оттуда, сверху, сделать их фотоснимок.

В ту пору Битон был увлечен подготовкой своей «Книги Красоты». Поэтому зимой 1929 года он вернулся в Соединенные

Штаты в поисках новых знаменитых красавиц для своих снимков. На этот раз он направил стопы в Голливуд, во всеуслышание заявив, что не остановится, пока не заполучит для своей книги фотографию Гарбо. «Без нее никак не обойтись, какими бы ни были ее размеры. Гарбо — это личность, она обладает совершенными формами, не говоря уж о ее классической красоте».

В Калифорнию Сесиля сопровождала Анита Лоос. Она же первой представила его кое-кому из знаменитостей. Сесиль вскоре прочно стал в Голливуде на ноги и теперь только тем и занимался, что беспрестанно фотографировал таких звезд, как Мэри Астор, Фей Рей, Кей Фрэнсис, Гэри Купер и Долорес дель Рио. Однако Гарбо нигде не было видно, и Битон просто помешался на мысли заполучить ее фотографию.

«Она единственная, в ком есть светский лоск. Ей льстят, перед ней заискивают, говоря, что она пользуется колоссальным успехом, но отказывается видеть своих почитателей. Женщины каждый день шлют ей орхидеи, мужчины звонят по междугородному телефону в надежде услышать ее голос. Ей до этого нет ровно никакого дела, и то, что ей до этого нет никакого дела, и то, что она даже не собирается показываться публике, только подогревает всеобщую истерию, и так же, как и я, все дошли едва ли не до умопомешательства, желая видеть ее, и, между прочим, благодаря этому обстоятельству ее имя теперь у всех на устах».

Сесиль подружился с бывшей звездой Элси Джанис и надеялся с ее помощью дозвониться до дома Гарбо. Чей-то голос с сильным иностранным акцентом заявил в ответ: «Мисс Гарбо нет на уик-энд». Сесиль тогда принялся осаждать знаменитого пресс-секретаря студии «МГМ» Хауэрда Стриклинга, умоляя его организовать встречу. Тот связался с Гарбо по телефону и передал актрисе просьбу Битона. «Ну, я не знаю. Ну ладно», — такой ответ трудно назвать многообещающим.

Во время последней недели, проведенной Битоном в Голливуде, у него, казалось, появились проблески надежды, но и они в конечном итоге были разбиты вдребезги. Битон так писал об этом в своем дневнике:

«Я наконец-то дозвонился до Стриклинга, и после того, как вчера мои надежды вознеслись едва ли не до небес, в ответ на вопрос: «Ну как там насчет Гарбо?» — я услышал мрачное: «Бесполезно». Черт. Пропади эта сука пропадом. Я едва не расплакался от злости, усталости и отчаяния. Черт… Ведь ей же все равно нечего делать».

В январе 1930 года Сесиль уехал из Голливуда в

расстроенных чувствах. Вскоре после этого, в Палм-Бич, он случайно повстречал Мерседес. Сесиль с удовольствием предался с ней злословию о «кошмарном» сборище нью-йоркских лесбиянок, он вспоминал: «Мы посмеивались над ними за их занудную верность друг дружке, их серьезность, убожество, бедность и полное отсутствие юмора». Мерседес, как никогда, соответствовала своей удивительной внешности, в которой воистину есть нечто грозное. Что еще более важно. Мерседес, которой еще предстояла та роковая встреча с Гарбо, снабдила Сесиля сногсшибательными слухами о звезде-затворнице.

«Мерседес была очаровательна, умна, бесконечно забавна и остроумна. Я рассказал ей голливудские новости, а она мне наговорила всякого о Гарбо, отчего я пришел в неописуемый восторг и едва не купил себе билет назад в Голливуд, чтобы только снова увидеть ее. Еще в Швеции, будучи совсем ребенком, она попалась на глаза Морицу Стиллеру, тот дал ей книги для чтения, занялся ее образованием, влюбился в нее и сделал ее своей любовницей. Она боготворила его. Ему уже стукнуло пятьдесят, и в ее глазах он стал олицетворением успеха в обществе, ума, всего того, что подстегивает в нас интерес к жизни. Он привез ее в Голливуд. У нее был роман с Джоном Гилбертом. Впервые она столкнулась с кем-то, кто был еще молод. Стиллер пришел в бешенство от того, что она влюбилась в этого недоумка Гилберта и даже ушла от него. Стиллер бросил Голливуд, умер, и Гарбо едва не наложила на себя руки от горя и раскаяния.

Она никогда не смотрится в зеркало. Она ходит по-мальчишески размашистой походкой. Она лишь однажды позволила себе шумно выразить свой восторг, когда портной прислал ей новую пару бриджей для верховой езды с настоящей мужской ширинкой. Она принялась расстегивать и застегивать пуговицы, демонстрируя это всем и каждому. Она ужасно молчалива. Из нее не вытянешь ни слова. Пока что она не лесбиянка, но вполне может ею стать. Итак, эту историю рассказала мне Мерседес, которая, в свою очередь, вытянула ее от кого-то из знакомых Гарбо.

Позднее тем же днем Розамон Пиншо изложила мне иную версию. Гарбо была тем, что мужчины обычно называют идеальной женщиной: она в высшей степени проницательна, хороша собой, наделена редкой физической притягательностью и хороша в постели. Говорят, что ей нет равных в умении целоваться. Все это время у нее была длинная вереница любовников. У нее самые длинные на свете ресницы. По мнению Розамон, естественность и благородная утонченность ее игры в

«Безрадостном переулке» — лучший образец актерского мастерства из всех виденных ею на киноэкране».

Сесиль вернулся в Англию, где для него наконец-то наступил период финансовой стабильности. Он нашел для себя загадочный, заброшенный дом, Эшком, затерявшийся среди пологих холмов Уилтшира и, не раздумывая, арендовал его на пятнадцать лет вперед. Допотопное здание горделиво возвышалось над вершиной холма, перед которым простиралась извилистая долина. В то же время дом казался скрытым от посторонних глаз и недоступным для непрошеных гостей. Что примечательно, задняя стена дома выходила к подножию холмов, образующих нечто вроде подковы. Сесиль не раздумывая принялся вить здесь свое уединенное гнездышко.

В 1930 году у Сесиля в Галереях Кулинга состоялась выставка и он опубликовал свою «Книгу Красоты». И хотя ему так и не удалось обзавестись фотографией Гарбо, он включил туда набросок, в котором, в частности, говорилось:

«Несколько лет назад, в кафетерии какой-нибудь голливудской киностудии, вам нередко могла попасться на глаза надутая, угрюмая блондинка, сидящая за столом в полном одиночестве. Она с трудом могла объясниться по-английски, почти все окружающие были ей ненавистны, вид у нее самой был самый что ни на есть жалкий, впрочем, так оно и было. В Голливуде она появилась совсем недавно и имела всего два платья, две шляпки, одну смену белья и ни единого друга. Звали ее Грета Густафсон, короче, Гарбо. Она нередко бывала одна-одинешенька. Приехала она из Швеции и, подобно многим своим соотечественницам, была блондинкой со светлыми ресницами, то есть едва ли не альбиноской. Выглядела она какой-то нечесаной, и вообще вы бы не заметили в ней ни капли светского лоска. Правда, она неплохо получалась на фотографиях, и компания частенько использовала ее для рекламных фото, на которых она позировала в гротескных позах и нарядах. Для придания картинке изюминки они обязательно выищут какое-нибудь абсурдное животное из бездонных запасников реквизиторской. На подобных фотографиях у этой молодой женщины появлялось некое редкое необъяснимое качество. Вскоре она значительно улучшила свою внешность: стала краситься резко и непривычно, но по-своему весьма привлекательно — густо подводя веки, а брови выщипывая в форме усиков бабочки. Она напоминала одну из тех бледных обитательниц подводного мира, некую эфемерную русалку или наяду, мелькнувшую в дрожащем зеленоватом свете морских глубин, с длинными волнистыми волосами и обилием перламутровых раковин. Сегодня эта молодая женщина — та

самая Гарбо, как теперь ее все называют — являет собой самую знаменитую в мире фигуру. Найдется ли кто другой, кто затмил бы ее магнетизм, ее полную романтики или экзотики личность? Мы еще не имели другой, столь же привлекательной во всех отношениях звезды. Грета Гарбо по праву зовется королевой Голливуда, ее гонорары баснословны, ее слово — закон. У нее округлое лицо с заостренными чертами, ее рот широк и похож на нож. У нее крупные зубы, похожие на хорошо подобранные по размеру жемчужины, глаза у нее светлые, а ресницы столь длинны, что когда Гарбо закрывает веки, то они касаются ее щек. Цвет ее лица поражает какой-то неземной белизной и столь нежен, что кажется, будто у нее кожа на один слой тоньше, чем у других людей, и поэтому стоит ей слегка нахмуриться, как это тотчас становится заметно. Своими плавными томными движениями она скорее напоминает пантеру или русалку и пусть она высока ростом, с крупными руками и ногами — есть в ее внешности нечто от эльфа. Сколь загадочно прекрасна была она в роли бедной сироты — ее первой крупной роли в немецком фильме «Безрадостный переулок». Воистину, такой красоты мы еще ни разу не видели. Она походила на бледный вьюнок, и ее игра была столь проста и столь трогательна, что у вас тотчас возникал вопрос: «Так почему же ни одна другая актриса не играла так до нее?» Ее улыбка казалась такой естественной и искренней. Что может быть проще, чем так улыбаться?

И тогда Голливуд вспомнил о ней и обнаружил, что она может стать самой сладострастной любовницей в мире, что она умеет целоваться лучше, чем кто-либо другой, в избытке наделена притягательностью. Она появилась в таких фильмах, как «Плоть и дьявол», «Искусительница», «Любовь», «Поцелуй», «Влюбчивая женщина», «Загадочная женщина». Молодой офицер, в форме руританской[2] армии и в перчатках, кивком кланялся ей и целовал ей руку, затем они смотрели друг на друга полузакрытыми глазами, приоткрыв рот и с подрагивающими ноздрями, после чего следовал крупный план страстных объятий.

Вся ее кинороль стала лишь мимолетной фазой ее существования, которая, как вам кажется, началась и закончится вместе с ней. С ее чуть безумной внешностью, с глазами, в которых читаются какие-то странные мысли, и усталой улыбкой, она — воплощение леонардовской Джоконды: ясновидящая, которая, будучи наделена некой только ей известной мудростью, знает и видит все».

«Мои отношения с мужчинами куда романтичнее, нежели с женщинами»

Интимная жизнь Сесиля Битона началась в Хэрроу с близких отношений с Эдвардом Ле Басом. Сесиль позже признавался, что в школе был довольно женственным и нередко пользовался пудрой и губной помадой. Он рассказывал Гарбо, что отец однажды ужасно рассвирепел, поймав его «накрашенным», и в наказание запер на целый день в комнате.

После Хэрроу Сесиль познакомился с Керлом Ленгом. Этой дружбе суждено было стать одним из многих обреченных увлечений Сесиля, поскольку Ленг уже повстречал Роберта Готорна Харди, ставшего ему до конца дней самым близким другом.

Сесиль пережил несколько интимных приключений в Кембридже, особенно когда принимал участие в любительских постановках. Он был предметом довольно пристального внимания со стороны высокого гребца по имени Бен Томас, который вскоре занял респектабельный пост директора Центрального Бюро Информации. Там же, в Кембридже, имели место неизбежные студенческие попойки, подробно описанные самим Сесилем, который, протрезвев к утру, подробно излагал на бумаге мельчайшие детали вчерашней вакханалии. Большинство других студентов, которые были не прочь таким образом развлечься, в конце концов с удовольствием предавались гетеросексуальным отношениям, женились на светских барышнях и заводили романы с известными куртизанками тех дней.

В своих дневниках Сесиль частенько предавался размышлениям относительно своей собственной сексуальности. Ему ужасно не хотелось признаваться в том, что он гомосексуалист, но и мысли об интимных отношениях с женщиной приводили его в ужас.

В октябре 1923 года он писал;

«Мое отношение к женщинам следующее — я обожаю танцевать с ними, водить их в театр и на частные просмотры, говорить с ними о нарядах, спектаклях и женщинах, но в действительности мужчины нравятся мне куда больше. Мои отношения с мужчинами всегда были куда более романтичными, нежели с женщинами. Мне ни разу не приходилось любить женщину, и не думаю, что это когда-либо произойдет и я испытаю те же чувства, что и к мужчине. Я действительно, ужасный, ужасный гомосексуалист, хотя и пытаюсь изо всех сил не быть им.

Я изо всех сил пытаюсь быть хорошим, а не дешевым и омерзительным… ведь насколько приятнее быть нежным и обыкновенным и спать в одной постели, но на этом все кончается. Все остальное мне просто отвратительно, и все-таки это ужасно трудно…»

Врожденная застенчивость Сесиля и смущение по поводу собственной сексуальности были в полной мере продемонстрированы им в декабре 1966 года, когда он размышлял о последствиях доклада Волфендела и принятого парламентом законодательства, дававшего относительную свободу гомосексуалистам, достигшим двадцати одного года.

«В последние годы терпимость относительно данного предмета привела к тому, что те предрассудки, от которых я остро страдал, будучи молодым человеком, теперь потеряли всякий смысл. Даже сейчас я могу лишь весьма туманно осознавать, что слишком поздно научился входить в комнату, полную людей, не испытывая при этом чувства вины. Войти в комнату, полную мужчин, или же посетить туалет в «Савое» — все это когда-то требовало от меня усилий. По мере роста моих творческих успехов ситуация значительно упростилась. Однако стоит только хорошенько поразмыслить, какой ущерб, какая трагедия явились следствием недостатка сочувствия к столь деликатной и трудной теме, что сейчас воистину для нас настало время праздновать. Что касается меня, то я благодарен. Может быть, это звучит несколько эгоистично, но мне жаль, что этот замечательный шаг вперед не был сделан раньше. И дело вовсе не в том, что мне бы хотелось добиться полной вседозволенности, — нет, я просто устал ощущать себя преступником и изгоем, и жаль, что в самые трудные для меня годы юности я был лишен этой моральной поддержки».

Именно в Америке Сесилю выпало пережить первый, робкий роман с женщиной. В декабре 1929 года, во время его второго визита в Нью-Йорк, Сесиль заметил в своем дневнике: «У меня была ужасно насыщенная неделя. Я почти не смыкал глаз и впервые в жизни оказался в одной постели с женщиной. С одной в среду, а с другой — это было более длительное и серьезное увлечение — в пятницу». Судя по всему, Сесиль признался своей приятельнице Марджори Элрихс, прожигательнице жизни из Нью-Порта, которая впоследствии вышла замуж за музыканта Эдди Дачина, что еще ни разу не имел близости с женщиной, и эта в избытке наделенная душевной щедростью особа предложила посвятить его в курс дела. Затем Адель Астор, сестра и партнерша Фреда Астора, взяла эстафету в свои руки и пригласила Сесиля к себе в постель, не в силах поверить в его скромность. Когда

Сесиль приблизился к ней, то целомудренно держал перед собой полотенце. Уезжая несколько дней спустя в Голливуд, Сесиль распрощался на вокзале с Аделью, которая в качестве сувенира преподнесла ему в память о его подвигах золотой карандаш. Сесиль остался дружен с обеими женщинами и глубоко скорбел о Мардж, когда та в 1937 году скончалась от родов. С Аделью, впоследствии леди Чарльз Кавендиш, он состоял в переписке до самой смерти. Адель была ему привлекательна во многих отношениях, и что самое главное, из-за ее откровенности. «Вместо того чтобы получать удовольствие, я слишком часто страдаю от этого», — нередко говаривала она.

Приобщение к гетеросексуальной любви, однако, не принесло особых плодов. Модельер Чарльз Джеймс одним из первых обвинил Сесиля в том, что тот только притворяется, будто принадлежит к миру гетеросексуальных отношений. Сесиль писал, что он поймал себя на том, что отпускает грубые замечания в адрес «голубых», потому что «они пугают меня, вселяют в меня отвращение, и я столь живо представляю самого себя во многих из них; а ведь для того, чтобы сбросить с себя это печальное и смехотворное предназначение, требуется всего лишь капля твердости и решительности».

Однако спустя всего несколько дней его поймали за «совращением» здоровенного черного боксера по кличке Джимми, а по возвращении в Лондон Сесиль стал жертвой одного из самых выдающихся своих романов с Питером Уотсоном.

Сесиль познакомился с Питером в Вене в 1930 году, во время летнего отдыха, который забросил их до самой Венеции. Сесиль обнаружил, что Питер стал любовником дизайнера и декоратора Оливера Месселя, который с тех пор превратился в его заклятого соперника, и поэтому он исполнился решимости отвоевать Питера. Таким образом для него начался четырехлетний период глубокой фрустрации, странное сочетание окрыленности и напряженного отчаяния, который в конечном итоге не привел ровным счетом ни к чему и во время которого Битон впервые встретился с Гарбо.

Питер Уотсон обладал сложным противоречивым характером. Он был предметом восхищения последующих поколений за свою редкостную красоту и щедрое покровительство художникам. Когда Сесиль познакомился с Уотсоном, тот как раз получил внушительное наследство и тратил его на такие легкомысленные приобретения, как «роллс-ройс» и шикарные костюмы. Пока Уотсон и Сесиль колесили по Европе, Уотсон жесточайшим образом вел себя по отношению к своему чувствительному воздыхателю, позволяя лишь «близость на расстоянии». Длинные

выдержки из дневников Сесиля трудно читать, не проникнувшись сочувствием к его автору, который наделал немало ошибок, пытался достучаться до сердца своего равнодушного, довольно избалованного и совершенно безразличного к страданиям возлюбленного. Сесиль опускался все ниже в преисподнюю, пока, наконец, не погрузился в состояние, прекрасно описанное Стендалем: «последняя мука, полнейшее отчаяние, отравленное, однако, проблеском надежды».

В какой-то момент их мучительных взаимоотношений Питер Уотсон предложил Сесилю обзавестись любовницей. Сесиль так и поступил, совершив очередную вылазку на «гетеросексуальную почву», где завел роман с блистательной виконтессой Каслросс, которая, пребывая в высокомерном неведении, полюбила его всей душой и, как следовало ожидать, соблазнила в комнате, наполненной ароматом тубероз, в Фарингдоне — эксцентричном оксфордширском поместье эксцентричного пэра лорда Бернерса. Озадаченные гости этих стен, немало повидавших на своем веку, поднялись наверх, чтобы подслушать под дверью: «О боже, боже, боже!» — доносилось восторженное восклицание Сесиля из святая святых — спальни Дорис. Она соблазнила Битона вкусить запретный плод, а чтобы он не слишком переусердствовал, заставляла думать в момент любовного акта о бракосочетании собственной сестры. Этот роман весьма позабавил лондонское общество, и однажды вечером лорд Каслросс, обедая в ресторане, заметил Сесиля в обществе своей бывшей супруги.

«Вот уж ни за что бы не подумал, что Дорис лесбиянка», — заметил он.

Помимо этого, Сесиль оказался в постели еще с одной женщиной. Лилией Ралли, подругой детства югославской принцессы Ольги и ее сестры, герцогини Кентской. Эта дама тоже была без ума от Сесиля, с которым на протяжении всей своей жизни оставалась в близких отношениях. Кстати, этот роман положительно сказался на карьере Битона, поскольку ему приходилось снимать семейство Кентов, принцессу Ольгу, а вскоре после этого и королеву Елизавету — впоследствии королеву-мать.

На протяжении этих лет Сесиль иногда хвастался и другими своими победами. Он несколько раз обмолвился о том, будто имел в Голливуде роман с Гэри Купером, что вполне допустимо, и, несомненно, за долгие годы пережил немало мимолетных увлечений, не оставивших после себя в памяти глубокого следа, лишь только сиюминутная страсть бывала удовлетворена. Имеются свидетели, заявляющие, будто они сопровождали Сесиля, когда тот отправлялся на оргии в турецкие бани.

Подобные подвиги давались ему с гораздо большей легкостью за границей, нежели у себя дома в Лондоне, где он с каждым днем приобретал все большую известность и поэтому был весьма уязвим в этом отношении.

Во время войны имело место еще одно памятное гетеросексуальное совокупление. Сэр Джон Гилгуд, рассуждая о сексуальных наклонностях Сесиля, заявил: «Одна моя знакомая актриса сказала, будто Сесиль был лучшим из ее партнеров». Корал Браун, безусловно, любила порассуждать о пылкости Сесиля. Однажды тот получил заказ сфотографировать актрису и, к величайшему удивлению последней, набросился на нее прямо в театральной гостиной. Когда же в дневниках Сесиля появились заметки, касающиеся его романа с Гарбо, Корал заметила: «Все до единого в Голливуде покатываются над ним со смеху. Что касается меня, то это стало путешествием в область воспоминаний».

Их взаимоотношения опять-таки оказались не так просты, как того хотелось бы, поскольку к ним проявила повышенный интерес Мод Нельсон, секретарша Сесиля и к тому же лесбиянка, которая принялась повсюду распространять слухи. Эти сплетни доставили Корал немало неприятностей, особенно с тем мужчиной, с которым она в ту пору жила. Судя по всему, имела место даже попытка самоубийства. В какой-то период Корал Браун подумывала о том, чтобы обыграть это событие в какой-нибудь драме, особенно в шпионской саге Гая Берджеса «Англичанин за границей».

Многие из знакомых Сесиля поняли это так, будто он попросту не знал, чем и как заняться с женщиной. Даже сейчас его хулители и кое-кто из сообщества гомосексуалистов, с которыми он общался, отказываются в это поверить. И тем не менее те, кто знали его близко и способны были дать объективную оценку его увлечениям, заявляют иное. Как ни странно, существует немало доказательств тому, что у женщин Сесиль пользовался куда большим успехом, нежели у мужчин.

«В присутствии этой тайны»

Сесилю было всего двадцать восемь, когда в 1932 году он наконец-то встретил Гарбо на той вечеринке у Гулдингов. Гарбо была на полтора года младше его. Некоторое время Сесилю удавалось хранить молчание относительно их встреч, однако позднее, летом 1934 года, он опубликовал несколько портретных зарисовок кинозвезд в книге «Очерки» и одна из них была посвящена Гарбо.

Сесиль начал посвященный Гарбо отрывок с одной из тех напыщенных фраз, к которым прибегали все друзья Гарбо, прежде чем писать о ней: «Поскольку ее отвращение к любому вторжению в ее уединенное существование слишком велико, я, опасаясь оскорбить ее лучшие чувства, обязан не давать волю перу. Однако я уверен, что она не будет против, если я поведаю вам, как она смотрится с экрана».

Эта зарисовка воспроизведена более или менее идентично в книге «Беглые заметки Сесиля Битона» в 1937 году. Поскольку сегодня их практически невозможно отыскать, поскольку они весьма точны и, самое главное, поскольку, с некоторым запозданием, они стали причиной крупной ссоры между Сесилем и Гарбо, мы сочли нужным привести их полностью.

«Гарбо

Она прекрасна, как северное сияние, но если мы сравним Грету Гарбо на экране и в жизни, это будет подобно сравнению де Ласло с Леонардо. Тот образ, что предстает перед зрителем, полон магнетизма, он весел, трагичен, чувствителен, исполнен мудрости, но и другие актрисы притягивают и завораживают нас до тех пор, пока не остановится кинопроектор и иллюзия, созданная режиссерами и их помощниками, не уступит место действительности. Лишь только Гарбо, после того как погасли софиты и убраны декорации, вместе с дождевиком набрасывает на себя благородство. В реальной жизни она обладает таким разнообразием качеств, которые экран просто не способен воспроизвести с технической точки зрения, так что даже если бы она и не являлась обладательницей самого красивого лица нашего времени, все равно все остальные современные красавицы меркли бы по сравнению с нею.

Кожа ее гладка как мрамор и обычно покрыта легким, абрикосового или медового оттенка загаром; ее волосы на ощупь нежнее шелка, блестящие и ароматные, подобно волосам младенца после купания. Ее нос столь чувствителен, что, кажется, способен ощущать тончайшие ароматы, которые недоступны

окружающим и которые, возможно, исходят от ее собственной красоты. Зубы ее крупны и сверкают ярче жемчужин, а ее чувственный рот на самом деле очерчен более тонко, чем это кажется на фотографиях. Что же касается ее глаз, то таких еще просто не было в природе. В них читается и любопытство, и сострадание, и томность, они глубоко посажены и поражают незабываемой голубизной. У них темные крупные зрачки, а ресницы столь длинны, что невозможно поверить, будто они настоящие, ведь только у детей, да и то не у всех, мы встречаем столь поэтическое украшение. И Гарбо обладает такой трагичной детскостью.

Губная помада и лак для ногтей тускнеют рядом с ней. Она не пользуется косметикой, за исключением черной символической линии на веках — это символ вневременной моды, неизвестный доселе нашей цивилизации, символ, подсказанный инстинктом и который мир тотчас поспешил перенять. Она подобна Дебюро, бледная, неприкаянная, воздушная или же безрассудно веселая. Ее руки, хотя она и зовет их руками кухарки, длинные и сильные, с квадратными ногтями. Она с вызовом вдыхает дым сигареты, зажатой двумя прямыми пальцами.

Действительно, она постоянно прибегает к помощи рук и, будучи прирожденной актрисой, сопровождает свою речь жестами и мимикой. Высокого роста, она, однако, пропорционально сложена, а ее ступни — узкие и длинные, как у греческой статуи. Она ловка и подвижна, можно даже сказать, настоящая гимнастка. Ее одежда всегда поражает элегантностью, хотя и лишена присущего женским нарядам изобилия рюшек и складок; собственно говоря, у нее даже нет вечернего платья. Она покупает себе одежду в местном магазине Армии и Флота, где моряки и прочий рабочий люд приобретают себе комбинезоны и свитера.

Правда, все эти качества можно было бы при желании обнаружить не у одной только Гарбо. Магия же, которая интригует и озадачивает многих мечтателей, неуловима и обманчива. Даже самые неутомимые из ее почитателей приходят в отчаяние от того, что не могут разгадать секрет ее притягательности. В резком повороте головы, в открытом, откровенном выражении лица, в мальчишеских гримасах, в надменном взгляде из-под полуопущенных век, таком высокомерном и равнодушном, что у другого наверняка считался бы признаком непомерной гордыни, — во всех этих проявлениях осознанной красоты, которая при малейшем подражании становится неуклюжей, или самонадеянной, или смехотворной, во всем этом есть нечто такое, что Голливуд не способен

уничтожить. В присутствии этой неразрешимой загадки все остальное тускнеет и меркнет. Она презирает те фильмы, в которых вынуждена сниматься. Диалоги вызывают в ней скованность, и она то и дело ворчит, что ей приходится изображать из себя секс-символ. Ей бы хотелось играть романтические роли — Жанну Д'Арк или Гамлета, а ее заветная мечта — сыграть Дориана Грея. Ей бы ужасно хотелось играть с теми актерами, что наделены искрой божьей и вдохновением, однако режиссер подсовывает ей вещи вроде «Маты Хари», поскольку с его точки зрения нет причины менять политику, и после вялых и недолгих споров она, скрепя сердце, вынуждена сдаться.

Она наделена чувством юмора и подчас способна предаться веселью, однако несчастна, неврастенична, болезненна, поскольку совершенно случайно, вопреки себе самой, стала той, кем вовсе не собиралась быть. Здоровую крестьянскую девушку разрекламировали как некую экзотическую шпионку. Она должна соблюдать диету, ей запрещено прикасаться даже к морковке, так что не только здоровье, но и ее нервы пострадали от треволнений популярности. Если случайно замечают, как она спешит по переулку, то тотчас кидаются за ней вдогонку, чтобы разжиться какой-нибудь историей, и эта нескончаемая охота изнуряет ее, и, доведенная до предела, она бросается в слезы и запирается у себя в комнате на несколько дней, отказываясь впускать даже горничную. Она даже не в состоянии читать. По этим причинам она неспособна развиваться как личность. Прекрасно, что она оберегает себя от тлетворного влияния Голливуда, но Гарбо теперь настолько замкнулась в самой себе, что даже когда время от времени позволяет себе отдых, он не становится для нее событием. Ее ничто и никто в особенности не интересует, она несносна, как инвалид, и столь же эгоистична и совершенно не готова раскрыть себя кому-либо; из нее получилась бы занудливая собеседница, постоянно вздыхающая и полная раскаяния. Она суеверна, подозрительна, и ей неизвестно значение слова «дружба». Любить она тоже не способна.

Она поверила в роль королевы Кристины и стряхнула с себя апатию, в результате чего мы увидели Гарбо не как фантом, а как реальную и полную благородства личность. В течение последующих лет мы начали задаваться вопросом, почему же эта неразрешимая загадка с ее романтическими идеями и духовными исканиями не сделала дальнейших усилий, чтобы освободиться от оков, которые, если верить ей, она всей душой презирала. Затем последовала «Дама с камелиями». Ее трактовка роли Маргариты наполнила юмором и жизнью набивший оскомину

роман. Ко всеобщему удивлению, роль получилась просто потрясающая. Мельчайшие оттенки эмоций и веселье начальных сцен не шли ни в какое сравнение с прежним безразличным весельем. Гарбо превратилась в любящее, страдающее человеческое существо. Когда она умирала, то у нее был не просто больной вид — у нее был вид человека, который провел в постели долгие месяцы. Она была так слаба, что не могла даже улыбаться, сохранив, однако, гордость, присущую статуям Бернини. В какие-то моменты казалось, что она вобрала в себя всю мудрость Лилит, и именно благодаря всему этому мы впоследствии задавались вопросом, играла ли она с истинным пониманием или же ею двигал один лишь голый инстинкт. Если она способна создавать такие шедевры, то непременно должна появляться в ролях, исполнить которые по силам только ей. Но вполне возможно, что магия ее обманчива, и поэтому, введенные в заблуждение великой актрисой, мы создаем из нее идеал, которым она никогда не станет».

Глава 3
Марлен: «Мы ложимся в постель с любым, кто покажется нам привлекательным»

Карьера Гарбо достигла своего пика в период с 1932 по 1941 год. Затем последовали десятилетия бегства от мира и она уже больше не снималась в кино. Гарбо создала свой образ еще в 1932 году и почти не меняла его в последующие годы. В одном из немногочисленных интервью она заметила:

«Я была похожа на корабль без руля и ветрил — испуганная, потерянная и одинокая. Я неуклюжа, застенчива, боязлива, вся издергана, и мне стыдно за мой английский. Именно поэтому я возвела вокруг себя непробиваемую стену и живу за ней, отгородившись от всего мира.

Быть звездой — нелегкое дело, требующее уйму времени, и я говорю это со всей серьезностью».

В 1932 году актриса снялась в таких фильмах, как «Гранд-отель» и «Если ты хочешь меня». Не успев освободиться после съемок, Гарбо на целых восемь месяцев скрылась в Швеции. Это произошло вскоре после ее встречи с Сесилем на вечеринке у Гулдингов, и все это время она ссорилась со своей возлюбленной Мерседес.

Репортеры откопали Гарбо в ее «убежище», что находилось в часе езды от Стокгольма, — актриса уединилась от мира в лесу на роскошной вилле с видом на озеро. Здесь она предалась своим излюбленным занятиям, совершала долгие пешие прогулки, низко надвинув на глаза теннисный козырек, налегала на весла, ела овсяную кашу, вареные яйца, хлеб с маслом, пила кофе, лакомилась густой сметаной. После этого путешествия журналистка Джулия Свенсон взяла у актрисы интервью.

Гарбо рассказывала:

«Многие люди утверждают, что я задавака и ко мне не подойти с вопросом, — и все из-за того, что я не «оголливудилась», что не общаюсь с остальной киношной братией. Это вовсе не соответствует действительности. Единственная причина того, почему я предпочитаю уединение, заключается в том, что мне необходимо восстановить силы после напряженной работы, иначе я просто не смогу сниматься дальше. Не стану спорить, мне доставляет большее удовольствие прочитать какую-нибудь увлекательную книгу, чем тратить

попусту время на вечеринки. Всем моим настоящим друзьям это прекрасно известно. А если у вас есть хорошее радио, с которым вы мысленно можете совершать кругосветные путешествия, то у вас есть все основания быть довольной жизнью. Моим величайшим желанием всегда было обретение внутренней гармонии. Знаете, ведь и у кинозвезд бывают проблемы, пусть даже не материальные, — но разве у нас, как и у всех, нет души?

Знаете, я давно уже не испытывала подобного удовольствия, как в эти месяцы, пока жила в Стокгольме. Это было просто изумительно! Как-то раз вечером я пошла на собрание, организованное «Армией спасения». Моя мечта — сыграть в картине девчушку из «Армии спасения». По-моему, существует немало тем, из которых хороший сценарист при желании может сделать конфетку. Как-то раз я также посетила Риксдаг, чтобы послушать дебаты. Это тоже показалось мне ужасно интересным, хотя из этого вряд ли получится фильм. Я посетила немало лекций. Я была в восторге, что меня никто не узнает. Ведь случись мне быть узнанной, как вся прелесть этого вечера попросту пошла бы насмарку.

Я бесконечно счастлива — возможно, главным образом потому, что как никогда хорошо себя чувствую. Уже давно я не испытывала такого прилива сил».

Мерседес в июле 1932 года полетела за Гарбо в Нью-Йорк и, когда та отплыла в Швецию, вернулась в Голливуд с пустыми руками. Таким образом, во время затянувшегося отсутствия Гарбо она могла позволить себе немного развлечься на стороне, хотя позднее и заявляла, будто наделена некой психической силой, позволяющей ей мысленно переноситься в спальню Гарбо в Швеции, пока ее бренная оболочка оставалась в США. Мерседес писала в своей автобиографии, что «после того, как она уехала, Голливуд для меня опустел». Правда, ненадолго. Когда Сесиль все еще находился в Голливуде, он как-то раз пригласил Мерседес провести в его обществе вечер на концерте знаменитого немецкого танцора Харальда Кройцберга. Мерседес чувствовала себя неважно и поэтому не стала наряжаться. Но даже так она выглядела просто потрясающе — в белых брюках, белой водолазке и белом пальто. Когда они с Сесилем заняли свои места, Мерседес заметила впереди привлекательную блондинку, бросившую робкий взгляд в ее сторону. То была Марлен Дитрих.

К тому времени Марлен провела в Голливуде около двух лет. Ей исполнился тридцать один год, и она была на подступах к славе. Режиссер Джозеф фон Штернберг, в свое время разглядевший ее необузданную сексуальность и соблазнительную привлекательность, пригласил ее на роль неотразимой Лолы-

Лолы в фильме «Голубой Ангел», который был снят в Берлине в 1930 году. Штернбергу удалось вылепить из довольно-таки дебелой девицы восхитительное создание. Режиссер разглядел назревавший в ее душе конфликт. Ее характер поражает умудренностью и, одновременно, какой-то детской наивностью.

Несмотря на успех актрисы в «Голубом Ангеле», студия «УФА» не стала возобновлять с ней контракт. Вот почему, подписав контракт с «Парамаунтом», Марлен переехала в Голливуд. Здесь она снялась в «Марокко», который стал первым в ряду прославленных фильмов, сделанных ею в Америке в сотрудничестве со Штернбергом. Марлен сыграла певичку из кабаре, влюбленную в парня из Французского Иностранного Легиона (его сыграл Гэри Купер). Пожалуй, наибольшую известность получил эпизод в кафе, в котором Марлен, переодетая в мужской костюм, наклоняется, чтобы запечатлеть на губах девушки страстный поцелуй. Этот фильм удостоился всяческих похвал, что позволило Марлен прийти в себя после мучений, которые ей приходилось терпеть от требовательного, не дававшего ей ни малейших поблажек, режиссера. Вслед за этим последовал фильм «Обесчещенная» (1931 г.). Здесь Марлен сыграла австрийскую шпионку, которая, перед тем как предстать перед расстрельным взводом, красится перед смертью, глядя на свое отражение в сабле германского офицера, — не обращая внимания на его покрикивания, она хладнокровно подкрашивает губы. Марлен получила прозвище «женщина-вамп с мозгами и чувством юмора», а в качестве вознаграждения — пятьдесят тысяч фунтов.

Сотрудничество Дитрих со Штернбергом стало предметом аналитического исследования «В мире удовольствий», в котором поднимался вопрос «мазохистской эстетики». Его автор, Гейлин Стаддар, пришел к следующим выводам:

«Дитрих частенько упоминают как актрису, чье присутствие на экране заставляет задаться вопросом о наличии в Голливуде женщин. Она также создала свой собственный культ и имеет немало поклонников как среди мужчин, так и женщин, независимо от их любовных пристрастий. Разнообразная природа армии ее почитателей наводит на мысль, что Дитрих, как воплощение звезды, и фильмы Штернберга, в которых она блистала, пересекли немало заповедных троп всех мыслимых и немыслимых удовольствий».

Сама Марлен о вопросах секса говорила совершенно откровенно. Она поведала писателю Бадду Шульбергу, что «в Европе никому нет дела, женщина вы или мужчина. Мы ложимся в постель с любым, кто покажется нам привлекательным».

Кеннет Тайней развивает ту же тему в своем знаменитом очерке, посвященном этой удивительной актрисе:

«У нее есть пол, но одновременно она беспола. У нее мужские замашки, сыгранные ею героини обожали силу и расхаживали в брюках, им неизвестно, что такое головная боль или истерика. А еще они начисто лишены стремления к домашнему уюту. Многие женщины находят в Дитрих привлекательным ее мужское начало, мужчины же — ее сексуальность».

На следующий день после их встречи на концерте Мерседес спокойно работала у себя дома, когда в комнату к ней заглянула горничная с огромным букетом белых роз. Девушка заявила, что в холле ее хозяйку поджидает Марлен Дитрих. Заинтригованная, Мерседес спустилась вниз, чтобы воочию убедиться, так ли это. В холле ее встретило то же самое робкое выражение лица гостьи. Мерседес протянула руку, и Марлен приняла ее и «прямо-таки на военный манер сделала приветственный кивок и ответила крепким рукопожатием». Актриса сказала, что со вчерашнего вечера желает познакомиться с Мерседес, что в Голливуде у нее почти нет знакомых, и она принесла ей цветы — «белые цветы, потому что прошлым вечером вы выглядели как белый принц».

Мерседес поблагодарила гостью, добавив, что ужасно рада, что ей подвернулась возможность поговорить о двух недавно виденных фильмах, доставивших ей огромное удовольствие.

«Ой, давайте не будем говорить о картинах, — попросила Марлен. — Мне бы хотелось сказать вам кое-что, если, конечно, вы не сочтете меня сумасшедшей. Я хочу вам кое-что предложить».

И она сказала Мерседес, что та, по ее мнению, слишком худа и бледна и вообще у нее больной вид. И еще Мерседес показалась ей опечаленной.

«Я тоже печальна. Печальна и одинока. Нелегко привыкать к новой стране. Вы первая, к кому меня здесь потянуло. И пусть вам не покажется вызывающим, но я пришла к вам, потому что не могла ничего с собой поделать».

Пока что Марлен предложила себя Мерседес в кухарки.

Она забрасывала Мерседес цветами. Если верить рассказам, поначалу это были тюльпаны, которые Мерседес отвергла, так как в них ей виделось нечто фаллическое. Затем она стала посылать розы или гвоздики, иногда два раза на день. Однажды по ее заказу из Сан-Франциско доставили десять дюжин редчайших орхидей.

Мерседес, возвращаясь домой из студии, нередко заставала горничную «ломающей от отчаяния руки», поскольку в доме не осталось ни одной свободной вазы.

«Я ходила по цветам, падала на цветы, спала на них, — писала Мерседес. — Наконец я расплакалась и, от злости выйдя из себя, велела Анне, моей горничной, отправиться в больницу со всеми этими чертовыми цветами».

Мерседес высказала Марлен свое неудовольствие, пригрозив, что бросит ее в бассейн, если та осмелится прислать ей хотя бы еще один цветок. Марлен обиделась, но затем ей в голову пришла великолепная мысль, и вместо цветов она принялась посылать Мерседес дорогие вазы и прочие безделушки.

Из универмага «Буллоке» Мерседес доставляли одну за другой коробки с халатами, шарфами, пиджаками, брюками, свитерами, лампами и абажурами.

Все это де Акоста прилежно отсылала обратно в магазин. И снова Марлен пала духом, но в конце концов все разрешилось само собой, причем, посмеявшись от души, Марлен и Мерседес, наконец-то, стали друзьями.

Несмотря на то, что они виделись каждый день, Марлен послала Мерседес за восемь месяцев более тридцати писем и пятнадцать телеграмм, запечатлев тем самым роман, разыгравшийся в период между сентябрем 1932 и маем 1933 года, когда Марлен отбыла на лето в Европу.

В ее первой телеграмме, помеченной 15 сентября, говорится, что ее комната — это фантазия в белом, и теперь, когда она познакомилась с Мерседес, ей будет трудно покинуть Голливуд. На следующий день они уже впервые держали друг друга в объятиях. Когда Мерседес высадила Марлен возле ее дома, та поспешила поскорее выскочить из машины на тротуар, опасаясь, как бы ее малолетняя дочь, Мария, не заметила Мерседес и не стала терзать мать вопросами о том, где это мама провела весь день. Марлен хотелось, чтобы Мария постепенно сблизилась с Мерседес и к ней привязалась. Как она сама писала, ей хотелось подарить своей возлюбленной сердце Марии вместе со своим собственным.

Спустя несколько дней Марлен написала снова, на этот раз на своем любимом французском, пояснив, что не способна изливать любовные чувства по-английски. Марлен утверждала, что была уже готова покинуть Голливуд, однако теперь наверняка останется. Ею движет надежда, что время от времени она будет видеть Мерседес — ее глаза, ее руки, которые теперь для нее дороже всего на свете. Марлен уверяла возлюбленную, что как только та устанет от нее, она тотчас сойдет в могилу, даже не требуя от Мерседес, чтобы та проронила над ней хотя бы единую слезинку. Марлен вместо подписи приложила к листу ладонь, предварительно запечатлев на ней поцелуй, в знак благодарности

за то счастье, что подарила ей Мерседес, и присовокупила заверения в вечной любви.

Мерседес жаловалась на то, что по мнению Марлен их любовь должна продолжаться «вечно».

«Никогда не произноси слово «вечно», ибо в любви это всегда подобно святотатству. Никто не способен понять, действительно ли он с этого момента проникся истинной любовью или же, попросту дав клятву, тотчас забудет о ней. Никто не произносит слова «вечно», ибо любовь ни к чему не обязывает».

В октябре Марлен купила для Мерседес несколько пуговиц и отослала их вместе с письмом, которое заканчивалось воздушным поцелуем, предназначенным для рук и губ Мерседес, которые, как уверяла Дитрих, изменились со времени их встречи. В ноябре Марлен послала Мерседес халат и несколько носовых платков, которые она приобрела в отделе товаров для мужчин в универмаге «Буллоке». Вскоре последовали такие соблазнительные подношения, как часы, таблетки, пирожные, бальзам для волос.

Мерседес и Марлен часто проводили время вместе. Однажды Марлен послала подруге записку, в которой говорилось, что в Голливуд прибыл Штернберг, которому необходимо встретиться с ней вечером. Дитрих ничего не оставалось, как сказать ему, что она будет ждать его дома, поскольку встреча, по всей видимости, была довольно важной. Марлен извинилась перед Мерседес, что не сможет пообедать вместе с ней, однако поспешила заверить, что будет у нее к половине десятого или к десяти. В более чем откровенном письме она призывала Мерседес пообедать одной в ее отсутствие, а затем лечь спать и дожидаться ее в постели. Сама она, мол, не задержится и минутой больше, чем это окажется нужным.

В то время Марлен жила в доме номер 32 по Оушн-Франт-авеню в Санта-Монике. Нередко хозяйка дома в компании двух друзей-акте-ров, Мартина Козлека и Ханса фон Твардовски, захватив с собой дочь Марию, отправлялась купаться.

Мерседес впоследствии писала:

«В целом мы чудесно проводили время по соседству с пляжным домиком».

Мерседес называла Марлен «моя золотая». Какое-то время спустя Мерседес адресовала подруге небольшую любовную записку:

Для Марлен,
Чье лицо озарено лунным светом,
Проникающим сквозь кожу.

Мягким, бледным и лучистым.
Никакого загара, ибо ты вся светишься.
Ибо ты не что иное, как сущность
Звезд и луны и загадок ночи.

Все это как нельзя лучше соответствовало избранному Мерседес жизненному пути, который одновременно пересекли две самые яркие звезды того времени.

Гарбо и Дитрих то и дело сравнивали между собой, и вывод неизменно бывал один и тот же — Гарбо с легкостью выходила из этого «соревнования» победительницей.

«Дитрих — профессионал своего дела, в то время как Гарбо — художник», — этот вердикт вынес писатель Фрэнсис Уиндэм, тот самый, кто в 1960 году помог Мерседес опубликовать в Англии ее мемуары. В тридцатые годы обе актрисы, казалось, воплотили в себе все великолепие греха.

Личная жизнь Мерседес, судя по всему, была бурной и насыщенной, однако в это время у нее возникли нелады с «МГМ». Это стало следствием того, что Мерседес не позволила Ирвингу Тальберту внести не соответствующие исторической истине изменения в сценарий о Распутине. Главный ее аргумент заключался в том, что княгиня Ирина Юсупова, супруга князя Феликса, убийцы Распутина, ни разу не встречалась с сибирским старцем, а значит, сцена, в которой тот соблазняет ее, противоречила исторической правде и была оскорбительна по своей сути. Мерседес додумалась до того, что попробовала заручиться согласием князя Юсупова опубликовать рассказанную ей с глазу на глаз историю. Таковое было получено, однако князь дал однозначно понять, что если в фильме изобразят его супругу, то он подаст на компанию в суд. Мерседес предупредила Тальберга о возможных последствиях, однако тот был убежден, что, проконсультировавшись с князем, она переступила границы дозволенного. Мерседес заявляла, что якобы спасла Тальберга от судебного разбирательства и вообще дружба куда важнее отношений по службе. Тальберг в сердцах аннулировал контракт, и Мерседес осталась без работы.

В последующие тяжелые для Мерседес месяцы Марлен как могла утешала подругу. Она посылала ей деньги и даже слушать не желала, когда та говорила, что обязана возвратить долг. Иногда Мерседес наведывалась в «Парамаунт», где в это время шли съемки штернберговского фильма «Алая императрица», в котором Марлен играла Екатерину Великую. Однажды Мерседес оказалась на съемочной площадке в тот момент, когда Марлен,

чтобы разрядить атмосферу, нарочно упала с лошади, в результате чего газеты запестрели душераздирающими заголовками. Но затем, в мае 1933 года, Марлен вместе с дочерью отплыла в Европу в длительный отпуск.

Что касается самой Марлен, то для нее это путешествие оказалось наполнено драматическими событиями. Ее мучили головные боли и приступы сердцебиения. Марлен писала подруге, как, стоя на палубе, она чувствовала себя совершенно одинокой, глядя на толпу, размахивающую черными носовыми платками в попытке докричаться до нее через все увеличивающееся пространство между судном и причалом. Марлен так расчувствовалась, что ей стало трудно дышать.

Подплывая к Европе, Марлен горестно заметила, что вместо «Моей Золотой» Мерседес следовало бы называть ее «Моей Печальной».

Мерседес при первом удобном случае посылала ей цветы: например, в Трианон, один из дворцов Версаля, где Марлен остановилась с больной дочерью, она послала орхидеи.

Тем временем в апреле 1933 года из Швеции возвратилась Гарбо и, разумеется, не замедлила возобновить дружеские отношения с Мерседес. Она написала ей письмо с борта судна, на котором плавала в Сан-Диего, и вскоре по возвращении Греты Мерседес с головой ушла в дела, пытаясь подыскать для подруги новое жилье. Эту новость Мерседес сообщила Марлен письмом, добавив, что Гарбо должна сняться в фильме «Королева Христина», у режиссера Рубена Мамуляна. Марлен старалась избегать упоминания имени соперницы, однако на этот раз она отправила каблограмму, в которой говорилось, что рада за это «шведское дитя» — той, разумеется, доставляет удовольствие работать с Мамуляном.

В письме к Марлен Мерседес пыталась объяснить противоречивые чувства, клокотавшие в ее душе.

«Постараться объяснить, какие чувства я испытываю к Грете, было бы просто невозможно, поскольку подчас я не понимаю самое себя. Мне известно одно — в моей душе зародилось чувство к несуществующему человеку. Мой разум видит реальность — человека, девчонку-служанку из Швеции, с лицом, которого с любовью коснулся творец, заинтересованную исключительно в деньгах, собственном здоровье, сексе, пищи и сне. И все же это лицо обманчиво, и моя душа пытается воплотить ее образ в нечто такое, чего не приемлет мой разум. Да, я люблю ее, но я люблю созданный мною образ, а не конкретного человека из плоти и крови…»

Далее Мерседес подчеркивает, что в последнее время

перенесла свои пылкие чувства с Дузе на Гарбо и что, однако, ее любовь к кинодиве не мешала ей любить других. Позднее Мерседес выражала свою любовь к Марлен в одном, на ее взгляд весьма практичном, предложении: «Я приведу к тебе в постель, кого ты пожелаешь! И вовсе не потому, что я недостаточно люблю тебя, а потому, что люблю всей душой! О, Моя Прекраснейшая!»

Почти не обращая внимания на раздвоенность чувств Мерседес, Гарбо приступила к работе над фильмом «Королева Христина». Этот проект предложила Залька Фиртель, близкая подруга Гарбо и та самая женщина, которая представила ей Мерседес «за чаем» в 1931 году. Однажды вечером они встретились в доме Эрнста Любича, который давал прием в честь какой-то знаменитости из Германии. То была типично голливудская вечеринка.

В одном углу сгрудились хорошенькие женщины, в то время как в другом мужчины обсуждали свои дела. Бельгийский кинорежиссер Жак Фейдер (именно он в 1929 году поставил фильм «Поцелуй» с участием Гарбо) предпочитал общество дам. Он подвел Зальку к кушетке, на которой расположилась не только почетная гостья из Германии в пышных юбках, но и одинокая фигура Гарбо. В отличие от остальных гостей, она нарядилась в «строгий черный костюм». А так как для всех места на кушетке не хватило. Фейдер повел дам на веранду. Там они то и дело наполняли бокалы и вели оживленную беседу. По мнению Зальки Фиртель, Гарбо была в равной степени прекрасна и остроумна.

«В красоте ее лица подчас проявляется нечто неожиданное. Может показаться, будто вы вообще видите его впервые… Она принялась расспрашивать меня о моей работе в театре. Она оказалась приятной собеседницей, держалась приветливо и непринужденно, подшучивая над своим ломаным немецким и английским, хотя, надо заметить, говорила довольно правильно».

Новая дружба получила дальнейшее развитие, когда на следующий день Гарбо появилась в доме Фиртелей, чтобы продолжить беседу. «Просто одетая, в брюках, без вычурных украшений и какой-либо косметики, за исключением ее знаменитых длинных ресниц, которые она густо красила черной тушью».

Позднее Фиртели обменялись между собой произведенным ею впечатлением.

«Больше всего нас подкупила в ней ее удивительная вежливость и внимание к собеседнику. Она показалась нам наделенной какой-то особой чувствительностью, хотя в ней и было что-то от упругости стали. Ее замечания в адрес разных людей отличались справедливостью, объективностью, хотя и

были довольно резки. «Возможно, эта ее слава не позволяет ей жить настоящей жизнью», — сказала я».

Эта новая дружба послужила Гарбо отличной поддержкой в оставшиеся годы ее кинокарьеры. Они легко общались друг с другом, и если Зальке в голову приходила какая-нибудь идея, Гарбо всегда была готова ее выслушать. По мнению Зальки, Гарбо просто была создана для роли королевы Христины, и Гарбо, которая досконально изучила жизнь королевы, соглашалась с ней.

Залька Фиртель так описывает королеву:

— Она была эксцентрична и блистательна, это избалованное дитя мужественного Густава Адольфа. Полученное ею «мужское» образование и неоднозначная сексуальность делают ее в некотором роде нашей современницей. Ее стремление к свободе, ее настойчивое желание вырваться за пределы пуританской, протестантской Швеции, к которой она, словно цепями, была прикована короной, — все это зачаровывало меня.

Подруги надеялись, что съемки состоятся в Европе, но, по мнению Тальберта, куда проще было снимать в одном из павильонов Голливуда. В результате постепенно начал вырисовываться типичный голливудский фильм, чего Гарбо всей душой стремилась избежать.

Возвращение Гарбо никак не способствовало избавлению Мерседес от извечной депрессии. Однажды, во время особенно невыносимого приступа, де Акоста отправилась прокатиться в машине с одной из своих горничных, заметив при этом:

— Господи, ну хоть бы какая-нибудь машина сбила меня насмерть!

Ее довольно глупое желание едва не исполнилось — почти в тот же момент она стала жертвой серьезного столкновения. От удара ее выбросило из машины, и она с силой ударилась головой о дорогу. В результате Мерседес оказалась в госпитале в Санта-Монике и лишь чудом не осталась калекой. Марлен позвонила ей из Парижа и даже предложила взять на себя все расходы по лечению, а впоследствии интересовалась, как заживают швы.

Мерседес скоро поправилась после несчастного случая, хотя ей и пришлось перенести несколько пластических операций, из-за которых нередко была вынуждена ходить с забинтованным лицом. Ее депрессия давала о себе знать с новой силой.

Вот что писала об этом она сама:

«Грета снималась в «Королеве Христине» и все дни проводила в студии. К вечеру она валилась с ног от усталости и ей было не до меня. Марлен все еще оставалась в Европе, откуда продолжала слать мне жалостливые письма».

Марлен писала, что и представить не могла, что будет

чувствовать себя столь одиноко. Она обнаружила, что Европа больше не является для нее родным домом, и поэтому терзалась вопросом, а не выбрать ли ей в качестве такового Голливуд. Она благодарила судьбу, что у нее есть Голливуд и Мерседес, которая так прекрасно понимает ее боль.

В конечном итоге некая приятельница отослала Мерседес к Шри Мехер Баба, индийскому спириту, давшему обет молчания. Он убедил ее, написав на доске, что самоубийство является величайшим злом и что она должна искать спасение в «Воплощении Бога». Этот случай послужил толчком к ее длительному интересу к индийской философии и спиритизму.

Зимой 1933/34 года Мерседес вместе с Гарбо совершили вылазку в Йосемитский национальный парк, где едва не заблудились в густом непроходимом лесу. Вскоре после этого происшествия на экраны вышел фильм о Распутине, и князь Юсупов, как и обещал, подал на «МГМ» в суд. Мерседес снова получила работу. Она принялась уговаривать Тальберга, чтобы тот снял фильм о Жанне Д'Арк с Гарбо в главной роли. Режиссер поручил ей написать сценарий. Мерседес настолько прониклась этой идеей, что начала видеть в Гарбо спасительницу Франции.

«Это перевоплощение было столь полным в моем сознании, что, когда мы совершали с ней прогулки по холмам или отправлялись на пляж, я частенько видела ее в средневековом костюме и даже в латах», — вспоминала Мерседес.

Увы, Гарбо отклонила эту роль и даже отказалась обсуждать с Мерседес какие бы то ни было подробности.

В 1934 году Гарбо начала сниматься в фильме «Раскрашенный занавес» по роману Сомерсета Моэма. К сожалению, и эта картина была сделана по типичному голливудскому рецепту. У Зальки Фиртель от возмущения не нашлось слов, и она ограничилась следующим замечанием:

«Помнится, продюсер хотел подчеркнуть китайский колорит и поэтому настаивал, чтобы под деревом стояла статуя Конфуция. По какой-то странной причине он постоянно называл его Везувием».

В ноябре 1934 года Мерседес вместе с Гарбо совершила набег на голливудские магазины, в результате чего Гарбо облачилась в вельветовые брюки. Репортер в течение трех часов поджидал ее с фотоаппаратом, стоя на подножке машины, чтобы только запечатлеть эту сцену, и когда снимок был опубликован, он разошелся по всему миру. Мерседес приписала себе славу зачинательницы новой моды, тем более что она до этого уже водила к этому портному Марлен и та заказала у него шестнадцать комплектов мужской одежды. Марлен тоже

сфотографировалась в этом наряде.

Мерседес писала:

«С той секунды женщины всего мира натянули на себя брюки. Это стало началом Великой Эры Женских Брюк! Боюсь, что я и есть та самая виновница, которая дала всему этому толчок. Толстые и худые, высокие и низкорослые, молодые и старые, женщины во всем мире решили, что, облачившись в брюки, они будут смотреться не хуже Марлен. Каждое ее фото, которое появлялось в печати, влекло за собой продажу новой тысячи пар брюк, и магазины просто захлебывались от покупательниц. Война, разразившаяся несколько лет спустя, распространила эту моду дальше, так как женщины, занятые на военных работах, все до одной переоделись в брюки».

Мерседес любила Калифорнию и ощущение свободы и независимости. Она обожала ходить в брюках и, живя вдали от Нью-Йорка, любила чувствовать себя хозяйкой просторного дома с многочисленной прислугой. Правда, временами она испытывала угрызения совести из-за своего оставшегося в Нью-Йорке мужа, Абрама Пуля.

«Я искренне была привязана к нему и глубоко переживала, что он одинок. Зная, что Абрам неравнодушен к одной манекенщице, я написала ему письмо, в котором предложила ему сделать ее своей любовницей. Он почему-то воспринял это предложение совершенно неправильным образом и прислал мне в ответ разгневанное письмо, в котором обвинял меня в полном отсутствии моральных принципов. Однако вскоре после этого до меня дошли сведения, что он уже давно воплотил в жизнь мое предложение».

В 1935 году Пуль подал на развод, решив, что ему все-таки стоит жениться на манекенщице. Такого поворота событий Мерседес никак не ожидала.

«Ведь, в конце концов, мы любили друг друга. Мы были друзьями и прожили вместе пятнадцать лет. А то, что наши интимные отношения уже давно утратили ощущение новизны, разве могло служить поводом к разводу? Я была воспитана слишком по-европейски, чтобы, подобно американцам, сломя голову бросаться в суд с заявлением о разводе, как только вам становится нечем заняться с супругом в постели».

Как Мерседес отмечала в набросках к автобиографии;

«У меня было такое чувство, как если бы отец или кто-то из близких друзей написал мне, что больше не желает даже слышать обо мне».

Мерседес сорвалась в Нью-Йорк, чтобы обсудить возникший вопрос, пребывая в твердом убеждении, что ее супруг лишь для

острастки грозит ей новой женитьбой. Так оно и оказалось на самом деле — Абрам признался, что в действительности и не помышлял о том, чтобы им развестись, и даже не рассчитывал, что Мерседес даст ему развод. В ответ на подобные признания Мерседес сделала ход конем — она принялась убеждать супруга, чтобы тот развелся с ней и женился на своей манекенщице. После чего последовала бурная дискуссия о том, каким образом это лучше осуществить. Абрам хотел, чтобы Мерседес съездила в Рино и там развелась с ним. Однако та отказалась, чем повергла супруга в ужас.

«Где это слыхано, чтобы мужчина подавал на развод с женщиной, — так не принято», — заявил он.

Но Мерседес твердо стояла на своем.

«Я отвечала ему, что мне наплевать на условности, и поскольку уж он первым завел об этом разговор, то вполне мог сам подсуетиться и подать на развод».

Вскоре после этого Мерседес уехала в Италию и провела там какое-то время, погрузившись вместе с двенадцатью монахинями в уединенную атмосферу монастыря. Затем она отправилась в Париж, где с явной неохотой снова вернулась к прежним привычкам, после чего переехала в Австрию, в поместье Каммер, где остановилась в гостях у Элеоноры фон Мендельсон. Как обычно, замок был полон таких знаменитостей, как Раймунд фон Хофманншталь, Элис Астор, леди Диана Купер и Айрис Три; среди гостей мелькали также Макс Рейнхардт и Тосканини. Вскоре после этого Мерседес возвратилась в Нью-Йорк.

И снова она не задержалась там слишком долго. Гарбо неожиданно вызвала ее телеграммой в Стокгольм: «Я жду тебя к обеду в следующий вторник, в восемь часов вечера в обеденном зале «Гранд-отеля».

Мерседес, неисправимая любительница приключений, охотно откликнулась на этот призыв и всеми правдами и неправдами сумела-таки в урочный день добраться до Швеции, прибыв в Стокгольм холодным ранним утром.

Только Мерседес была способна по достоинству оценить все, что последовало за этим, и только Гарбо была способна подвергнуть ее таким испытаниям. Она позвонила Мерседес уже в шесть утра, разбудив ее, усталую с дороги, и заявила:

«Я сейчас буду у тебя».

После чего она заставила Мерседес пойти с ней в зоопарк. Вслед за этим последовали четыре часа блужданий по темноте и пронизывающему холоду, но Мерседес, похоже, не замечала никаких неудобств.

«Я была слишком возбуждена и давно мечтала побывать в

Стокгольме вместе с Гретой, и поэтому мне казалось, будто я вижу сон наяву», — писала Мерседес.

Обед состоялся, как и было запланировано; «вечер прошел в сентиментальной атмосфере», с икрой, шампанским, под оркестр, исполнявший любимые мелодии. После этого Гарбо и Мерседес отправились погостить с графом и графиней Вахмайстер, и Гарбо свозила подругу взглянуть на домик, в котором она родилась.

«Она (Грета) не стала ничего рассказывать. Мы просто немного постояли молча. Я была ужасно растрогана. Растрогана потому, что вижу дом, где она появилась на свет, и потому, что она привезла меня сюда. Я знала, что этот жест многое для меня значит. Когда мы отправились в обратный путь, никто из нас не проронил ни слова».

Вернувшись в конце 1935 года в Голливуд, Гарбо снялась в «Анне Карениной». Этот фильм, пожалуй, стал ее крупнейшей работой в кинематографе или, по крайней мере, дал ей возможность во всем блеске проявить свое артистическое дарование. На следующий год Гарбо снялась в «Камилле» Джорджа Кьюкора. Годы спустя режиссер вспоминал, как его восхищала недосказанная манера ее игры — в сцене туберкулезного приступа Гарбо передавала страдание героини не надрывным кашлем, а внезапной одышкой. А еще каким-то образом наружу прорывался ее эротизм.

Она не касалась Армана, но осыпала поцелуями его лицо. Именно так и создается эротика. Это именно та, неподвластная цензорам идея, которую актер адресует публике.

Гарбо с поразительной легкостью устанавливала эту связь с публикой, казалось, она делилась со зрителями своими интимными переживаниями, причем делала это смело, со всей откровенностью. В этой сцене не было даже намека на «телесный контакт», что, впрочем, не играло никакой роли. В характере у Гарбо имелась еще одна черта, без которой невозможно сыграть любовную сцену. Внешне актриса оставалась довольно спокойной, но под холодной поверхностью в ней бурлила настоящая страсть. Вам известно, что она способна на безрассудные поступки и ее ничем не остановить, ведь в душе у нее клокочет вулкан…

Кьюкор, рассказывал Сесилю о настоящей Гарбо:

«Разумеется, она чувственная женщина, и если захочет, то не остановится ни перед чем — если положит глаз на мужчину, заманит его к себе в постель, а затем выставит за дверь за ненадобностью, — однако свою чувственность она всегда приберегает для кинокамеры».

Мерседес, наоборот, считала, что Гарбо держится в студии слишком скованно и что, мол, она вообще переняла замашки

своей туберкулезной героини.

Спустя четверть века Мерседес было суждено испортить себе самой жизнь, опубликовав свои мемуары. И хотя Гарбо было известно, что, даже когда они бывали вместе. Мерседес, не зная устали, строчила воспоминания, она не придавала этому особого значения и, по всей видимости, никогда не касалась этой темы в присутствии Мерседес.

Марлен, наоборот, заняла совершенно противоположную позицию — она с неподдельным интересом читала наброски, нередко помогая весьма полезными советами, и в конечном итоге выносила написанному свою оценку.

«Ей все это искренне нравилось, — заявила Мерседес в момент публикации. — По правде говоря, она даже хотела переписать все своей рукой — в этом вся Марлен».

Сесилю вряд ли пришлись бы по душе кое-какие из замечаний Мерседес. В одном месте Мерседес, описывая визит в Музей Фрика вместе с Сесилем, приводит цитату, а именно высказанное Сесилем замечание, когда они с Мерседес остановились возле причудливых позолоченных часов:

«Неудивительно, что мы из поколения невротиков. Мы слишком стремительно перенеслись из одного мира — в другой: от мирного тиканья часов к реву реактивных самолетов и атомной бомбе — все это произошло слишком стремительно. Все переходы нашего века были слишком бурными… потрясающими».

Марлен предложила опустить имя Сесиля по той причине, что тот якобы никому не известен.

Глава 4
Стоковский, Она Мансон, Джордж Шлее и Валентина

В тридцатые годы Сесиль Битон чаще пожинал плоды успехов, нежели терпел поражения, несмотря на то, что пережил ряд семейных и любовных трагедий, а кроме того, по собственной глупости, крах своей карьеры в журнале «Вог». Его любовь к Питеру Уотсону ничуть не угасла, и Сесиль попеременно «то бывал на седьмом небе от счастья, то был готов с горя наложить на себя руки».

Именно в эти годы он много путешествовал, расширяя свой кругозор, и даже подружился с такими мастерами, как Челищев и Берар. В Париже он сотрудничал с журналом «Вог» и сумел войти в кружок Жана Кокто. Обе его сестры вышли замуж, и поскольку брата и отца уже не было в живых, то Сесиль возложил на себя обязанности главы семьи.

Сесиль начал делать снимки королевской семьи. В 1937 году его пригласили сделать официальный портрет герцога и герцогини Виндзорских во время их бракосочетания в Париже, а спустя два года Сесиль получил вызов в Букингемский дворец сделать фотопортрет королевы Елизаветы (ныне королева-мать, прим. пер.). Битон также создавал эскизы декораций и костюмов для балета, выпускал книги и продолжал создавать серию портретов знаменитостей и представителей британской аристократии, а также делал фото для журналов мод. Его творчество обрело зрелость, а при помощи светотехников и прочего персонала ему удавалось создавать изысканные образы, причем в его стиле чувствовалось влияние сюрреалистов.

И вот когда, казалось, его дела пошли на лад, Сесиль совершил ошибку, стоившую ему работы в журнале «Вог», и в результате в течение полутора лет оставался не у дел. Сесиль частенько иллюстрировал журнальные статьи, украшая страницы выполненными пером набросками. В февральском номере 1938 года Сесиль поместил иллюстрации к статье о нью-йоркском обществе Фрэнка Крауниншильда и, отчасти вследствие собственного неведения, а отчасти по причине заносчивости, вставил в небольшой комментарий под рисунками несколько весьма неприятных антисемитских замечаний.

Самым оскорбительным из написанного им оказалось словечко «жид». Позднее Битон утверждал, будто ему непонятно,

как такое вышло из-под пера, что якобы он выполнял этот заказ в состоянии крайнего физического изнеможения и вообще надеялся на то, что его подписи предстанут перед зорким оком редактора и тот не пропустит подобного ляпсуса. Произошло же нечто совершенно противоположное. Рисунки вышли в свет, и пресса не замедлила подхватить злополучные строчки. В результате Сесиль буквально подвергся осаде. Его вызвал к себе сам Конде Наст и тотчас уволил с работы. Одновременно из розницы было изъято около ста тридцати тысяч экземпляров журнала. Отголоски того случая отдавались еще на протяжении многих лет.

«Он заплатил за свою оплошность, причем очень дорого, — вспоминала позднее Ирен Селзник. — Он наказал самого себя».

Карьера Сесиля была спасена благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, он удостоился приглашения сделать фотопортрет королевы Елизаветы, с которого началось длительное знакомство Битона с королевской семьей. Вторым обстоятельством оказалась вспыхнувшая вскоре война, открывшая для Сесиля новые возможности. Сказать по правде, Битону до смерти наскучило фотографировать молоденьких дебютанток, задумчиво глядящих на него из увитых цветами беседок. Теперь ему подвернулась возможность совершить путешествие на Ближний и Дальний Восток, чтобы запечатлеть на пленку военные будни. Сделанное им в одном из госпиталей фото раненого ребенка мгновенно получило успех в Соединенных Штатах. Фотографию поместили на передней обложке журнала «Лайф», вслед за чем «Вог» поспешил снова предоставить Сесилю работу.

В середине тридцатых годов Залька Фиртель предложила Ирвингу Тальбергу сделать фильм о Марии Валевской, возлюбленной Наполеона, и, конечно же, прочила на роль главной героини Гарбо, но поскольку в этой истории не обошлось без адюльтера и внебрачного ребенка, то незамедлительно последовали возражения со стороны цензоров. Тальберг, однако, стоял на своем, говоря следующее:

— Это потрясающая любовная история, и я не отступлю от задуманного.

Однако в конце 1936 года Тальберг умер, в возрасте всего тридцати семи лет, и новый продюсер потребовал, чтобы сценарий был переписан заново, с той целью, чтобы история получилась еще печальнее и «вдохновеннее», фильм вышел на экраны в конце 1937 года под названием «Завоевание», а роль Наполеона в нем сыграл Чарльз Бойе.

Незадолго до начала съемок «Завоевания» Гарбо

познакомилась с мужчиной, занявшим в ее жизни второе место, обаятельнейшим дирижером Леопольдом Стоковским, который приехал в Голливуд для работы в фильмах. Они повстречались на званом обеде в доме Аниты Лоос в Санта-Монике и уже спустя несколько месяцев отправились в совместное путешествие по Европе. Первую свою остановку они сделали на вилле Чимброне в Равелло, на побережье Италии.

«Мне хотелось увидеть самое красивое, что только есть в этой жизни, вместе с мистером Стоковским, — поведала Гарбо кому-то из репортеров. — Я мало путешествовала и мало чего повидала. Я хочу увидеть красоту. Мой друг, который так много видел и так много знает, предложил мне поехать вместе с ним и согласился выступить в роли гида».

Газеты не преминули устроить ужасный переполох. Они наперебой принялись кричать о предстоящем браке, однако Гарбо сделала по этому поводу опровержение:

«Ни о какой свадьбе не может быть и речи, по крайней мере, в ближайшие два года, из-за моих контрактов в Голливуде и творческих планов. После чего я снова стану обыкновенной женщиной и в частной жизни вольна делать что угодно. Надеюсь, что обо мне позабудут и репортеры наконец-то перестанут беспокоить меня».

«Стоки» и Гарбо провели в совместном путешествии несколько месяцев, после чего задержались на какое-то время в Швеции, в поместье, незадолго до этого приобретенном Гарбо. Вскоре после описываемых событий Стоковский женился на Глории Вандербильт.

Первоначально планировалось, что Гарбо сыграет главную роль в фильме о Марии Кюри, в основу которого была положена книга дочери Кюри Евы, однако вместо этого актриса попробовала свои силы в комедии «Ниночка» (1939 г.). Мерседес ужасно досадовала, что на киностудии «МГМ» не сумели раньше распознать комедийный дар актрисы. Гарбо играла в паре с Иной Клэр, чью роль Великой Герцогини пришлось значительно урезать, чтобы она не заслоняла собой Гарбо. В последующие годы Ина Клэр частенько вспоминала, что Гарбо горела желанием с ней встретиться, однако все откладывала этот момент. Однажды, когда Гарбо позвонила Клэр, та сказала;

«Давайте отложим нашу встречу на неопределенное время», — после чего долгожданное рандеву все-таки состоялось.

По воспоминаниям Ины Клэр, Гарбо не скрывала, что имеет на нее виды, но Ина твердо дала понять, что не допустит ничего подобного.

И тогда Гарбо сказала;

«А теперь мне надо посетить комнату для маленьких мальчиков».

Когда вскоре Ина Клэр тоже посетила туалет, сиденье на унитазе было поднято.

Примерно в это же время Мерседес подружилась с индийским танцовщиком Рамом Гопалом, который, как и она, питал интерес как к Гарбо, так и к духовным проблемам. Они познакомились на одной из голливудских вечеринок. В июле 1938 года Мерседес встретилась с ним в Варшаве, где Рам тогда выступал с концертами. Во время этого, несколько печального для нее, путешествия Мерседес как-то пришлось провести ночь в гостинице, где со стены у изголовья ее кровати взирал огромный фотопортрет Гитлера. Мерседес была в Париже, когда разразился Мюнхенский кризис (а Чемберлен заключил свой безнадежный пакт). Из Парижа бежали почти все американцы, включая ее подругу, скульптора Мальвину Хоффман, в результате чего в гостинице остались лишь Мерседес и Марлен Дитрих.

Вместо того чтобы спасаться бегством в западном направлении. Мерседес направила свои стопы на восток, в Индию, где посетила знаменитого гуру Шри Мехер Бабу. Старик-гуру хотел, чтобы Мерседес задержалась у него лет на пять, однако та покинула его после первой же ночи. Все дело в том, что Баба обещал Мерседес отдельную комнату, однако, когда та прибыла на место, ей предложили общую спальню. Мерседес, которая и без того постоянно мучилась бессонницей, оказалась в ужасном положении. Помимо жары, многие из женщин храпели, а в довершение ко всему, рано утром пользовались горшками, что стояли у них прямо под кроватями. На следующее утро Мерседес второпях отбыла в путешествие по Индии, во время которого нанесла визит Раману Махариши, который, по ее мнению, явился прототипом мудреца в романе Сомерсета Моэма «Лезвие бритвы». Проведя какое-то время в спорах и беседах на религиозные и философские темы, Мерседес отбыла в Египет, а позднее, весной 1939 года, вернулась в Голливуд. Гарбо поселилась неподалеку, в Брентвуде, на Норт-Амальфи-драйв.

Именно в это время в жизнь Мерседес вошла кинозвезда Она Мансон. Больше всего Она известна в роли чувственной леди в алом, Белль Уотлинг, в фильме «Унесенные ветром», который вышел на экраны в 1939 году. Первая их встреча состоялась в 1932 году в Санта-Монике, в доме Эрнста Любича, куда Мерседес вместе с Гарбо заглянули без всякого приглашения. Любич, малопривлекательный тип с вечной огромной сигарой во рту, развлекал у себя Ону Мансон, в ту пору бывшую его любовницей.

Вот что последняя заявляла в одном из интервью:

«Я как раз вышла из кухни, держа в каждой руке по коктейлю с шампанским, когда внезапно услышала женский голос. В комнату вошла Грета Гарбо. Подумать только, какая неожиданность. Сама не знаю, как это я не выронила из рук оба эти коктейля. У меня хватило самообладания, чтобы предложить ей один из бокалов, и она тотчас обняла меня.

— Я знаю, кто ты такая, — сказала она. А это уже была неожиданность номер два.

Великая актриса, о знакомстве с которой я даже и мечтать не могла, была одета в мужские шорты, свитер и берет. До этого она совершала прогулку по пляжу и зашла поговорить по делу с мистером Любичем. Тому пришлось в спешном порядке одеться, чтобы выйти ей навстречу. Мисс Гарбо, как я обнаружила, в жизни даже более интересная и притягательная личность, чем на экране. Казалось, она наполнила своим присутствием всю гостиную. А тут еще эти ресницы!

Она проговорила почти всю вторую половину дня, главным образом о съемках и кинопробах, о том, как она всегда остается всем недовольна».

Она Мансон родилась в Портленде, штат Орегон, в 1906 году и при рождении получила имя Оуэна Уолкотт. В раннем детстве она танцевала в Нью-Йорке, а затем училась балету. Вскоре она стала выступать в водевилях и пользовалась таким успехом, что купила себе первое бриллиантовое кольцо, когда ей было всего четырнадцать лет. Ее первым крупным успехом в театре стала в 1925 году постановка «Нет, нет, Нанетт». Мансон удостоилась тогда нескольких вызовов на «бис» со своими знаменитыми песенками «Чай для двоих» и «Мне хочется быть счастливой». Спектакль пользовался такой неслыханной популярностью в Квакертауне в Филадельфии, что больным с нервными расстройствами рекомендовалось в обязательном порядке посетить его. Об Оне отзывались как о «восхитительном чертенке», мол, это «обворожительное сочетание юности, красоты и изящества».

Она первой из женщин исполнила знаменитый зонг «Ты — сливки в моем кофе» в постановке 1928 года «Держи все». Позднее она сыграла в «Привидениях» горничную миссис Олвинг, чью роль исполняла Алла Назимова, и тем самым доказала свои способности как серьезная актриса. Она была умна, интересовалась искусством дизайна и собирала произведения таких современных художников, как Пикассо, Дали, Брак, а также русского художника и дизайнера Евгения Бермана (ставшего

впоследствии ее третьим мужем).

Она обожала балет, знала наизусть партитуры многих музыкальных комедий и сама на слух подбирала мелодии на фортепьяно.

Мансон сбежала с комедийным актером Эдди Баззелом. Они поженились в Сан-Франциско в 1926 году. К 1930 году эта семейная пара обосновалась в Голливуде, и в октябре того же года на вечеринке у Мэри Пикфорд и Дугласа Фербенкса в клубе «Эмбасси» разыгралось странное побоище. Она танцевала с Любичем. Миссис Любич танцевала со сценаристом Гансом Крали, старым приятелем самого Любича, — которого тот выписал себе из Германии. Эта парочка ни на шаг не отходила от Оны и режиссера, то и дело по-немецки отпуская в их адрес колкости. Несколько раз шутники грубо обозвали их. Дело кончилось тем, что Любич ударил Крали, а миссис Любич ударила собственного супруга. Эта сцена привела остальных гостей в бурный восторг.

«Ой, какая неожиданность!» — даже воскликнул один из них.

Вскоре после этого случая Она развелась с Баззелом из-за якобы жестокого отношения к ней со стороны последнего. Ее роман с Любичем в течение года был в Голливуде предметом разговоров номер один.

Мерседес не слишком откровенничает в своей автобиографии относительно своих отношений с Оной, отмечая лишь, что той всегда хотелось с ней познакомиться, поскольку Она была наслышана о Мерседес от Назимовой.

«Я находила ее ужасно хорошенькой, — пишет Мерседес. — Но прежде всего меня поразили ее глаза. Они казались такими печальными, в них было нечто такое, что бередило мне душу».

После их первой встречи в доме Любича Она и Мерседес больше не встречались вплоть до 1939 года.

«Эта встреча тесно сблизила нас. Вскоре Она зачастила ко мне домой, а когда жила в Голливуде, то любила приходить к морю и поэтому частенько проводила вместе со мной уикэнды. Она жила в Голливуде вместе с матерью на вилле «Карлотта», а у меня там были и свои друзья. Мари Доро гостила там со своей матерью. Были там также певица Маргарита д'Альваре, ее коллега Кэтлин Хоуард, а также художник Юджин Берман. Вскоре после этого Она заключила контракт со студией «Республика» в Сан-Фернандо-Вэлли. Когда у нее начались съемки, она частенько приезжала ко мне домой прямо из студии и ночевала у меня. Обычно она говорила, что в «деревне ей спится куда лучше, чем в Голливуде».

Письма Оны к Мерседес могут лучше поведать нам об их

любви.

«Я тоскую по твоим объятиям, мне невмоготу из-за того, что я не могу излить в тебя мою любовь», — писала она в мае 1940 года.

Она пересказывает безобразный эпизод с Марлен Дитрих, который произошел вскоре после того, как фильм «Унесенные ветром» вышел на экраны. Она отправилась потанцевать в клуб «Сиро», когда туда заявилась Марлен со своей компанией.

«Марлен обратила на меня взоры всех присутствующих, и я покраснела до корней волос. Она смотрела на меня в упор, и мне ничего не оставалось, как покинуть зал, чтобы не испытывать неловкости».

Мерседес не нашла в этом ничего смешного и среагировала довольно ревниво. В своем следующем послании Она постаралась обратить гнев Мерседес в шутку, уверяя возлюбленную, что ее не интересуют ее интрижки с Марлен или кем бы то ни было.

В конце тридцатых Марлен стала любовницей Джо Карстерс, канадской миллионерши, гонщицы на моторных лодках, щеголявшей короткой стрижкой и татуировками. «Орешек» Карстерс обосновалась на Багамах, на островке Уэйл-Кей, где заправляла огромным домом и бесчисленной чернокожей прислугой, которая мало чем отличалась от рабов. Однако, когда в 1939 году Карстерс пригласила Марлен поселиться здесь, расписывая ей все прелести жизни в качестве полновластной властительницы тропического острова, Марлен не соблазнилась. «Орешек» Карстерс, ее секретарь и Марлен вместе провели остаток лета 1939 года в «Отель дю Канн» и вместе же вернулись в Америку.

Марлен и в последующие годы продолжала осыпать Мерседес щедрыми дарами. В сороковые годы Мерседес как-то раз по ошибке попала себе в глаза моющим средством, и Марлен, неизменный авторитет в медицинских вопросах, пришла ей на помощь и спасла Мерседес зрение.

Когда началась война, Гарбо все еще находилась в Голливуде, работая над фильмом «Ниночка».

«Грету было не узнать, — заметила Мерседес. — Она, как и прежде, регулярно заходила за мной после съемок, и мы отправлялись бродить по холмам. По крайней мере, я неторопливо прогуливалась, а она летела вприпрыжку. Она то и дело смеялась и повторяла один и тот же вопрос: «Почему?» — так, как она делала в фильме. Ей доставляло удовольствие передразнивать Любича с его акцентом, и она постоянно повторяла: «Почьему? Почьему?»

Она изображала для меня сцены из картины. Казалось, будто

в один прекрасный день она действительно превратится в Ниночку. Я смотрела на нее словно завороженная, наблюдая за тем, как веселая роль, вместо привычных печальных, целиком и полностью изменила все ее существо».

Именно Мерседес в 1939 году представила Гарбо Гейлорду Хаузеру, и вместе с его приятелем Фреем Брауном они вместе всей компанией предприняли поездку в Рино.

На протяжении военных лет Мерседес большую часть времени оставалась в Голливуде, где нашли пристанище такие выдающиеся личности, как Стравинский и сэр Чарльз Мендль со своей супругой Элси де Вольф. Однако работа перепадала ей не так уж часто, а затем Мерседес и вообще вызвала к себе некоторую неприязнь тем, что наняла экономку-немку.

Поэтому, когда Мерседес узнала, что Бюро военной информации издает в Нью-Йорке пропагандистский журнал «Победа», она обратилась туда с просьбой предоставить ей редакторскую работу и вскоре перебралась в Нью-Йорк, поселившись в доме № 471 на Парк-авеню. Ее прибытие совпало во времени с переездом Гарбо в расположенный напротив отель «Ритц», и подруги частенько обменивались световыми сигналами, несмотря на строгие предписания военного времени. Мерседес продолжала писать пьесы, в том числе и «Мать Христа», к которой Стравинский впоследствии сочинил музыку.

В 1943 году ее старая приятельница Эльза Максвелл взяла у нее интервью и задала вопрос о религии. Мерседес поведала ей, что начинала в лоне римско-католической церкви.

«Но если я должна причислить себя к чему-нибудь, я, пожалуй, назову себя буддисткой».

Убежденная феминистка. Мерседес была потрясена, узнав, что индийские женщины имеют право голоса, и вообще они показались ей куда более политизированными, нежели американки. Эльза заметила, что американские женщины предстают довольно старомодными, на что Мерседес отреагировала следующим образом:

«То же самое подумала и я, когда вернулась из Индии. Какой затворнический образ жизни у наших женщин! Ведь действительность их совершенно не трогает! По-моему, во всем виновата лень. Как, по-твоему, сможем ли мы когда-нибудь стряхнуть с себя эту летаргию, пусть даже при помощи войны, чтобы каким-то образом отвоевать для себя место за столом мирных переговоров?»

В эти годы Мерседес дважды съездила во Францию, расширив тем самым круг своих романтических увлечений, однако в целом ее карьера пошла под уклон, как, впрочем, и ее здоровье, и

уровень терпимости к ней ее друзей.

Последней работой Гарбо стал неудачный фильм «Двуликая женщина», снятый в 1941 году. Там было несколько весьма забавных сцен, а вышедшие из-под пера С. Н. Бермана диалоги искрились задором, но Гарбо явно смотрелась там не к месту. В противоположность тому, что обычно говорят по этому поводу, Гарбо тогда еще не приняла для себя окончательного решения, сниматься ей дальше или нет. Она все еще строила разнообразные планы, но все они по той или иной причине остались неосуществленными. Однако лишь после того, как в 1949 году план Уолтера Вангера дать Гарбо главную роль в экранизации романа Бальзака «Герцогиня де Ланже» потерпел фиаско, актриса приняла для себя окончательное решение уйти из кино. Или, как выразилась Залька Фиртель, «выставляемые напоказ дилетантизм, чванство, некомпетентность и лицемерное, нечистоплотное пренебрежение к чувствам великой актрисы не имели аналогов на протяжении всей истории кино. Все это вынудило Гарбо раз и навсегда отречься от экрана».

Незадолго до этих событий Гарбо пережила скоротечный роман с Гейлордом Хаузером, проповедником здорового образа жизни, с которым она познакомилась при посредстве Мерседес. Хаузер считал, что лучшим средством избавиться от хворей является занятие каким-нибудь, на первый взгляд малопримечательным, делом. С головной болью, например, следует бороться при помощи долгой изнурительной прогулки. Хаузер не всегда находил в лице Гарбо понимающую душу. В первые свои вечера в Голливуде, когда ему ужасно хотелось сходить на какую-нибудь премьеру или вечеринку, он неизменно был вынужден маяться дома в полном одиночестве, в обществе знаменитой затворницы.

Временами ему с Гарбо приходилось совсем нелегко. В 1939 году он писал Мерседес:

«Миледи» опять впала в очередную полосу депрессии и не в состоянии делать что-либо, что, впрочем, может служить объяснением, почему она мне не позвонила. Надеюсь, что к тому времени, как ты получишь это послание, она уже даст о себе знать. Воспользуйся моим советом и не пиши на ее адрес, так как это ее излюбленный повод для жалоб… Постарайся ощутить себя счастливой и не воспринимай происходящее слишком серьезно».

Хаузер беспрестанно пытался развеять меланхолию Гарбо, ее чувство одиночества. Ему казалось, что она немного взбодрится, если купит себе какую-нибудь обновку, и поэтому, будучи в Нью-Йорке, он потащил ее в «Шерри-Нидерланд-отель», модный

магазинчик женщины-дизайнера, русской по происхождению, по имени Валентина. Их сопровождала Элеонора Ламберт, нью-йоркская журналистка. Муж Валентины, Джордж Шлее, также оказался в магазине и был поражен тем, как клиентка его супруги для обыкновенной примерки осталась в чем мать родила. В конечном итоге троица подружилась, и Шлее не раз сопровождал обеих женщин на какую-нибудь вечеринку, причем обе были одеты в совершенно одинаковые синие матросские костюмы.

После того как Гарбо ушла из кино. Шлее уговорил ее провести зиму на восточном побережье. Шлее возглавлял Довольно любопытный, вполне в европейском духе, menage a trois[3] и, как утверждают, объяснил это Валентине следующим образом:

— Я люблю ее, но она никогда не захочет выйти замуж, а кроме того, у нас с тобой слишком много общего.

Чету Шлее сейчас вспоминают исключительно в связи с их знакомством с Гарбо, однако их собственная история по своей странности ни в чем не уступает истории актрисы. Оба они были родом из России и жили там до самой революции. Как пишет в своих мемуарах Залька Фиртель, Джордж Маттиас (Георгий Матвеевич) Шлее был «образован, интеллигентен и гостеприимен на старый русский манер… он пользовался любовью в обществе, в литературных и художественных кругах». Однако не все из его знакомых были настроены столь же благожелательно. Диана Вриланд вспоминает, что у него пахло изо рта; а Трумен Кэпот заявил следующее:

«Джордж Шлее — настоящий проходимец. Он был крайне неприятен внешне, чрезвычайно уродлив, в высшей степени безобразен. Я никак не мог уразуметь, как это ему удавалось, но он обладал над Валентиной и Гарбо безграничной властью.

А потом там была еще Мерседес де Акоста. Гарбо по отношению к Мерседес была тем же, кем Шлее — по отношению к ней самой. Мерседес была всей душой предана Гарбо, в то время как та обращалась с ней точно так же, как Шлее обращался с ней».

Шлее был адвокатом по профессии. Родился он в Санкт-Петербурге 1 июня 1896 года и происходил из зажиточной семьи, жившей в Крыму. Во время революции всю их собственность конфисковали большевики. Гонимый революцией все дальше на юг, он оказался в Севастополе, где сотрудничал с местным университетом и издавал газету. Затем служил в белой гвардии вплоть до самого ее разгрома. Поговаривали, будто к 21-му году он дослужился до генерала. Во время его бегства из России — по крайней мере, так утверждала молва — он встретил

четырнадцатилетнюю Валентину Санину, круглую сироту. Она стояла на железнодорожной платформе, явно не зная, куда ей податься. С длинными огненно-рыжими волосами, она была красива неземной красотой. Шлее подошел к ней и предложил ей свое покровительство.

Спустя многие годы он признавался:

«Я встретил ее, когда она была малолетней сиротой без гроша в кармане и пыталась спастись бегством от большевиков в Севастополе. Я был при штабе и поэтому отослал ее к себе домой. Спустя несколько дней позвонил прислуге и поинтересовался, как она там. «Все время жалуется, — прозвучало в ответ. — Все ей не нравится. То одно, то другое. Ничем ей не угодишь». Даже когда у нее не было ничего, она все равно жаждала совершенства. Неудивительно, что из нее получился потрясающий дизайнер».

Валентина Николаевна Санина родилась в Киеве, скорее всего, в 1899 году. Это была глубоко религиозная и суеверная женщина. Она утверждала, что уже при своем рождении видела кровь и поэтому знала, что обречена на страдания — имея в виду Революцию. Валентина заявляла, что ведет свое происхождение от самой Екатерины Великой, и поэтому многие из ее родственников поплатились за это жизнью. До своей встречи с Шлее Валентина училась драматическому искусству в Харькове.

Вот что рассказывала она сама:

«Мой муж сказал, что хочет на мне жениться, на что я ответила ему: «Я не обещаю тебе любви. Я не знаю, что это такое — любить кого-то, но если тебе нужна моя дружба, что ж, я готова выйти за тебя замуж». И он ответил: «Если ты выйдешь за меня, то я до конца своих дней буду о тебе заботиться». Что он и делал на протяжении двадцати двух лет…»

Чета Шлее бежала из России в Грецию, где жизнь тоже было трудно назвать сладкой. Валентина частенько шутила:

«Чтобы выжить, мы питались нашими бриллиантами.

Они поженились и отправились дальше, в Рим, а затем в Париж. Шлее организовал популярное ревю «Russe», а Валентина снялась в одном из фильмов в роли ангела — эта роль как нельзя лучше шла ей благодаря длинным огненно-рыжим волосам. В 1923 году супруги вместе со своим театром отправились в Соединенные Штаты. Валентина влюбилась в Америку буквально с первой минуты.

«Нью-Йорк был прекрасен, а небо и река просто восхитительны».

Валентина принимала участие в одной из постановок вместе с Кэтрин Корнелл. Но впоследствии она оставила сцену и

увлеклась миром моды.

Одной из первых людей, с которыми Валентина познакомилась по прибытии в Нью-Йорк, была Мерседес. Люся Давыдова пригласила вместе с собой Мерседес и Абрама Пуля в гости к актеру Тому Пауэрсу на Грейси-Сквер, чтобы они познакомились с четой Шлее.

Позднее Мерседес вспоминала:

«Она сшила для меня черное платье с белой русской вышивкой. Помню, я его просто обожала. Когда мы познакомились с ней, у нее были пышные рыжие волосы, такие длинные, что, когда она их распускала, они волочились по полу. Она обычно носила их, собрав в огромный узел на затылке, хотя я несколько раз видела, как она обматывает их вокруг шеи наподобие золотого воротника. В тот вечер, когда мы с ней познакомились, она была вся в черном и вид у нее был просто потрясающий. Она мне сразу понравилась и Джордж тоже, и, как мне кажется, мы почувствовали друг к другу симпатию. Мы вышли от Тома вместе с Люсей. Шел снег, и землю уже припорошило толстым слоем. И хотя было уже поздно и близилось утро, мы пешком пошли ко мне домой, чтобы выпить чаю.

Абрам написал два великолепных портрета Валентины — один в полный рост, где она позирует на шерстяном ковре с орнаментом, я еще принесла его из ванной, чтобы ей было на чем стоять. Ее волосы строго зачесаны назад и собраны в крупный узел. На ней белая блузка и черная юбка, а в руке она держит небольшой золотой крест и цепочку, которые я ей дала. Это сильный портрет, и от него веет чем-то русским. Второй портрет, до пояса, пожалуй, даже еще более интересен. Главный мотив этого портрета — алая перчатка».

В те дни в Нью-Йорке Валентина несомненно представляла собой примечательную фигуру… В то время, когда другие женщины носили шорты, она неизменно одевалась в платья до пят. В то время, как другие носили привычные вечерние платья, Валентина выделялась среди всех «потрясающими накидками… это бледное лицо, эта прическа из золотистых волос… она была вне времени, подобно древнегреческой танцовщице».

Валентина обожала широкополые соломенные шляпы и, по ее словам, явилась родоначальницей того стиля, который впоследствии произвел фурор благодаря знаменитой леди Диане Купер, прославившейся в Лидо в Венеции.

Как-то раз вечером Валентина появилась в опере в простом платье, «сооруженном» ею из трех метров черного бархата, которое тотчас привлекло к себе взгляды окружающих, поскольку

резко отличалось от того, что сама Валентина называла «этими жуткими брошками, этими бантами на задницах». Дамы начали осыпать ее вопросами, где она покупает себе одежду, и Валентина призналась, что шьет все своими руками.

Явление Валентины в мир моды в качестве манекенщицы состоялось на Седьмой авеню, но вскоре она ушла от хозяина, после того как тот ущипнул ее за зад. После этого она перешла на работу в магазин одежды «Соня» на Мэдисон-авеню. В 1928 году на этой же улице она открыла свой первый магазинчик, причем первым товаром в нем были ее собственные тринадцать платьев. Однако это дело закончилось финансовым крахом, так как Валентину подвел ее партнер, и первый, кто предложил ей помощь, чтобы она сумела выбраться из бедственного положения, был Леопольд Стоковский.

Ее новое начинание получило название «Платья от Валентины». Театральный продюсер Ирен Селзник говорила, что ничто не смотрится столь величественно, как простое платье от Валентины. Оно не только не было подвластно времени с точки зрения скоротечной моды — Валентина стала также первым дизайнером, кому удалось создать такое платье, в котором женщина могла спокойно броситься на шею мужчине, не опасаясь, что оно соберется складками у нее на спине.

Однажды какая-то самонадеянная особа, заметив Валентину в опере, обратилась к ней:

— Валентина, я хочу себе точную копию этого платья.

Валентина подвела даму к зеркалу и сказала:

— Милая мадам, что у нас с вами общего? — и отказалась выполнить просьбу.

В своем магазине Валентина не любила выставлять себя напоказ. Она бывала скрыта от посторонних глаз, но если какая-то дама приходила на примерку и Валентина соглашалась выйти к ней, она обычно просила гостью немного походить по магазинчику, чтобы разглядеть все как следует. У Валентины был безошибочный глаз на то, как будет новое платье смотреться при движении. По мнению Валентины, человеческое тело сродни механизму, а ведь все механизмы различны. И тогда у нее зарождались идеи, что и как надо изменить. Валентина терпеть не могла, когда что-нибудь сковывало движения, и поэтому обожала глубокие декольте или же небольшие капюшоны.

Валентина шила платья исключительно на заказ, хотя однажды и выразила согласие создавать ежегодную коллекцию для Манин, а также дала имя духам «My Own» (Мои собственные). Она по-прежнему одевала таких звезд, как Кэтрин Хепберн, Мэри Мартин и Глория Свенсон. В числе ее клиентов также бывали

Полетт Годар, Розалин Рассел и Норма Ширер. Валентина служила себе самой лучшей рекламой — «она носила платья так, что другим тоже хотелось примерить их на себя». В 1934 году Валентина придумала костюмы для Джудит Андерсон для спектакля «Достичь совершеннолетия», причем ее работы были встречены куда лучше, чем сама пьеса.

Она также принимала участие в создании фильма «Мечта идиота», с Линн Фонтанн, которая копировала ее ужимки и манеру разговаривать из «Филадельфийской истории». Последняя картина пользовалась таким успехом, что на Валентину обрушилась целая лавина заказов — даже спустя пять лет после премьеры клиенты желали обзавестись точно такими же нарядами, что и Кэтрин Хепберн.

Валентина делала особый упор на простоту, и ее повседневная одежда состояла из накидок, юбок и блуз.

«Простоте не грозит изменчивость моды — сказала она как-то в конце сороковых годов. — Шикарные женщины до сих пор носят платья, сшитые у меня в 1936 году… Шей с расчетом на целый век. Позабудь, какой на дворе год».

Другие ее цитаты гласили:

«Норка годится разве что для игры в футбол, — сказала она одной из своих клиенток, которая купила у нее соболиную шубу. И потом добавила: — Горностай — для банного халата, — и, довольная своими остротами, продолжила: — а дети — для пригородов».

Для вечерних платьев она предпочитала изысканную строгость. Она критиковала женщин за то, что многие из них любили цеплять на себя украшения, как на рождественскую елку. Многие ее платья плотно прилегают к телу, а излюбленные ее цвета — «земляные» оттенки белого, желтые (от шартреза до охры), оливково-коричневые и зеленые и, конечно же, черный. Она создавала черные платья из крепа, шифона, муслина. А еще она обожала стилизацию под «пейзанку» и по контрасту — халат мандарина. Когда в тридцатые годы Сесиль пожелал сделать ее портрет, Валентина не проявила особого энтузиазма. Однако Великая княгиня Мария, в то время зарабатывавшая себе на жизнь журналистикой, сказала ей:

«Как Великая княгиня твоей страны, я приказываю тебе позировать перед Сесилем».

К сороковым годам чета Шлее достигла в нью-йоркском обществе известного веса — они были богаты и пользовались успехом. Жили они в просторной квартире на четырнадцатом этаже дома № 450 по Пятьдесят Второй Восточной улице. Дороти Паркер в шутку назвала этот дом «Свихнуться Можно», потому

что в нем жил также Александр Вулкотт. В целом это было довольно известное здание, расположенное напротив «Речного Клуба», выходящее окнами на Ист-Ривер и лежащий на другом берегу Квинс.

Поначалу Гарбо остановилась в Нью-Йорке в отеле «Ритц» на Парк-авеню, в двухкомнатном номере, в котором ставни практически никогда не открывались. Затем она переселилась в четырехкомнатную меблированную квартиру в доме «Гемпшир-Хаус», на южной стороне Центрального Парка. В 1953 году она переехала в свою последнюю квартиру, в дом № 450 по 52-й Восточной улице, несколькими этажами ниже супругов Шлее. Ее жизнь была наполнена нескончаемыми путешествиями, встречами, спортивными упражнениями, метаниями от одного «таинственного рандеву» к другому.

Как заметил кто-то из ее друзей: «Грета делает секрет даже из того, что она ела на завтрак».

На распродаже личных вещей Гарбо после ее смерти (на аукционе Сотбис в Нью-Йорке в 1990 году) многие сделали для себя вывод, будто она была подлинной ценительницей искусства. В действительности же ближе всего к истине оказался Сесиль Битон, когда писал о «вкусах Шлее»:

«Многие из приобретений Гарбо появились благодаря совету Джорджа Шлее, а впоследствии еще одного друга — «барона» Эрика Гольдшмидта (Ротшильда). Кроме того, большая часть произведений искусства приобреталась просто ради вложения денег. Например, в 1942 году Гарбо купила в трех разных нью-йоркских галереях три картины. Ренуара и тогда же, в четвертой, — картины Боннара.

Квартира Шлее и квартира Гарбо поражали удивительным сходством — та же обшивка стен, та же мебель в стиле Людовиков XIV и XV, одинаковые люстры и канделябры. В каждой коллекции были представлены одни и те же художники. У Гарбо было несколько гуашей работы Дмитрия Бушена, русского театрального художника, жившего в Париже. То был последний представитель знаменитого кружка мирискусников. У Валентины же было более тридцати его работ маслом, пастелью и гуашью. В коллекциях обеих дам были картины Сергея Судейкина, Эдварда Молине, Адольфе Монтичелли (вернее, у Гарбо имелась работа в его стиле).

Их библиотеки, состоявшие главным образом из книг в кожаных переплетах, расставленных по эскизам дизайнеров без всякой надежды на то, что они когда-либо будут прочитаны, содержали одно и то же собрание произведений Герберта Уэллса,

выпущенное в Нью-Йорке издательством Атлантики в 1924–27 годах. Джордж Шлее наверняка чувствовал себя как дома в обеих квартирах. Впрочем, на сей счет не может быть никаких сомнений».

Глава 5
Сесиль и Гарбо: «Моя постель слишком мала и целомудренна»

В великосветские круги по обе стороны Атлантики, где Грета Гарбо и Сесиль Битон прочно обосновались к концу сороковых годов, были значительно уже и неприступнее, чем в наши дни. Вот почему весной 1946 года Сесиль встретил Гарбо в Нью-Йорке на небольшой вечеринке, которую давала его приятельница Маргарет Кейс, редактор журнала «Вог».

Гарбо появилась там в обществе Джорджа Шлее. Гвоздем вечера была дегустация икры, доставленной прямехонько из России по заказу одного из магазинов деликатесов, неизвестно где откопанного Шлее. Водка лилась рекой. Сесиль, который не видел Гарбо с 1932 года, был поражен тем, как ей удалось сохранить свою красоту.

Гарбо протянула ему печенье, сказав при этом: «Когда вы видели меня раньше, я еще не красила губы».

Успокоенный тем, что Гарбо помнит его, Сесиль взглянул на нее более внимательно. Она заметно похудела, нос слегка заострился, а когда она улыбалась, то на лице ее появлялись морщинки.

«Все та же красота пепельных «мышастой масти» волос никуда не исчезла, но вот худые руки слегка увяли, щиколотки и ступни стали какие-то шишковатые. И никакого шика. Шляпа, как у кукольного Пьеро, рубашка, как у разбойника с большой дороги. Потрясающие голубые глаза и веки; чистая радужная оболочка глаз. Былая красота».

Поняв, что Гарбо собралась уходить, Сесиль отвел ее на крышу террасы, и они остались там, увлеченные беседой, не обращая внимания на ночную прохладу, а внизу под ними мерцали огни Парк-авеню. И в этой довольно-таки романтической обстановке Сесиль решил во что бы то ни стало «затронуть интимные струны», как он сам выразился позднее.

«Она все говорила и говорила, тараторила без умолку, как расшалившееся болтливое дитя, — словно пытаясь тем самым защитить себя от той неловкости, которую наверняка испытывала, слушая те глупости, которые я бормотал, одновременно нащупывая бугорки ее позвоночника, вдыхая свежий аромат ее щек, мочек ушей и волос».

В своем дневнике Сесиль вспоминает, что в перерывах между

поцелуями он болтал без умолку, словно ребенок. Перед тем как вернуться к остальным, Гарбо пообещала позвонить ему.

Несколько скоропалительно Сесиль предложил Гарбо руку и сердце. В ответ та заявила:

«Моя постель слишком мала и целомудренна. Я ее ненавижу. Я ни разу не думала о ком бы то ни было как о возможном супруге, но в последнее время я частенько задумывалась о том, что годы идут и все мы становимся все более одиноки, и что я, возможно, совершила ошибку — пошла не по тому пути».

Сесиль тотчас же уцепился за эту мысль:

— Да, но почему бы тебе не выйти замуж за меня?

Гарбо, что, впрочем, и неудивительно, не ожидала такого напора.

— Господи, — сказала она. — По-моему, тебе не стоит столь легкомысленно бросаться словами.

Какое-то время спустя после встречи в доме Маргарет Кейс Гарбо с Сесилем вместе отправились на вечеринку, которую устраивала Мона Харрисон Уильямс, чья бурная жизнь будет описана в шестой главе. Они танцевали в темной комнате с зачехленной мебелью, и единственный свет, который пробивался туда, был лучом уличного фонаря. Позднее Сесиль помахал на прощанье Гарбо, когда та зашагала по тротуару, направляясь к себе в «Ритц».

Парочка обменивалась дружескими шутками и совершала прогулки по Центральному Парку. Правда, эти вылазки трудно отнести к разряду неторопливых променадов. Гарбо с Сесилем быстрым шагом огибали пруд, а затем направлялись от Девяносто Шестой улицы к Пятьдесят Девятой и дальше к отелю «Плаза». Сесиль чувствовал себя счастливейшим человеком. Во время одной из таких прогулок Гарбо неожиданно произнесла:

«Интересно… Не будь ты таким знаменитым и элегантным фотографом…»

На что Битон ответил:

«Тогда бы ты попросила меня сделать тебе фото на паспорт?»

Вслед за этим разговором последовал ряд сеансов позирования, в результате которых появились портреты Гарбо, полные азарта и настроения.

«Бесценнейшая коллекция, — как называл их сам Сесиль и добавлял при этом; — Правда, не все из них годятся на паспорт».

Сесиль описывает эти фотосъемки в дошедших до нас заметках:

«Она неподвижно застыла у стены. Затем я начал давать команды: «Будь добра, поверни голову в эту сторону, теперь в ту, а теперь — в профиль». Гарбо, по натуре великая притворщица,

постепенно прониклась духом этого представления. Она устроила прекраснейший немой спектакль. Выражение ее лица полно жизни и на каждом снимке неповторимо. Гарбо — замечательная актриса. Это воистину ее стихия, она просто не мыслит себя без игры. Это было небольшое импровизированное представление. Фотографии получились просто чудо. Это прекрасная иллюстрация тому, что она мастерица на спонтанное перевоплощение в своих пластичных позах, жестах и настроении».

Сесиль неизменно утверждал, что Гарбо собственноручно поставила карандашом крестики на тех фотографиях, которые он мог поместить в журнале «Вог». Сесиль отнес эти фото художественному редактору Александру Либерману, которого они привели в восторг, и он даже назвал их «бесценным урожаем».

Гарбо уехала в Калифорнию 21 мая, оставив Сесиля в одиночестве обливаться слезами. Спустя несколько дней он отплыл в Британию и по прибытии немедленно написал Гарбо, приглашая ее остановиться у него в Лондоне по пути в Швецию: это было ее первое послевоенное путешествие. Гарбо ответила ему в дружеском духе, поясняя, что будет путешествовать не одна (это было ее первым крупным путешествием в сопровождении Шлее, хотя пресса еще не успела его хорошенько разглядеть). Самое большее, на что можно рассчитывать, — что она заглянет к нему, будучи в Лондоне. Последнее время она чувствовала себя неважно и не горела особым желанием пускаться в путешествия. Гостиницы в Швеции — это извечная головная боль, однако Гарбо тем не менее посоветовала писать ей в Стокгольм на адрес Макса Гумпеля (шведского магната, обожавшего кинозвезд), адресуя при этом конверт некой «Браун». Гарбо выражала надежду снова увидеться с Сесилем в сентябре. Под письмом стояла подпись «Гарри», то есть уменьшительная форма от Гарриет, причем вверх ногами.

Следующее письмо, полученное Сесилем от Гарбо, было подобно грому среди ясного неба. У Сесиля снова возникли неприятности с журналом «Вог», на этот раз в связи с публикацией фотографий Гарбо. Сначала ему принесли зловещую каблограмму от Гарбо из Калифорнии, из которой следовало, что, если Сесиль опубликует более одной фотографии, она ни за что не простит ему этого. Вскоре после этого пришло письмо, написанное днем раньше. Гарбо утверждала, что дала разрешение на публикацию только одной фотографии. И якобы первый раз слышит, что этих фото будет несколько, и ужасно расстроилась по этому поводу. Она всегда была против того, чтобы кто-либо увидел другие ее фотографии, которые, по ее мнению,

получились довольно неудачными, и поэтому приказала Сесилю, чтобы он их уничтожил. По мнению Греты, эти фотографии выставляли ее в довольно фривольном свете. Гарбо призвала Сесиля не допустить их публикации или, по крайней мере, постараться ей воспрепятствовать.

Сесиль запаниковал, но процесс публикации зашел слишком далеко, и Сесиль был бессилен что-либо сделать. Журнал уже появился в киосках. Впоследствии Сесиль утверждал в своих дневниках, что в отчаянии слал одну каблограмму за другой, пытаясь предотвратить публикацию, хотя одновременно лелеял в душе совершенно противоположную надежду — увидеть злополучные фото на страницах журнала. В результате опозоренный Сесиль снова на несколько месяцев угодил в опалу, предаваясь самобичеванию, на какое только он был способен:

«У меня было такое чувство, будто я запятнал себя убийством».

Гарбо отплыла в Швецию 6 июля. По грузовому трапу она поднялась на борт шведского судна «Грипсхольм» в 9.15 утра, за три часа до отплытия. Оказалось, что непреклонные инспектора иммиграционной службы были настроены весьма решительно — они требовали, чтобы Гарбо прошла паспортный контроль подобно прочим пассажирам, но в конечном итоге согласились выполнить формальности прямо у нее в каюте. Гарбо, одетая в бежевого цвета костюм и шляпку, немного попозировала перед фотокамерами и сказала лишь следующее:

«Я ужасно устала. Сегодня утром мне пришлось встать слишком рано».

Спустя одиннадцать дней Гарбо приплыла в Гетеборг, где ее уже поджидала многотысячная толпа поклонников, сгоравших от желания поскорее увидеть, как она спустится вниз по трапу.

Друзья тайком помогли Грете спуститься на берег и проводили до стокгольмского экспресса, где Гарбо занимала отдельный вагон. Швеция была наводнена слухами, будто Гарбо снимется в кино у себя на родине, останется здесь до конца своих дней или даже начнет выпускать картины на религиозные темы. Однако от самой Гарбо с трудом удалось добиться лишь одного признания:

«Я валилась с ног от усталости, когда уезжала из Нью-Йорка, а после всех этих празднеств на борту корабля я чувствую себя совершенно разбитой!!»

Во время ее пребывания в Швеции поговаривали, будто Гарбо подписала контракт сыграть девушку-иммигрантку из Новой Швеции, шведской колонии на берегах реки Делавэр в семнадцатом веке. Однако дальше разговоров дело не пошло.

Гарбо покинула Швецию 24 августа. На крышах и окнах домов собралось столь много зевак, что Гарбо для того, чтобы подняться на борт «Грипсхольма», уже понадобился целый полицейский эскорт. Этим же рейсом плыли Лилиан Гиш и ее сестра Дороти. Преодолев Атлантику, в 9 часов утра 3 сентября лайнер пришвартовался у 97-го пирса. Спустя час Гарбо проводили на палубу, где ее тотчас окружил рой репортеров. Защелкали затворы фотоаппаратов, замигали блицы вспышек, и настроение кинозвезды, ее терпимость и благосклонность постепенно уступили место раздражительности. Интервью с Гарбо вообще были неслыханным делом, и знаменитость держалась с репортерами, словно те были ее мучителями и палачами.

«Я вовсе не увиливала от ответов, — пояснила Гарбо. — Но, по-моему, ужасно глупо то и дело попадать в газеты. Любой, кто хорошо делает свое дело, имеет право на частную жизнь. Будь вы на моем месте, вы бы думали точно так же».

Далее Гарбо сказала, что у нее больше нет ни малейших намерений сниматься в кино, но она еще не решила для себя, когда именно оставит съемочные площадки навсегда.

В конце концов терпение ее иссякло.

«А теперь забирайте с собой всю вашу компанию и отправляйтесь по домам. Выпейте кофе. Прошу вас».

И пока допрос продолжался, Джордж Шлее держался в тени, однако ему все-таки не удалось остаться совершенно незамеченным.

В сентябре 1946 года Сесиль тоже оказался в Нью-Йорке, прибыв туда из Калифорнии. Будучи в Голливуде, он не только работал над созданием фильма, но и даже сам сыграл небольшую роль Сесиля Грэма в экранизации уальдовской пьесы «Веер леди Уиндермир».

Все это время Гарбо не выходила у него из головы. В Калифорнии Битон даже позволял себе некоторые странности. Он, например, набирал номер ее телефона и получал сомнительное удовольствие, слушая гудки и представляя себе, как звонит телефон в ее пустых комнатах. Он даже додумался до того, что зашел к ней домой и попросил у горничной разрешения посадить в саду несколько луковиц лилий. Правда, ему так и не удалось раздобыть эти злополучные луковицы.

В конце концов одним романтичным летним вечером он отправился на поиски ее дома. Гарбо в свое время дала ему адрес — дом № 622 по Бедфорд-драйв. Сесиль отыскал дом и тотчас пришел в ужас от его легкомысленности, какого-то игрушечного вида:

«Я с замиранием сердца прошелся на цыпочках по зеленому

бархату газона, ожидая увидеть дом, где живет моя возлюбленная. Вместо этого я ужаснулся. Ведь не мог же я так жестоко ошибиться. Человек с ее вкусом просто не мог жить *а* окружении таких вещей. Здесь явно произошла какая-то ошибка. На стенах висело несколько отвратительных современных картин, а на каминной полке — пара уродливых миниатюр в рамках. Здесь было множество крупных фотографий всякого рода знаменитостей — Элси Мендль, Грир Гарсон и еще какая-то блондинка. Я ушел с чувством полного отвращения. Я не мог так жестоко ошибиться».

Впоследствии, к величайшему своему облегчению, Сесиль обнаружил, что в действительности Гарбо жила в доме № 904. Дом № 622 принадлежал Гарри Крокеру, и Гарбо пользовалась его адресом исключительно в целях конспирации. Когда Сесиль отыскал настоящий дом Гарбо, тот оказался, как он и предполагал, по-спартански строгим и зашторенным. От посторонних взглядов его защищала высокая стена, а на лужайке росли магнолии, аромат которых наполнял собою воздух.

«Я представил себе мою подругу — отгородившись от мира высокой стеной, она проводит день за днем в уединении, избегая даже собственную горничную. Я вернулся домой, испытав явное облегчение — этот дом как нельзя лучше подходил для столь утонченной и независимой натуры. И чем ближе я знакомлюсь с колонией и ее обитателями, тем более поражаюсь, что существует на свете душа, сумевшая сохранить себя чистой и незапятнанной на протяжении целых пятнадцати лет».

Сесилю не давала покоя одна мысль — еще с того времени, как он ненадолго возвратился в Лондон. Так или иначе, но он не сумел удержать в секрете вспыхнувшее в его сердце чувство к Гарбо. Эта новость уже просочилась в голливудские круги, и близкие друзья Сесиля, искусствовед Джеймс Поуп-Хеннеси и Кларисса Черчилль, не на шутку встревожились, опасаясь, что Сесиль не сумеет проявить желательной в таких ситуациях осмотрительности. Поуп-Хеннеси также считал, что даже присутствие секретарши Мод Нельсон таит в себе опасность, поскольку последняя была возлюбленной Огги Линна, популярного певца и преподавателя пения, этакого колобка-коротышки, который только тем и был занят, что собирал по всему Лондону великосветские сплетни. А так как Гарбо должна была вернуться в Штаты со дня на день, Сесиль, можно сказать, пребывал в состоянии паники, не зная, как дальше будут развиваться их отношения. Как Сесиль признался Клариссе Черчилль, он чувствовал себя совершенно подавленным.

«Как мне кажется, я испортил всю прелесть наших

отношений: ведь только если отношения по-настоящему искренни и чистосердечны с обеих сторон — только тогда они могут противостоять всем интригам, которые постоянно плетутся вокруг них. Возможно, будет даже полезно подвергнуть их такому испытанию. Грета возвращается в Нью-Йорк на этой неделе — будет также интересно узнать, как она отнесется ко мне, если она вообще меня заметит. Она из тех, кто легко обижается и теряется от неожиданности, а репортеры лорда Кемсли (бульварная пресса) вели себя по отношению к ней просто по-свински».

Кларисса Черчилль посоветовала ему всячески отнекиваться, — говоря, что будет лучше, если Сесиль поклянется, что никому ничего не говорил, — что, мол, ему, как и Гарбо, уже тошно от всех этих слухов и домыслов.

Когда Сесиль узнал из газет о возвращении Гарбо, он тотчас позвонил ей в «Ритц». Сесиль назвал себя телефонистке, а после небольшой паузы та заявила:

«Абонент не отвечает».

Значит, Гарбо все еще сердится на него. Таким образом, Сесиль остался наедине с собственными проблемами. Где бы Битон ни появлялся, ему всегда казалось, что он обязательно встретит ее; он постоянно терзал себя воспоминаниями, навещая места их встреч предыдущей зимой. В некотором роде жизнь Сесиля превратилась в сплошной кошмар нескончаемых душевных мук. Наконец, вспомнив жестокие слова, брошенные когда-то ему в лицо его бывшим возлюбленным Питером Уотсоном, Сесиль отправил Гарбо записку:

«Ты не можешь прогнать меня, как провинившуюся горничную».

Своему дневнику Битон поведал следующее: «Даже если Грета и не простит меня, она наверняка запомнит слова предостережения, которые я в свое время узнал от такой выдающейся личности, как Питер».

Чуть позже Сесиль доложил Клариссе о том, как развивались дальнейшие события.

«Пресса подняла вокруг Греты ужасную шумиху. Когда она вернулась из Швеции, ей даже задали вопрос, не собирается ли она замуж. «Ну, ну», — сказала она репортерам, но что касается меня, то я не удостоился ни единого слова. Она упорно не отвечает на мои телефонные звонки, письма и телеграммы — настолько она напугана, или же ей кажется, что и я ее предал. Мне остается только уповать на то, что это гнетущее молчание не продлится слишком долго. К счастью, я настолько занят, что у меня не остается времени на печальные размышления. Вполне возможно, что я ее вообще больше никогда не увижу — или же

нам придется начинать все сначала, вернувшись на три месяца назад».

А пока Сесиль с облегчением узнал, что Гарбо возвратилась к себе в Голливуд. Он ждал полтора месяца, а затем позвонил снова. 7 октября, в день, который считал для себя счастливым, Сесиль рискнул. Обманутая тем, что ей сказали, будто на линии Нью-Йорк, Гарбо ответила на звонок, вслед за чем последовал бессвязный разговор:

«Ах, это вы, мистер Битон. Кто бы мог подумать…»

Постепенно Сесиль проникся надеждой, что возникшая между ними брешь может затянуться, однако Грета довольно жестоким издевательским тоном, вполне в духе Стивена Теннанта, сказала, прекрасно зная, что их разделяют две тысячи миль:

«— Давай, приходи.

— Может, прийти чуть позже?

— Нет, только сейчас».

Благодаря редкостному упорству, Сесилю удалось установить между собой и Гарбо некое подобие взаимопонимания. Такое хрупкое и ненадежное, и тем не менее, взаимопонимание.

Он объяснил свою ситуацию Клариссе:

«Грета в Калифорнии, и время от времени я провожу с ней по телефону весьма неутешительные беседы, а большей частью ее вообще не бывает дома. Ее настроение отличается ужасным непостоянством. И вообще меня бесит, что я не там, а она не здесь».

После месячного воздержания от разговоров с ней Сесиль позвонил после Рождества. Гарбо заявила, что крайне удивлена, что Битон еще не вернулся к себе в Англию. Иногда она не то в шутку, не то всерьез приглашала его к себе в гости, иногда говорила, что рада его звонку, а иногда приказывала не докучать ей. Разговоры, как правило, мало что значили.

Сесиль:

— Как ты спишь?

Гарбо:

— Хорошо, но только если ложусь рано. Ах, нам всем никуда не уйти от исполнения долга… Мы солдаты, сражающиеся во имя les beaux arts.

Мало уверенный в том, что проблема решится сама собой, 1 января 1947 года Сесиль отбыл в Англию.

Дела не отпускали его назад до самого октября: Битон работал над двумя картинами для Александра Корды — «Идеальный муж» (в главной роли Полетт Годар) и «Анна Каренина» (с Вивьен Ли и Ральфом Ричардсоном). Для него это был престижный заказ, гарантировавший ему солидное

вознаграждение, что было весьма кстати при его постоянном безденежье. В течение последующих месяцев Сесиль поддерживал переписку с Гарбо. Оригиналов этих писем, скорее всего, более не существует, но Битон писал их под копирку и копии никому не показывал. После его смерти их обнаружили у него под кроватью в жестяном сундучке, в его доме в Бродчолке.

На протяжении всего 1947 года Сесиль то и дело сталкивался с проблемами, типичными для отвергнутых, или, наоборот, потенциальных, возлюбленных. В своих письмах он неустанно подчеркивает свои достоинства и верность, пишет о том, чем занят, пытается заинтересовать — он словно кидает Гарбо приманку, пытается очаровать ее новой жизнью в другой стране. Однако он не имел ни малейшего представления о том, как воспринимаются все эти его послания, и даже берясь за перо. Битон понимал, что вряд ли получит ответ.

Иногда он пробовал звонить, однако в те послевоенные годы позвонить за океан не означало просто поднять трубку и набрать номер. Переговоры необходимо было заказать заранее через телефонистку, а потом терпеливо ждать, сумеет ли та пробиться на нужную линию. Чаще всего Сесиль слышал: «Абонент не отвечает», что повергало его в полнейшее отчаяние, поскольку «абонент» — а Сесиль в этом почти не сомневался — наверняка была дома, однако не утруждала себя поднять телефонную трубку.

В этот период своей жизни Сесиль сделал одно существенное приобретение — купил и отреставрировал «Реддиш-Хаус» в Бродчолке; это был его второй дом в Уилтшире. Сесиль был вынужден покинуть милый сердцу Эшком после пятнадцати лет, проведенных им в этом небольшом приземистом строении, затерянном среди холмов Уилтшира. Битон неплохо изучил Гарбо и поэтому был уверен, что ей наверняка придется по сердцу особняк в стиле королевы Анны в тихой и сонной английской деревушке. Гарбо по своей натуре была одиночкой. Сесиль надеялся, что она изберет этот дом в качестве своего прибежища.

Ближе к концу января в Англии установилась на редкость холодная погода, которая продержалась до 10 марта. Земля промерзла, с востока дул резкий, пронизывающий ветер, долгов время держались морозы, случались даже метели. В самый разгар этого уныния Сесиль начал ухаживать за Гарбо со всей серьезностью, на которую только был способен, и с марта по октябрь 1947 года написал ей двадцать три письма, в то время как она хранила полное молчание. Сесиль отправил ей практически все эти письма, оставив себе одно или два, которые доставил ей прямо в отель во время своего следующего визита в

Нью-Йорк зимой 1947 года.

«Воскресенье, 9 марта

(1947 г.)

Моя лапочка!

Наконец мы дождались оттепели! Светит солнце, снег и лед постепенно тают, и улицы стали непролазными из-за грязи. Но зато какое облегчение! Мы промучились целых шесть недель, и каждый день проходил в борьбе с холодом. Приходилось буквально сжиматься в комок, чтобы сохранить крохи тепла, и все это ужасно надоедало. Нескончаемая тревога. Я был на пределе моих сил. Большинство людей тоже. Эта зима была феноменально холодной, птицы замерзали прямо на деревьях, покрываясь коркой льда — и напоминали куропаток в желе. Ветви деревьев покрыты льдом и ломаются с оглушительным треском. Прогулка по лесу превращается в настоящий артобстрел из засады. На севере Англии целые деревни и города оказались отрезанными от внешнего мира, и миллионы овец были буквально похоронены под снегом. А так как в это время года большинство из них котные, то это не просто печальная ситуация, но и весьма серьезная, так как в результате этого на следующий год мы испытаем недостаток баранины.

Правда, наконец-то стало гораздо теплее, и вскоре к нам придет настоящая весна. Когда я пишу это письмо (прямо в постели воскресным утром), куры в соседнем саду радостно празднуют солнечный день, кудахтая на все лады. Я опять простудился. Если не ошибаюсь, подхватил простуду в Париже. Я провел там неделю — к своему великому удовольствию, — где посетил множество замечательных выставок, и когда вернулся домой, то был полон новых идей и задумок. Мне представляется весьма полезным время от времени резко менять обстановку, — поездка в Париж подействовала на меня благотворно. И хотя сельская местность там все еще пребывает в нищете и нужде и многим людям еще не по карману товары черного рынка, тем не менее нельзя не заметить присутствия некой веселости, и даже бесшабашности, которая скрашивает эту удручающую убогость.

Что ни говори, приятно оказаться среди людей, которым присущ столь изысканный вкус. Я отправился в магазин готового платья и был буквально поражен. В Нью-Йорке днем с огнем не сыщешь ничего подобного, я уже не говорю о старом бедном Лондоне — он просто жалок.

День, проведенный в лесах Шантильи, просто незабываем! Диана приготовила омлет с трюфелями. Мы ели икру, холодную ветчину и мандарины (которые я привез из Англии в сетке), а затем бродили по снегу. Кстати, о той отвратительной

физиономии, которую я включил в свое последнее письмо (оно сохранилось), — Диана недавно удостоилась щедрых даров со стороны неизвестного поклонника. На протяжении двадцати лет она получала страстные послания от некоего испанского маркиза по имени Эммануэль. Однажды, когда она отправилась за покупками, ей отвесил низкий поклон небольшого роста пожилой мужчина. Сняв шляпу, он представился:

«Я Эммануэль».

Диана решила, что это самый подходящий момент прояснить ситуацию и поэтому сказала:

«Нет, это чушь какая-то, вы и ваши письма. Я вас до этого ни разу не видела и считаю, что настала пора положить всему конец».

Испанский маркиз печально погладил свою козлиную бородку и с печальным вздохом произнес:

«Прошу прощения, если я проявил самонадеянность. Обещаю, что не буду больше беспокоить вас письмами».

Разумеется, письма не прекратились и продолжали поступать до… до этой самой последней войны. Неожиданно адвокаты Эммануэля уведомили Диану, что ее коротышка-поклонник отошел в мир иной и завещал ей солидную сумму. Та даже не стала скрывать своей радости. К сожалению, я весьма сомневаюсь, что она сумеет получить из этой суммы хотя бы пенс, поскольку от нее требуют уплатить налог с наследства в Швейцарии, Англии и Испании, — а все, что после этого останется, приберет к рукам семья покойного. Как все это, однако, странно!

В Париже меня как-то раз пригласили на обед, и я оказался рядом со вдовой Ростана. Трудно даже представить себе, сколько ей на самом деле лет, вообще вид у нее такой, словно она явилась откуда-то из прошлого. Ее светлые локоны (в сущности, не такая она уж и блондинка) ниспадают ей на щеки, чтобы скрыть шрамы от многочисленных подтяжек кожи. Накрашена она, как какой-нибудь клоун, и весьма изысканно обряжена в черное, причем во все виды материй сразу — атлас, бархат, шифон, тюль и леопардовую шкуру. Потрясающая карикатура на самое себя, она только и знает, что предается воспоминаниям о былом великолепии. Как де неожиданно свалилась слава на ее супруга — буквально на следующий день после премьеры «Сирано» — и еще масса подробностей о несравненной Саре.

Она из кожи вон лезла, желая показать мне, как хорошо владеет английским, и вообще, мол, до шести лет говорила только по-английски, но затем ее отправили в монастырь, и с тех пор она не произнесла по-английски ни слова.

«Но, — заявила она, — я до сих пор его отлично помню», — и

принялась читать мне «Десять негритят» от начала до конца.

Девять негритят… восемь негритят и т. д. и т. п.

Еще как-то раз за ленчем одна из женщин, которая всегда вместо имени подписывается четырехлистным клевером, написала записку на обратной стороне меню и прислала ее мне: «Дорогой Сесиль, у меня grande nouvelle[4] и к тому же интересная: до меня только что дошло, как мы с тобой похожи. Ты единственный из тех, кого я знаю и кто напоминает мне себя».

Я был ужасно польщен ее словами и горд.

Вот и все, что касается моей поездки в Париж, я снова собираюсь туда в следующую пятницу буквально на пару дней. Возможно, я напишу тебе оттуда еще.

А между тем у нас здесь тоже есть кое-какие новости. Однажды ко мне в гости приехал один приятель.

— Там внизу для тебя есть одна вещь, которую ты наверняка захочешь купить, — сказал он.

Я буквально выскочил из постели. Ко мне наверх принесли мраморный женский бюст восемнадцатого века (из франции). При виде такой красоты у меня замерло сердце. Изумительное произведение искусства. Я был вне себя от счастья. Боже, что за удача! Это было подобно тому, как если бы я влюбился, как если бы у меня в доме появилась возлюбленная. И хотя не могу позволить себе подобную роскошь ввиду более насущных потребностей (об этом читай дальше), я все-таки приобрел ее. Таким образом я стал (за триста фунтов) обладателем подлинного сокровища. И если случится так, что в один прекрасный день мое сердце охладеет к ней, став таким же холодным, как и мрамор, из которого она сделана, я все равно смогу продать ее в десять раз дороже, чем когда-то заплатил за нее.

Еще новости: в моем последнем письме я сообщал о поездке в сельскую местность в поисках домов. Мне кажется, я сумел удержать в секрете информацию об этой вылазке, поскольку по опыту знаю, что не стоит преждевременно распространяться о тех вещах, что еще не подписаны и не скреплены гербовой печатью. В общем, мы присмотрели два дома.

Один («Хэтч-Хаус», близ Донхеда) предположительно построен самим сэром Кристофером Реном (тебе он известен как создатель собора Св. Павла). У него приятный фасад из светло-желтого и серого камня, по обеим сторонам от главного окна выстроились колонны, а перед окном магнолия и потрясающий вид на полную задумчивости долину. Но внутри дом оказался лишен какого-либо очарования. Но потом мы обнаружили еще один дом, «Реддиш-Хаус», в Бродчолке, в Уилтшире. Это и есть

тот самый адрес. Мне как-то раз уже приходилось мельком его видеть, и помнится, я был поражен его красотой. Неожиданно один из моих друзей (Дэвид Герберт), который живет там по соседству, позвонил, чтобы сообщить мне, что женщина, которой принадлежал этот дом (Клара Вуд, мать художника Кристофора Вуда), на днях скончалась и дом выставлен на торги. Сейчас в Англии такая жуткая дороговизна, а этот дом достаточно мал и не потребует больших расходов, и поэтому нашлось бы немало желающих приобрести его. Вот почему я не мог позволить себе ни секунды на раздумье и безотлагательно принялся за дела, страшно опасаясь, чтобы никто другой не увел его у меня из-под носа — ведь это же сущая находка. Я отправился туда вместе с матерью и моей секретаршей (Мод Нельсон), и мы втроем пришли в восторг, увидев его, — не дом, а игрушка. Он построен из бордового кирпича, в 1660 году. Над парадной дверью можно видеть бюст, деревенская улица отгорожена низкой кирпичной стеной, вдоль которой выстроились тисы, подстриженные в форме пуделиных хвостов и помпонов. Внутри дом спланирован несколько хаотично, однако комнаты хороши, а окна и двери отличаются элегантностью. Комнат здесь хватит на всех, а сад и поросшие травою склоны, протянувшиеся вдаль прямо от дома, создают дивную романтическую атмосферу. Я в восторге. И почти не сомневаюсь, что сумею приобрести дом за ту цену, которую предложил (10 тыс. фунтов), поскольку она принята. Адвокаты появятся здесь уже в следующую пятницу, и если не случится какой-нибудь неожиданной трагедии, я переселюсь сюда уже в июле. И с этого момента стану сельским сквайром. Хотя бы временно. Я стану владельцем сельского дома. Я превращусь в собственника. Могла ли ты представить себе, что с твоим другом произойдут такие метаморфозы?

Как мне кажется, ты согласишься, что место просто очаровательное. Это обстоятельство служит мне утешением, поскольку я лишаюсь другого своего дома, к которому также привязан всей душой. Этот же имеет то преимущество, что чрезвычайно удобен. Тот, другой, был гораздо хуже. И еще мне ужасно жаль, что наш чудесный садовник Дав не дожил до появления этого нового сада. Он залит солнцем, а обнесенный стеной огород просто чудо. Там еще есть два летних домика, несколько падубов, лес на вершине холма, выгон и розарий. Я стану владельцем небольших апартаментов — просторной спальни с георгианским камином, небольшой гостиной или же туалетной комнаты плюс гостиной — или же туалетной комнаты (куда я поставлю еще одну кровать) и ванной. Это не считая всех остальных спален. Все совершенно уединенно и обособленно. Из

каждого окна открывается великолепный вид. И если ты согласишься выйти за меня замуж, ты, наверно, разрешишь мне спать в гостиной или туалетной комнате.

Там еще есть два сельских домика под соломенной крышей, которые являются частью поместья; вид у них такой, будто они явились сюда из сказки Ганса Христиана Андерсена.

У меня скопилось огромное количество мебели, но я больше не хочу кое-чем из нее пользоваться, поскольку она недостаточно хороша, и поэтому мне понадобится много чего еще — в эти комнаты потребуется больше мебели, чем здесь у нас в Эшкоме. Вот почему мне придется приобрести множество нужных вещей. Теперь тебе понятно приобретение того бюста — этакая экстравагантность, — но я просто не мог его не купить.

Новая тема; профессиональная жизнь. По пути в киностудию я проехал на машине по отвратительным лондонским пригородам, по льду и грязному снегу, я хотел посмотреть, как там движется дело с декорациями (для «Идеального мужа»). Несмотря на военное время, там сумели неплохо воссоздать несколько великолепных викторианских домов и даже выстроили гипсовый парламент. Корда, который запуган так, что волосы у него становятся дыбом, — он никак не может взять в толк, откуда здесь столько народу, — но несмотря на все его вспышки гнева, я не перестану питать к нему самые теплые чувства. Он так мил и полон понимания и сочувствия. И еще у него такое чувство юмора. Съемки начинаются через десять дней. Еще я для него делаю костюмы к «Анне Карениной».

Он решил снять фильм с Вивьен Ли, которая исполнит твою роль. Жаль. К чему все эти попытки переделать то, что и без того было, — и хотя мои воспоминания уже довольно туманны, я тем не менее помню, что отдельные сцены были просто восхитительны… Я уже, можно сказать, окунулся в русскую атмосферу.

Другие новости из профессиональной жизни…

Планы — ничего определенного. Личные проблемы. Простудился. Еще не могу до конца распрямить спину. Лечу зубы. Сердечные дела…

С любовью к тебе, С.».

За письмом следует не менее пространный постскриптум, в котором Сесиль перечисляет все, что с ним произошло, и время от времени задает вопрос:

«Ты помнишь, как я в третий раз во время нашей встречи сказал тебе, что хотел бы на тебе жениться, и ты сказала, что это весьма легкомысленное заявление с моей стороны — но это не так, всегда было не так. Неужели тебе непонятно, что мы созданы

друг для друга. Я знаю, что не буду счастлив до тех пор, пока ты не сделаешь из меня честного человека. Ты не забыла об этом?

Ты помнишь, как сама сказала мне, что хочешь поведать один секрет, и я почувствовал себя таким маленьким и неопытным, и стыдился самого себя из-за этого секрета».

На протяжении последующих недель Сесиль подробно останавливался на разнообразных темах. Он сообщает Гарбо, что не носит нижнего белья, что ему хотелось бы, чтобы она была сантиметров на десять ниже ростом, с горечью сообщает о своих неудачных попытках связаться с нею по телефону. Начал работать над фильмом «Как важно быть серьезным» режиссера Александра Корды. Его деятельность включала в себя также посещение вместе с Лоуренсом Оливье аббатства Нотли, поездку с Вивьен Ли в Париж на примерку костюмов для «Анны Карениной», нелады с постановкой пьесы и злость на Гарбо, за ее упорное молчание. Однако Сесиль с завидным упорством забрасывал неразговорчивую звезду письмами, спрашивая ее, не наведывалась ли она к доктору Ласло и скучает ли она по своей «башне из слоновой кости» в отеле «Ритц». Сесиль частенько обращался к событиям предыдущего года: «я, конечно же, буду помнить, как в прошлом году на Пасху посетили дом Пейли и как у меня ужасно разболелась голова. Помнишь, ты мне еще советовала принять разные лекарства, и была только одна причина, почему я потом пошел на эту абсолютно кошмарную пасхальную вечеринку. О господи!».

В апреле Сесиль подписал купчую на «Реддиш-Хаус». Наконец-то до него дошли кое-какие известия о Гарбо; он получил письмо из Нью-Йорка от Маргарет Кейс, в котором описывалась очередная пасхальная вечеринка у Шлее, во время которой Джон Гилгуд появился в красном смокинге, как две капли воды похожем на тот, в котором пришел Клифтон Уэбб. Маргарет написала это письмо в своем доме № 533 на Парк-авеню;

«Грета на этом вечере пребывала в своем самом разговорчивом и дружелюбном настроении; на ней было парчовое платье с длинными рукавами от Валентины, волосы зачесаны назад и завязаны кружевной лентой, что придавало ее внешности божественный, хотя и несколько необычный вид. Я представила ей мистера Гилгуда, и тот в восторге воскликнул:

«Что за прелесть!»

В следующем номере «Лайфа» появятся фотографии Джерома Зерба, снятые на пасхальной вечеринке по просьбе самих хозяев. Я слышала, будто Зерб, встретив Гарбо на улице, сказал ей, что она попала на одну из фотографий, и актриса восприняла эту

новость довольно спокойно. И вот теперь Валентина звонит мистеру Зербу, чтобы сообщить, что Грета и Джордж вне себя от возмущения и требуют, чтобы фотографии были изъяты из номера. Как-то вечером я случайно столкнулась с Гретой и Джорджем на углу улицы. Джордж спросил меня:

— Вы обедаете с каким-то англичанином. Мэгги обожает англичан!

А Грета, смеясь, добавила:

— О да, как там поживает этот ваш знакомый Сютро? Он так мил, просто душка!

Я подумала, что тем самым она напомнила мне и о вас, Сесиль. Ходят слухи, что, возможно, она будет сниматься у Дэвида Селзника. Кто-то сказал мне, что Джордж Шлее уехал вчера на пару недель в Калифорнию, а это значит, что несравненная Грета тоже, возможно, уехала. Джордж с Валентиной собираются в июле отплыть в Европу. Боюсь, что кроме этих нудных банальностей мне больше нечего тебе сообщить. Грета бесцельно проводит свою жизнь в ужасно нудной компании, как всегда».

Сесиль посетил Стредфорд-на-Эйвоне, а затем спешно пересек всю страну, чтобы погостить у Джулиет Дафф в Балбридже, вернее, в соседней деревушке Уилтон. Вот что он пишет Гарбо:

«Моим компаньоном на ближайшие три дня будет твой знакомый — мистер Моэм, — но я сомневаюсь, что мы с ним будем говорить о тебе, поскольку я никогда не обсуждаю тебя ни с кем из наших общих друзей. И если вдруг в разговоре кто-нибудь случайно упоминает тебя, я принимаю донельзя невозмутимый вид или притворяюсь незаинтересованным, как, например, когда Кохно сказал мне, что видел тебя, — я тогда изобразил полное благодушие. «Ах, как мило с ее стороны! А как мило с твоей — и как, должно быть, приятно для нее!»

В августе Сесиль отправился в Париж — немного развлечься и приобрести кое-что для дома, но город, казалось, наглухо отгородился от солнца ставнями, а женщины щеголяли загаром. Битон признался Гарбо, что видел ее во сне, и даже задался вопросом; «А не бываем ли мы счастливы только в наших снах?». Вернувшись в Лондон, он наконец-то получил весточку от Гарбо.

Вот что он написал в ответ;

«За несколько дней моего отсутствия пришло огромное количество писем и журналов, и мне пришлось взять на себя разнообразные обязанности по дому. Я заметил, что кто-то из моих американских друзей прислал мне посылки с продовольствием. Но я не стал их разворачивать до тех пор, пока

не настало время ложиться спать; и когда я обнаружил, кто же все-таки их прислал, то переполнился самым искренним и глубочайшим счастьем. Спасибо тебе. Огромнейшее спасибо. Последнее время я чувствовал себя совершенно одиноким. Мне было не по себе оттого, что я не мог связаться с тобой. Временами я чувствовал себя совершенно подавленным из-за того, что утекло столько воды с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз. Тем не менее я всегда искренне верил в нас с тобой, я знаю — что бы ты ни сказала мне, — что у нас с тобой совершенно искренняя взаимная симпатия и любовь друг к другу и что такое случается порой только раз в жизни. Я всегда мысленно обращался к тебе, словно ты была совсем рядом, и как бы занят я ни был, мне всегда хотелось, чтобы ты находилась здесь, подле меня, чтобы делить со мной мою радость, и поэтому твой подарок стал для меня манной небесной, и я знаю, что ты полна понимания, что ты настоящий друг, в чем я всегда был уверен. Что касается меня самого, то никогда прежде мне не хотелось посвятить себя целиком только одной женщине, но я знаю, что в один прекрасный день все преграды будут преодолены и мы счастливо заживем вместе. Ты занимаешь львиную долю моих планов — и я пока не тороплюсь непременно взяться за их воплощение, поскольку ни ты, ни я не были бы абсолютно счастливы без взаимного доверия, и как мне кажется, тебе стоит снова увидеться со мной, чтобы до конца осознать, насколько я искренен, если, конечно, такое мне дано».

Гарбо уже собиралась отправиться в Лондон и, что было для нее весьма характерно, дала о себе знать незадолго до того, как появиться там. Она немного погостила в Англии, а затем отправилась в Париж, куда прибыла 17 августа. Ей удалось скрыть от прессы тот факт, что она путешествует в обществе Джорджа Шлее, человека, которого Сесиль как-то раз описал как «помощника второсортного портного». В Англии тем временем установилась неимоверная жара. Было жарко, сухо и солнечно — идеальная погода для сбора урожая, — короче, это был самый жаркий август за последние семьдесят пять лет.

Однако для Сесиля эти дни были полны сомнений и тревог. И если он полагал, что его не будет мучить бессонница, то жестоко ошибался. Два дня спустя после прибытия Гарбо он писал:

«Итак, ты в Лондоне. Это величайшее событие — как если бы Венера посетила Марса. Тем не менее газеты отнеслись к нему так, словно некая кинозвезда просто приехала сюда в отпуск. Как, однако, они вульгарны и приземлены. Ты была совершенно права, пытаясь избежать их атаки, но твоя редкостная простота настолько чиста и естественна, что озадачивает многих. Я думал,

что не стану звонить тебе, пока ты не позвонишь мне, но я поймал себя на том, что не нахожу себе места, и поэтому все-таки осмелился потревожить тебя. Как только я принял это решение, то сразу почувствовал себя как на иголках. Я то и дело садился в машину и сломя голову несся покупать антиквариат — или хотя бы присмотреть что-нибудь для дома. К сожалению, это возбуждение мало что компенсировало. Я был весьма опечален тем, что тебя нет, и досадовал, что временно не могу вырваться из своего сельского дома, когда ты позвонила…»

Долее Сесиль продолжал:

«Надеюсь, ты сумеешь выкроить для меня немного времени, когда вернешься в Лондон? У тебя будет возможность освободиться? Мне бы не хотелось встретиться с тобой всего на пару минут среди толпы народа. Зато как бы мне хотелось пригласить тебя на обед! Нам многое следует обсудить, поговорить буквально обо всем на свете. Мне известно, что ты терпеть не можешь строить планы, но я бы хотел знать, когда сумею провести с тобой достаточно времени предстоящей зимой. Как только кончится январь, я снова окажусь в жерновах у Корды — а это почище, чем служить в армии, поскольку там еще можно получить увольнительную».

Гарбо отправилась из Парижа на юг Франции, где она остановилась на «Вилле королевы Жанны» в Бормле-Мимоза у Поля Луи Вейлера, командующего, с которым она познакомилась благодаря участию леди Мендль (Элси де Вольф). Здесь ей удалось провести дни отдыха в полном уединении. Скрытая от посторонних глаз, она купалась по утрам обнаженной, пока еще не пробудились остальные гости. Эта просторная вилла словно была нарочно построена для тех, кто обожал затворничество. Во время своего пребывания там Гарбо держалась настолько обособленно, что Пандора Клиффорд, также гостившая в этом доме в то же самое время, только догадывалась о ее присутствии, но ни разу не столкнулась с ней.

Затем Гарбо вместе с Шлее проделала путь вдоль всего побережья до Канна, навестив Шато де ля Гаруп на Кап д'Антибе, владельцами которого в то время были чилийский коллекционер Артуро Лопес и его жена Патрисия. Там Гарбо впервые встретила своих друзей Майкла Даффа и Дэвида Герберта. В интервью, которое взял у него Дункан Фаллоуэл, Дэвид Герберт вспоминал, как они спускались вниз по каменистой тропинке.

«Прямо из моря нам навстречу шагнула редкостная красавица, с мокрыми от купания волосами, капельками морской воды на ресницах и без бюстгальтера. Мы с Майклом прямо ахнули. Это была Гарбо».

Лопес представил их друг другу и пояснил, что его гости англичане и к тому же принимали участие в войне.

«Как приятно встретить двоих мужчин, которые, не жалея себя, сражались во имя мира, — произнесла Гарбо, несколько преувеличивая вклад обоих в дело спасения мира. — Да здравствует Британская Империя!»

После чего она, судя по всему, снова нырнула в море. Чуть позже они разыгрывали шарады, и Гарбо держалась совершенно раскованно и даже разгуливала на четвереньках.

«В ней нет никакого притворства, — высказал свое мнение Герберт. — И никакая она не затворница. Ей просто до смерти надоели все эти голливудские штучки».

7 сентября «Нью-Йорк Таймс» опубликовала фото Гарбо, прогуливающейся по улицам Канна, в шортах и широкополой шляпе. Тем временем в Нью-Йорке к Валентине в дом № 450 по Пятьдесят Второй улице заглянул в гости Ноэль Кауэрд. Модельерша не находила себе места, пребывая в полной растерянности. Кауэрд писал: «Бедная крошка! Боюсь, что она переживает жуткое время!»

Сесиль тем временем с неистощимым усердием засыпал Гарбо письмами.

«Последнее время ты оказалась втянута в круговерть гостиничных номеров и только и делала, что дожидалась, когда этот старый русский осетр соизволит утром встать с постели. Возможно, после мимолетного и поверхностного знакомства с Лондоном тебе, наверно, будет приятно вернуться к безликости Нью-Йорка или Беверли-Хиллз. Но все-таки твое место — Европа. Просто замечательно, как после всех этих лет Америка не наложила своего отпечатка на твою душу. Но это свидетельствует о том, как далека она от тебя, что у тебя нет контактов с ее жителями. Как мне кажется, тебе следует как можно чаще наезжать в Европу, где, согласись, окажешься в более теплой и приветливой обстановке. Нет никаких причин, которые не позволяли бы тебе сделать попытку и начать здесь новую жизнь. Расстанься с кино и веди ту жизнь, какая тебе самой нравится. Просто ужасно, что ты постоянно вынуждена прятаться от своих тупоголовых поклонников на Мэдисон-авеню или бульваре Сансет. Все вышеизложенное не что иное, как приглашение попробовать свить гнездышко здесь у меня в «Реддиш-Хаусе».

Гарбо и Шлее действительно вернулись в Лондон на несколько дней, перед отплытием в Америку на борту «Куин Мери», а Сесиль написал последнее письмо:

«Дражайшая Грета!

Я рад, что ты уехала. Теперь я смогу немного угомониться и

ощутить некое успокоение. Не было ничего хорошего в том, что ты, с одной стороны, здесь, а с другой — нет: ведь пока ты во власти этого русского осетра, мне не на что рассчитывать. Как мне кажется, с его стороны довольно некрасиво, что он не дал тебе возможности подольше задержаться в Англии. Разумеется, это было сделано нарочно. Я отказывался поверить, что ты снова в Лондоне, что ты, возможно, позвонишь мне, но я был столь же жалок, как и Чарли Чаплин в «Золотой лихорадке», когда ты так и не появилась у меня. Я сказал, что буду сидеть там безвылазно, что, правда, не совсем соответствует истине. Я действительно частенько засиживался там, например, пытался читать, однако никак не мог сосредоточиться, и тогда я услышал, как стукнула дверца автомобиля, и я подумал, что это ты. Когда я подошел к окну, то увидел, что это какая-то женщина в сером костюме, приехавшая в дом напротив. Разрази ее гром. Затем я занимался всякими приготовлениями, так как хотел, чтобы мое жилище имело привлекательный вид. Я выбросил все ненужные бумаги и письма, немного прибрал и купил море алых цветов и голубых гортензий. Я даже не ел на ленч рыбу: когда ее жарят, от нее ужасно воняет, а мне хотелось, чтобы мой дом производил впечатление полного шарма. Но ты так и не появилась, а затем позвонила, что задерживаешься. Какая буря эмоций может скрываться за этим формальным словечком «задерживаюсь». По моему, Элоиза и Абеляр тоже задерживались.

Тем временем «Куин Мери» полным ходом удаляется прочь, и дни до прибытия должны казаться тебе абсолютно нереальными — вне времени, вне человеческих представлений. После чего ты прибудешь к себе на Манхэттен. А дальше что? Этому старому осетру придется предстать перед ликом разгневанной супруги. Боже упаси, чтобы я когда-нибудь узнал всю подноготную этих Шлее, и к тому времени, когда «Куин Мери» вернется, заправится и снова ринется через Атлантику, надеюсь, она захватит с собой и меня».

Стоял октябрь. Вскоре после этого Сесиль отплыл через Атлантику, чтобы провести за океаном традиционные три зимних месяца и выполнить обязательства перед журналом «Вог». В Америке его ожидал сюрприз.

Глава 6
Гарбо и Сесиль. Любовный роман

Он любил ее. Наверняка любил. Или же она вскружила ему голову. Так будет ближе к истине. Как ни странно, но Сесиль был одним из немногих, кто доставлял физическое удовлетворение.

Покойный Трумен Кэпот автору книги. 28 июня 1983 года.

В октябре 1947 года Сесиль прибыл в Нью-Йорк, официально получив у Корды трехмесячную «увольнительную», с той целью, чтобы выполнить условия своего нового контракта с «Богом». Хотя Гарбо на протяжении последних недель не выходила у него из головы, дни, проведенные им в Нью-Йорке, были далеко не безмятежны. На какое-то время Сесиль увлекся красавчиком-актером Джеффри Туном, тем самым, который сыграл лорда Уиндермира в фильме «Веер леди Уиндермир». В июне 1946 года Сесиль писал в своем дневнике: «Джеффри Тун показался мне совершенно очаровательным, и я ощутил, что жизнь полна самых удивительных возможностей. Если бы только знать, как за них ухватиться!» Однако молодой актер вежливо дал понять, что не приемлет его домогательств. Тун также провел в Нью-Йорке какую-то часть зимы, и время от времени они с Сесилем встречались. Кроме того, в первые недели пребывания Сесиля в Нью-Йорке он встретил одного австралийца, с которым познакомился в 1944 году в Бомбее, и писал следующее: «Это тот самый человек, с которым я готов прожить жизнь. Прискорбно, однако, что наши пути разошлись». Только после того, как австралиец уехал из Нью-Йорка, Сесиль попытался установить контакт с той, «что занимала мои мысли на протяжении двух последних лет».

Несмотря на противоречивые желания, Сесиль был зрелым, уверенным в себе мужчиной. Незадолго до этого ему даже пришлось выступить в роли советника для своего друга Джеймса Поуха-Хеннеси, просвещая последнего относительно положительных сторон романа с женщиной. Сесиль пытался убедить своего приятеля, что этого на удивление нетрудно

добиться, стоит только приложить чуточку усилий. Битону были чужды опасения Поуха-Хеннеси, который как-то раз признался, что его одолевает страх перед сношением с женщиной, что, мол, его член застрянет во влагалище и оторвется.

Сесиль набрал номер Гарбо и голос телефонистки ответил:

«Мисс Браун более не проживает по этому адресу».

Однако на следующий день Сесиль снова попытал счастья, и на этот раз Гарбо сама сняла трубку. Сесиль не видел ее вот уже больше полутора лет, однако Грета держала себя с прежним легкомыслием. Она поинтересовалась у Битона, где он сейчас находится. Как всегда, Сесиль поселился в отеле «Плаза», заняв номера 249–251. Гарбо предложила навестить его там, но предупредила;

— Не раньше понедельника.

По мере продолжения разговора Сесиль испытал известное облегчение от того, что их беседа проходит на счастливой ноте.

— Я сейчас в самом начале новой кампании. Мне кажется, что если я не наделаю ошибок, если не стану торопить события, то смогу одержать победу.

Утром в понедельник 3 ноября Сесиль фотографировал Гертруду Лоренс. Во второй половине дня его ждало воссоединение с Гарбо; Сесиль наполнил номер цветами, раскидал по всей комнате ее любимые сигареты и принарядился в свой второй выходной костюм — первый он решил приберечь для лучших времен.

Ожидание показалось ему бесконечным, и он весь изнервничался. Но наконец в дверь позвонили, и Сесиль бросился открывать — на пороге стояла Гарбо, похудевшая и слегка осунувшаяся по сравнению с тем, какой он ее помнил.

— Какая приятная неожиданность! — нервно произнес Битон.

— Неожиданность? — переспросила Гарбо.

Они беседовали о всяких пустяках. Сесиль поинтересовался, испытала ли Гарбо хоть раз некий эмоциональный или душевный подъем с тех пор, как они встретились. Та предпочла уклониться от ответа, а затем пустилась в рассуждения о значении слов «валять дурака» и «в здравом уме». На протяжении всей беседы Гарбо ни разу не обмолвилась о прошлом, а также не удосужилась даже краем глаза взглянуть ни на фотоальбом, который Сесиль умышленно положил у нее на виду, ни на один из номеров журнала. Затем, совершенно неожиданно, она задернула горчичного цвета шторы и повернулась к Сесилю.

«Я был совершенно сбит с толку происходящим и не сразу пришел в себя. Всего через несколько минут нашего воссоединения, после долгой разлуки и размолвки, после

нескончаемой депрессии и сомнений мы оказались в объятиях друг друга — это было совершенно неожиданно, необъяснимо и… неизбежно. Только в такие мгновения начинаешь понимать, как прекрасна порой бывает жизнь. Я даже не догадывался, что способен с такой быстротой преодолеть разделяющую нас пропасть. Я мысленно возвращался к дням, проведенным мною в «Реддиш-Хаусе», когда я предавался самым безумным мечтам, и вот теперь воображаемые мною сцены действительно происходили со мной».

На следующий день Сесиль отправился завтракать. Там он встретил баронессу Будберг и был приятно удивлен, узнав, что та, как и он сам, страстная поклонница Гарбо. Баронесса заявила, что Гарбо — это символ. Во время своего второго свидания с Гарбо Сесиль попытался расспросить актрису о Швеции и возможных съемках. На что Грета заметила;

«Киностудии — это жуткое место».

От Сесиля не ускользнуло, что Гарбо заметно постарела.

Вот что он писал в своем дневнике;

«За обедом вид у нее был едва ли не обезьяний — волосы растрепались, помада размазалась, а тело — какое-то тощее и плоское».

На следующий вечер Сесиль слегка припозднился после коктейлей в Грэмерси-Парк. Гарбо поджидала его возле двери — этакая загадочная фигура в низко надвинутой шляпе.

Вечер прошел не столь удачно. После этой встречи Сесилю снова дали понять, что «мисс Браун» не собирается поднимать трубку.

Неделя тянулась бесконечно, и свое молчание Гарбо объяснила «временным недомоганием». Когда же любовники снова встретились, Сесиль был вынужден признать, что она бледна и как-то по-особому трогательна и прекрасна. А еще у него словно камень свалился с души, когда атмосфера снова стала непринужденной. Вскоре после этого началась энергичная программа прогулок по Центральному парку. Мисс Луэнн Клегхорн, секретарша Сесиля, вскоре привыкла к его внезапным отлучкам из рабочего кабинета.

«Сесиль обычно приходил на свидания первым, и его нос успевал побагроветь от холода». Затем появлялась Гарбо, нередко облачившись в темно-синее пальто и широкополую шляпу, с огромной черной сумкой через плечо. Сесиль тотчас оказывался на седьмом небе от счастья. Для Битона Гарбо всегда оставалась обладательницей «божественно, гармонически сложенной фигуры… Совершенно романтичной, не то что остальное человечество». Обретя уверенность в себе, он как ребенок

радовался их маленьким хитростям, тому, что прохожие узнавали Гарбо, умилялся фривольности их непринужденных разговоров, пока они под руку торопливо проходили через парк. Как-то раз, в один из таких дней, Сесиль в полном одиночестве поднялся к себе в номер. Он заказал чай, зажег свечи и отправил домой секретаршу. Гарбо поднялась к нему по черной лестнице, однако встретилась там нос к носу с пресс-секретарем отеля, князем Сержем Оболенским.

Все еще не согревшиеся после прогулки, возлюбленные попивали чай, когда Гарбо, внезапно бросила взгляд на часы.

«Ты не находишь, что это просто ужасно — быть в обществе человека, который то и дело смотрит на часы, который так пунктуален, что не позволит тебе ни лишнего вопроса, ни пытливого взгляда? — воскликнула Гарбо, а затем, указав в сторону другой двери, поинтересовалась у Сесиля: — Ты случайно не хочешь спать?»

Вот как Битон описал свою реакцию:

«Временами картины и фотографии бывают больше похожи на людей, чем сами люди. Крайне редко, когда я гуляю с Гретой, у меня возникает возможность разглядеть ее. Иногда мы останавливаемся, чтобы посмотреть на молодой месяц, и тогда я вижу ее такой же, как и на лучшей ее фотографии или в кино. Сегодня под вечер я не раз ловил ее на сходстве с «Королевой Христиной» — в сгущающихся сумерках она представлялась мне воплощением своих экранных образов».

Сесиль все еще пребывал в смятении относительно того, как разворачивались события. Временами его одолевали сомнения, не использует ли Гарбо исключительно физическую сторону их отношений. Когда Битон поделился опасениями со своей приятельницей Наташей Уильсон, та воскликнула:

«Но это же курам на смех!»

Когда же Сесиль излил душу Моне Харрисон Уильямс, та встретила его откровения сочувствием. Во-первых, она заявила, что Битон «круглый идиот», и посоветовала применить по отношению к Гарбо ее же тактику:

— Главное — завоевать ее душу, — сказала она, — а когда ее душа начнет тревожиться по поводу того, что происходит в твоей душе, когда ты собственными глазами увидишь результаты, главное не расчувствоваться, а отмести прочь всякую жалость. Без этого не обойтись. Нельзя никому позволять обращаться с тобой как с круглым идиотом, тем более, что речь идет о таких серьезных вещах!

Уж кто-кто, а автор этого второго совета Мона Харрисон Уильямс имела богатый опыт в матримониальных делах.

Родилась она в Луисвилле в 1897 году. Детские годы ее прошли на ферме в Лексингтоне, штат Кентукки, где ее отец, некий мистер Трэвис Стрейдер, работал конюхом. Мона проводила дни напролет в конюшне, училась верховой езде и, в возрасте девятнадцати лет превратившись в хорошенькую брюнетку, вышла замуж за владельца все той же конюшни, Генри Дж. Шлезингера. Супруги переехали в Милуоки, где в 1918 году у Моны родился сын. В 1920 году она развелась с Генри Шлезингером, получив компенсацию в 200 тысяч долларов. Вскоре Мона вышла замуж за Джеймса Ирвинга Буша, футболиста из университета штата Висконсин и опять-таки миллионера. Супруги развелись в 1934 году, и Мона «облегчила» банковский счет бывшего мужа на миллион долларов. Ее третьим супругом стал Харрисон Уильямс, мультимиллионер, президент корпорации «Эмпайр» и, кстати сказать, гость на ее предыдущей свадьбе. Очередное бракосочетание состоялось в 1926 году.

После этого Мона завоевала себе постоянное место в списке самых шикарных женщин США. Она частенько снималась для журнала «Вог», причем предпочитала, чтобы снимки делал исключительно Битон (к его же величайшей радости), и продолжала вращаться в светских кругах, что ее супруг делал весьма неохотно.

Мона оставалась замужем за Харрисоном до самой его смерти, последовавшей в 1953 году, что говорит о том, что она по достоинству ценила своего супруга. Овдовев, она унаследовала от мужа баснословное состояние и вскоре выскочила замуж в четвертый раз — за декоратора, графа «Эдди» Бисмарка. Тот скоро серьезно заболел, однако протянул до 1970 года. После его кончины Мона вышла замуж за врача, доктора Умберто ди Мартини, который погиб в автокатастрофе в 1973 году. Мона скончалась в Нью-Йорке 10 июля 1983 года в возрасте восьмидесяти пяти лет. В ее парижском особняке (дом № 34 на Авеню де Нью-Йорк) теперь располагается Бисмарковский институт.

В течение четырех дней Сесиль хранил молчание. Затем Гарбо позвонила ему и, уловив в его голосе надменные нотки, заявила, что будет у него через пару минут. Она выдвинула предположение, что он ей неверен, и пробормотала:

— Я же чувствовала, что мне не следует ждать так долго.

Сесиль рассказал ей о своей встрече с Моной, что они гуляли до трех утра и что этим вечером он снова обедает с ней. Гарбо засыпала его вопросами, а затем прокомментировала:

— Так, значит, ты успеваешь изменять мне?

Их разговор проходил в миролюбивых тонах, и уловка

Сесиля, казалось, удалась. Но затем Гарбо произнесла:

— К черту эту твою вечеринку. Зачем тебе туда? Я хочу, чтобы ты остался здесь.

Из чего Сесиль сделал вывод, что его общество еще не успело наскучить Грете.

Тем не менее он решил продолжить свою кампанию. Он не звонил, а когда Гарбо наведывалась к нему, то распоэзивался о красоте Моны. 27 ноября, в День Благодарения, Сесиль поедал Гарбо вазу с белыми орхидеями и с одним из своих неотправленных писем. Затем без лишнего шума укатил на уик-энд в Бостон. Пока он отсутствовал, Гарбо звонила несколько раз. Они встретились в следующий понедельник. И хотя Гарбо притворялась веселой, она задала ему немало ревнивых вопросов. Вид у нее был «бледный и несчастный, под глазами крути, морщины обозначились еще резче» — от Сесиля не ускользнуло ничего. Тем не менее, как и следовало ожидать, горчичного цвета шторы были затянуты снова, и Сесиль снова оказался в плену этих огромных голубых глаз.

«…Глаз, которые продолжали смотреть в упор, которые даже во сне не смежали век. Ибо сон есть нечто такое, что дается с большим трудом. Мы говорили о многих интимных вещах, о которых подчас бывает так трудно говорить, однако сумели достичь счастливого взаимопонимания и взаимной радости».

Пропустив по глоточку виски, они отобедали в ресторане «Майерлинг». Гарбо критиковала Битона за его страсть к пышным нарядам и за его позерство во время разговоров по телефону — когда он при этом клал руку на бедро. Гарбо заявила, что хочет сделать из него настоящего мужчину. Они отправились в театр, на спектакль по пьесе Раттигана «Парнишка Уинслоу», и Гарбо сказала:

— По-моему, мне придется сделать тебе предложение.

На что Битон отвечал:

— Нет, нет, этот номер не пройдет. Потом будешь всю жизнь раскаиваться.

Однако он остался доволен этой нетипичной для нее неуверенностью в себе, тем, как она в упор смотрит на него, когда его собственный взгляд устремлен на сцену. Тем не менее он по-прежнему был от нее без ума; каждое место, где они бывали вдвоем, становилось для него «священным» — будь то бар или книжная лавка. Когда Сесиль возвращался к себе, по его собственному признанию, он «находился в состоянии экстаза».

Их встречи вошли в привычное русло — прогулки по парку, поцелуи украдкой, — хотя Гарбо все еще волновалась, что их могут узнать или ограбить — тогда еще не изобрели модное ныне

словечко «mugging». Шлее тоже все еще назначал ей свидания, хотя Гарбо и утверждала, что ее от них клонит в сон. Сесиль в свободные минуты смотрел цветную киноленту о королевском бракосочетании, а однажды они вдвоем с Гарбо пригласили на рюмку спиртного княгиню Берарскую. Гарбо держалась с гостьей весело и непринужденно, и Сесиль проникся к ней еще большим восхищением.

«Ее ум занимают лишь благородные стороны жизни. Это тем более для меня удивительно, поскольку я делаю подобные открытия, как может такая едва ли не по-крестьянски простая натура избрать для себя такой подход к жизни… Это еще более парадоксально, если попытаться представить себе, что она вращалась в кинематографических кругах. Несмотря на весь мой предыдущий опыт общения с ней, я плохо представлял себе реальную силу ее аскетизма. Она подобна воину-спартанцу или же рыцарю. Независимо от того, какое удовольствие черпает она в соблазнах, уводящих ее с прямой и узкой тропы, на самом деле любое отклонение в сторону вызывает у нее негодование, и она не прощает виновному его проступок.

Чем больше я размышляю над этим, тем сильнее осознаю, как важно для меня иметь в жизни эту путеводную линию, способную привести меня к более глубокому, осмысленному бытию. Она на одном дыхании выпалит: «Я никогда ничего не читаю. В постели я перелистываю этот отвратительный «Американ Джорнел» — подумать только, «Американ Джорнел», — и то потому лишь, что его кладут мне под дверь. Но, право, когда я его пролистаю до конца, то не становлюсь от этого умнее. Он не производит на меня ровно никакого впечатления». А затем в следующий момент она отпустит какое-нибудь глубокомысленное замечание, в котором тотчас чувствуется ее склонность к морализаторству и философии».

Случалось им обсуждать и более серьезные темы, что служит веским доказательством, если в таковом имеется необходимость, серьезности их романа.

«Когда она позвонила мне сегодня утром и сказала, что неважно себя чувствует и поэтому мне придется найти себе какое-нибудь другое занятие это было совершенно искренне, без малейшего налета эгоизма, поскольку казалось, что несмотря на то, что ей хотелось, чтобы предстоящий вечер оказался столь же страстным и она сгорала от нетерпения, в результате моих объятий накануне она оказалась в несколько болезненном положении и не вынесла бы моих новых посягательств. Я же вел себя как настоящий мужлан — сделал Грете больно, и теперь ей придется переждать несколько дней, пока она не поправится,

чтобы нам снова соединиться в объятиях. Она пояснила:

«Понимаешь, женщина — это хрупкий предмет. И тебе следует проявлять осторожность и несколько умерить свой пыл. Ткани легко порвать. Ты должен быть нежным и внимательным».

Ну разве это не ужасно!»

Сесиль продолжал следовать советам Моны, и они все еще срабатывали. Гарбо приводила в восторг своим новым настроением. Во время одной из прогулок дождливым днем она щебетала:

— Ты мне нравишься. Ты мне нравишься. Может, это не так уж и много. Это просто небольшое словечко, но ты мне нравишься, и каждый раз, когда я прощаюсь с тобой, мне хочется увидеть тебя снова. Как мне хочется уехать куда-нибудь, чтобы там был большой балкон, и я бы приходила через него и ложилась с тобой в постель.

Сесиль писал, что у него стыла в жилах кровь, когда он слышал подобные вещи. Однако ему нравилось, когда Гарбо шутливо говорила:

«По-моему, мне придется сделать тебе предложение, чтобы сделать из тебя честного человека».

Сесиль уже было начал лелеять в душе надежду, что Гарбо выскочит за него замуж, пусть даже поддавшись душевному порыву.

«Я рисовал себе все возможности и был согласен пойти на любой риск, лишь бы ухватиться за малейший шанс и попробовать начать новую жизнь».

Продолжая в том же духе, Сесиль подождал, пока они с Гарбо не провели вместе около десяти часов, а затем изрек:

— На тебя нельзя положиться. Ну как я могу жениться на тебе, если ты относишься ко мне несерьезно.

На что Гарбо ответила:

— Подумать только, ведь я люблю тебя, Сесиль. Я люблю тебя. Я по уши влюблена в тебя.

И снова их отношения приобрели утраченную близость.

«Возможно, мои чувства были выражены слишком грубо, но, если принять во внимание, как я вел себя весь остаток вечера, в целом это пошло на пользу. Желаемый эффект был достигнут — ей захотелось того, чего в душе хотелось и мне самому. Возможно, я перетрудился. Той ночью я был явно не на высоте, но, к счастью, это ничего не испортило».

Позднее, после пикантного спектакля, Сесиль и Гарбо отправились в ночной клуб «Голубой Ангел». Гарбо упивалась атмосферой кабаре с детской непосредственностью и время от времени шептала:

— Я тебя люблю, я тебя люблю.

Для Битона это было даже слишком.

«Воистину это день моего величайшего триумфа», — вспоминал он.

В тот вечер Гарбо впервые пригласила его к себе домой, в номер 26 С отеля «Ритц». И пока она готовила что-нибудь перекусить. Битон попытался как следует рассмотреть ее комнату, что, кстати, было нелегко сделать, так как Гарбо не позволила ему включить свет. Все закончилось несколькими поцелуями, и Битон около трех часов утра покинул ее. По дороге домой он рассуждал о том, как ему превратить их отношения в нечто более прочное и надежное: однако у него не было ни малейшего желания превращать нечто «утонченное и эфемерное в прозу будней». Следующий день оказался для Сесиля насыщенным до предела, завершившись вечером обедом в обществе Кармеля Сноу.

«Я валился с ног от усталости после моих вчерашних подвигов, — писал Сесиль, — и чувствовал, что сегодня нам лучше побыть раздельно».

Как-то раз Гарбо и Сесиль обсуждали Мерседес, которая в это время тоже жила в Нью-Йорке.

Грета сказала, что здесь явно что-то не так, иначе бы она не была так одинока, несчастна и всеми позабыта.

«Но ведь она причинила мне столько вреда, столько всего нехорошего, она распускала жуткие сплетни и вообще была вульгарна. Она вечно строит какие-то козни, вечно что-то вынюхивает, и ей не заткнешь рта. Она как тот еврей — чем больше грязи вы выливаете на него, тем скорее он возвращается к вам снова». Когда же я сказал, что Мерседес в лоб спросила меня насчет моего романа. Грета ответила: «Это в ее духе. Как это вульгарно».

Гарбо поведала Битону, что хотела бы выйти замуж за Билла Пейли, председателя Си-Би-Эс. И тогда Сесиль произнес:

— А почему не за меня?

— Почему же?

— Потому что я недостаточно богат. Мне нечего тебе предложить, кроме спасения.

Гарбо редко заговаривала о Шлее, но после того, как попалась в отеле «Плаза» на глаза Сержу Оболенскому, сказала:

— Мне чертовски не везет. Бьюсь об заклад, когда этот «мужчина» увидит меня в следующий раз, моя песенка спета.

Гарбо пояснила, что Шлее пребывает в мрачном состоянии духа и вообще сыт по горло тем, что следит за шестью десятками женщин, работающими на его жену. Возвращаться домой по

вечерам ему тоже доставляло не слишком большое удовольствие. Сесиль сделал оптимистичный вывод: «Она впервые проговорилась об этих Шлее. Видно, что общаться с ними — малоприятная необходимость».

Битон был рад услышать, что после его отъезда Гарбо собралась в Калифорнию.

— В Нью-Йорке меня ничто не держит, — заявила она.

Вскоре Сесиль вместе с Анитой Лоос отправился на театральный уик-энд в обществе Рут Гордон и Гарсона Канина. Компания проговорила восемнадцать часов кряду, и Сесиль не осмеливался ни на минуту покинуть комнату, чтобы ничего не пропустить.

Приближалось Рождество, и Гарбо становилась все откровеннее. Перед спектаклем «Трамвай «Желание», на который она собралась вместе с Шлее, Гарбо заявила;

— И как ты только ждешь, что я позвоню тебе потом, если во мне сидит настоящий дьявол, и я прямо после спектакля приду к тебе и останусь на ночь.

Однако она так и не пришла, и, соответственно, не осталась на ночь, и не позволила Сесилю прийти к себе. Тем не менее, неисправимая кокетка, она позвонила утром, а затем пришла сама.

«В ослепительном свете дня она казалась, как всегда, прекрасной. В ее бледно-голубых глазах было что-то орлиное. Кожа на шее и груди подобна благородному мрамору. Ноги ее стройны, как у пятнадцатилетней девушки. Кожа нежного абрикосового оттенка. Как счастливы мы были в нашем взаимном экстазе. Воскресное утро было использовано с максимальной пользой».

Затем Гарбо перевязала волосы желтой лентой и, заливаясь веселым смехом, они вдвоем залезли в ванну. Сесиль теперь воспринимал свое счастье как нечто само собой разумеющееся.

Вот что он докладывал Клариссе Черчилль, своей конфидентке в Англии.

«Как всегда, мне поначалу кажется, я горю желанием добиться того, чтобы эти восторги стали более прочными и длительными, однако затем я сомневаюсь, действительно ли мне все так прекрасно удалось, хотя моя самоуверенность начинает приобретать тревожные размеры. До этого я ни разу не задумывался над тем, насколько велика может быть сила мысли. Стоит заронить в свою душу крохотное зернышко, как оно разрастается до таких размеров, что сможет сдвинуть горы. В течение многих лет я сеял у себя в душе совершенно не те зерна и сам от этого ужасно страдал».

Во время своего следующего визита к ней домой Сесиль обсуждал с Гарбо, как он должен ее называть. Он терпеть не мог все ее псевдонимы — все эти «Мисс Г» или «Мисс Браун». Она же терпеть не могла, когда ее звали Грета. И тогда Сесиль предложил обращение «женушка». Довольный, он принялся громко выкрикивать это слово.

— Нет, нет, прошу тебя, не шуми, — потребовала Гарбо. — В этой квартире никогда не слышно ни звука. Словно здесь никто не живет. Никогда никакого шума.

Сесиль отмечал в своем дневнике: «И я могу легко себе это представить».

Сесиль прихворнул накануне Рождества, и Гарбо пришла проведать его. На Рождество у нее был запланирован ленч с Мерседес (которую она теперь звала «наша черно-белая крошка» из-за аскетичной черной одежды и белого напудренного лица). Мерседес оставалась в неведении, кого приведет с собой Гарбо, поскольку та лишь шутливо отмахнулась:

— Ты сама вскоре узнаешь, если оставишь место для третьего.

На Рождество Сесиль отправился в «Ритц» и из чистого любопытства заглянул в кухню. Гарбо рассвирепела, что к ней кто-то вторгается, и отругала Сесиля. Тот не ожидал такой бурной реакции. Затем они вместе отправились к Мерседес. Кроме них, в гости также заявился «довольно трогательный, изнеженный и наивный «вьюноша» по имени «мистер Эверли». Гарбо пребывала в приподнятом настроении, распевала песни, декламировала стихи, цитировала Гейне. Но в 3 часа она внезапно удалилась, прихватив с собой и Сесиля. Когда они приблизились к территории Шлее, Гарбо одна зашагала дальше вперед, попросив Сесиля позвонить ей вечером.

В тот вечер Сесиль обедал у Моны. После обеда, когда женщины поднялись наверх, а герцог Виндзорский остался с мужчинами в столовой посидеть за рюмкой портвейна, Сесиль позвонил Гарбо. Та попросила Битона никому не показывать тарелку, которую она подарила ему на Рождество, так как это была любимая тарелка Шлее. После обеда Мона устроила бал, с которого Сесиль сбежал в половине четвертого утра с ужасной головной болью.

Когда Битон проснулся утром 26 декабря, он увидел, что Нью-Йорк укутан толстым снежным покрывалом. Чувствовал он себя по-прежнему неважнецки, однако ему еще предстояло сфотографировать некую светскую особу. К счастью, Сесиль заранее распорядился, чтобы напитки доставили ему на дом, однако для его гостей оказалось нелегкой задачей добраться к

нему домой. Гарбо появилась в резиновых сапогах и шкиперской шляпе под руку с Шлее. В числе остальных гостей были Джорди Дейвис, Сальвадор Дали, Алан Портер и Наташа Уильсон.

Сесиль в упор рассматривал своего соперника.

«Что касается Джорджа, то я ему не доверяю ни на грамм. Вид у него был несколько сконфуженный, и он никак не мог честно и уверенно посмотреть мне в глаза. Казалось, что от него исходит некий электрический заряд беспокойства, и даже спиртное не помогло ему установить со мной доверительные отношения. Он отпустил пару каких-то замечаний, которые я нашел довольно безвкусными. Войдя в квартиру, он заявил:

«Должно быть, ты здесь уже расспросил кучу народа, — а позже, взяв еще один стакан, добавил: — Я, пожалуй, сделаю глоток, чтобы показать… что я не держу зла».

Я шепнул Грете:

«С ним все будет нормально?»

Но она ответила без малейшего колебания:

«Ну конечно же».

Когда вечеринка подходила к концу и гости начали расходиться, Сесиль попытался украдкой поцеловать Гарбо. Однако на ее лице промелькнуло выражение неподдельного ужаса, и она шепнула:

«Только не надо глупостей».

Однако их совместные прогулки продолжались, как и прежде. Однажды они отправились в музей Метрополитен, откуда Сесиль позвонил мисс Клегхорн, чтобы та заканчивала работу и шла домой. Под покровом зимнего вечера парочка вернулась в «Плазу».

«Мы наслаждались друг другом без всякого стыда и оглядки. Казалось, мы безгранично доверяли друг другу и с каждой новой встречей узнавали друг друга все ближе — или, по крайней мере, я все лучше узнавал Грету, и чем ближе я ее знал, тем глубже проникался к ней восхищением и уважением. Разработанная Моной тактика сотворила чудеса, и, как мне кажется, прибегнув к ней, я достиг значительного прогресса в наших отношениях».

В канун 1948 года Сесиль обедал у Харрисон-Уильямсов. Когда же его вызвали к телефону, он не скрывал своей радости.

— Вас просит мистер Томпсон.

Гарбо, вся в слезах после размолвки со Шлее, просила Сесиля прийти к ней. С позволения Моны, Битон потихоньку улизнул с обеда. Он на такси добрался до Парк-авеню, вдоль которой выстроились сверкающие огнями елки, и принялся рассматривать шумную веселую толпу. О себе же он подумал: «Я самый счастливый на свете».

Вскоре они с Гарбо уже пили виски урожая 1840 года — подарок от Маргарет Кейс — у него дома, в номере отеля «Плаза». Сесиль предложил тост за их будущее супружество, однако Гарбо ответила на это смущенной улыбкой. Затем они снова оказались в объятиях друг друга — «то безумных, то нежных», — и, как пишет Битон, «нам обоим явно не хватало рук, чтобы обвить друг друга за шею, талию, плечи». Затем парочка подошла к окну, услышав звуки сирен и автомобильных клаксонов, возвестивших наступление 1948 года. После этого, к великому удивлению Гарбо, Сесиль напился и дал волю своим чувствам.

2 января 1948 года в апартаментах-люкс № 249 отеля «Плаза» на имя «миссис Битон» была оставлена записка. В ней говорилось: «Звонил мистер Томас».

* * *

На протяжении всего января и почти весь февраль Сесиль и Гарбо находились в Нью-Йорке. В течение этого времени Битон продолжал расспрашивать Гарбо о ее жизни и она иногда отвечала с потрясающей откровенностью. И хотя он по-прежнему находил ее все более обворожительной, Гарбо порой находила его чересчур энергичным. Гарбо оставалась для Сесиля главным объектом его интересов и пылких чувств, и однажды он даже сбежал с приема, устроенного Виндзорами в отеле «Уолдорф-Астория», чтобы побыть наедине «с самой обворожительной женщиной нашего времени». Частенько Гарбо заявляла:

«Мне надо идти», — что служило приглашением к сексу.

«Я никогда не догадывался, сколько фантазий могут родиться в этот момент, причем в совершенно невообразимых оттенках настроения — сентиментальности, игривости, эмоциональности и нескрываемой похоти. Теперь до меня стало доходить, как много времени я потратил впустую и как мало я знал из того, что касается физической любви».

Гарбо нравились мужчины нежные, чувствительные к ее эмоциям. Как-то раз она сказала Сесилю:

— Я не терплю ничего резкого. Никакого стаккато.

Сесиль не верил своему счастью.

«Я был с той, о любви которой мечтал всю жизнь, и вот теперь она действительно любила меня».

Сесиль не переставал удивляться ее знанию поэзии и литературы, несмотря на уверения Греты, что она никогда ничего не читает, и ее страстному увлечению скульптурой.

— Скажи, ну разве ты не пожелал бы прикоснуться к нему

губами и ощутить, как он набухает от твоего прикосновения? — сказала как-то раз Гарбо, с восторгом глядя на обнаженный сосок одной из женских фигур, изваянных Микеланджело.

Сесиль был не менее поражен, когда Гарбо, рассуждая о гомосексуализме, сказала, что люди могут вести потайную жизнь, иметь свои будоражащие секреты, что она сама нередко поддается совершенно фантастичным влечениям, однако ее пугает, с какой озлобленной нетерпимостью относится к подобным вещам широкая публика. Постепенно Сесиль проникся еще большим восхищением не только к красоте Гарбо, но и к ее «чудесному и благородному» характеру.

Тем временем Шлее, интуитивно догадавшись, что в отношениях Гарбо и Сесиля явно что-то не так, слег с нервным расстройством. Посвятив целиком и полностью последние четыре года своей жизни Грете Гарбо, он был явно недоволен тем, как развиваются события. Путешествие в Европу не принесло ему желаемого удовлетворения, а после того, как Шлее заявил Маргарет Кейс: «Он (Битон) совершил величайшую ошибку, и я могу ему жестоко за нее отомстить», — они с Сесилем стали заклятыми врагами.

Сесиль пишет, что Шлее выиграл первый раунд, и теперь уже шел второй, и, по мнению Битона, быть, пусть даже лишь до известной степени, новичком означало существенное преимущество.

Накануне сорок четвертого дня рождения Сесиля Гарбо почему-то ужасно разнервничалась за рюмкой водки и затем поинтересовалась;

— Ты, надеюсь, не пишешь о людях.

Вот что Битон отмечает по этому поводу в своем дневнике:

«Я был в шоке и ужасно расстроился, что она вдруг спросила меня об этом, ведь это был не более чем отголосок прошлого и, как мне казалось, давным-давно позабытого.

— Ну как ты только можешь думать, — сказал я ей, — что я осмелюсь сделать нечто такое, от чего тебе будет больно? Ведь я всем сердцем люблю тебя. И я буду делать только то, что заставит тебя еще сильнее меня полюбить. Ты ведь веришь мне?

— А как, по-твоему, я бы стала вечно торчать здесь у тебя в «Плазе», если бы это было не так? Но люди слишком часто использовали меня в своих целях, столько раз они делали мне больно, выкидывали такое, чего я от них никогда не ожидала. Я знала стольких мошенников, которые хотели использовать меня в своих интересах, и им это удавалось, и хотя они повергали меня в ужас… я до сих пор не могу поверить, что это дурные люди».

Гарбо наверняка что-то предчувствовала, так как дневник

Сесиля в период с ноября 1947 по март 1948 года посвящен исключительно ей. Ни он, ни она еще не догадывались, какие неприятности ждут их впереди из-за этого злосчастного дневника, однако, являясь летописью жизни одинокой стареющей звезды и мужчины, давно потерявшего из-за нее голову и наконец добившегося воплощения своей мечты, он остается ярким и бесценным для нас документом.

А пока Гарбо сильно простудилась, но, несмотря ни на что, встречи влюбленных не прекращались. Желая друг другу спокойной ночи, они долго махали на прощание руками, а иногда Гарбо даже вывешивала из окна белое полотенце, в знак того, чтобы Сесиль поторопился. Правда, она по-прежнему посещала вечеринки и обеды, устраиваемые Шлее и Валентиной. Ее простуда переросла в бронхит. Сесиль надеялся, что Гарбо вскоре отправится в Калифорнию и он сможет последовать туда за ней. Битон даже спросил у Гарбо, как она смотрит на то, что он остановится у нее, однако услышал в ответ, что в доме все вверх дном и для нее это означало бы дополнительные неудобства и заботы.

Одним несчастливым днем после встречи со Шлее Гарбо позвонила Сесилю, чтобы сообщить ему «одну печальную новость». Шлее не дает ей житья из-за ее встреч с Битоном, и поэтому ему не стоит ехать следом за ней в Калифорнию. Сесиль был в полном отчаянии, однако при новой встрече сказал ей, что ему следует обсудить один серьезный вопрос с Хичкоком. Гарбо, подмигнув, сказала:

— В таком случае я бессильна воспрепятствовать тебе.

Сесиль проникся уверенностью, что способен физически привязать ее к себе. Вот как он объясняет это в своем дневнике:

«Неожиданно во мне пробудилась неуемная энергия, которую я подчас не в силах сдержать. Это обескураживает, интригует и даже пугает ее. Пусть это время продлится как можно дольше! Я ощущаю прилив жизненных сил, я не ведаю усталости, когда провожаю ее к себе домой».

Когда Гарбо попросила Сесиля подарить ей сделанный Бераром его портретный набросок. Битон решил, что за будущее уже можно не беспокоиться.

В середине всех этих событий, как часто случается в жизни, центральной фигурой в разыгравшемся спектакле неожиданно стала Мерседес, пригласившая Сесиля на обед. Битон дает подробный отчет об этом событии:

«В тот вечер я обедал с Мерседес. Грета дала мне несколько полезных советов, как уклоняться от любых двусмысленных вопросов, которые та мне непременно задаст из любопытства.

— Ты, главное, говори ей: «Ну, Мерседес, тебя явно заносит!», или же, глядя ей прямо в лицо, скажи: «Не представляю даже, о чем это ты».

Однако вечер оказался весьма далек от того, каким я его себе представлял. Прежде всего, я задавал Мерседес бесчисленные вопросы о ее потрясающей сестре, миссис Лайдиг, ее экстравагантных выходках, нарядах, покровительстве художникам, ее путешествиях, в которые та брала с собой собственную массажистку, парикмахершу, горничных и камердинера — общим числом семь.

Я расспрашивал ее о Мод Адамс, которая удалилась в монастырь, о Мари Доро, величайшей звезде Фромана, которая отошла от дел и теперь живет в гармонии с окружающим миром, в восторге от того, что ей уже не надо переживать из-за сцены, а вся ее жизнь теперь полна культурных интересов. Я расспросил Мерседес о ее собственной семье, и она настолько откровенно отвечала на мои вопросы, что я был очарован. За обедом мы говорили с ней о смерти Ганди (происшедшей 30 января 1948 года), о духовной жизни Индии, и поэтому до Греты разговор дошел лишь к середине обеда, и вот тогда Мерседес, все время говорившая и не задавшая мне ни единого вопроса, не проявившая малейших признаков любопытства или бестактности, попыталась убедить меня, что именно она самый верный и преданный друг, посвятивший Грете — несмотря на все обиды и несправедливости к себе со стороны последней — целых двадцать лет жизни, за что Гарбо отплатила ей черной неблагодарностью, причинив немало душевных мук. Мерседес начала с того, что заявила, будто искренне беспокоится за Грету — чувствует, что та запуталась в собственных чувствах, что ее жизнь сейчас на перепутье, и если она еще пару лет будет все так же понапрасну тратить время, то тогда ей конец, у нее не останется никаких интересов в жизни и практически никого из друзей. Мерседес говорит, что тот конфликт, который никогда не утихает в душе Греты — например, принимать или не принимать ненужное ей приглашение, когда она не желает приходить к какому-либо решению, — и является причиной того, почему она теперь отказывается сниматься. В кино — она бы с удовольствием сказала «да», но тогда ей вдруг становится страшно, и хотя она великая актриса и обладает поистине артистическим темпераментом — ей никак не удается примирить себя с миром кино. Она всегда презирала его, и даже ее самым лучшим фильмам — а она это чувствовала — недоставало значимости или качества. И даже когда ей выпадала возможность диктовать свои условия насчет тех фильмов, в которых ей бы хотелось сняться,

все равно она чувствовала себя ужасно несчастной, и однажды, когда Мерседес подвозила ее в студию, в начале съемок «Марии Валевской», Грета всю дорогу проплакала в машине, причитая: «Это же проституция!».

И все же она чувствует, что должна играть ради собственного же счастья — ведь она обладает удивительным источником рвущейся наружу энергии, — но во что же теперь превратилась ее жизнь? Рыскать по антикварным лавкам вдоль Третьей авеню в поисках мебели для апартаментов Шлее и ждать, когда же тот позвонит? и куда это ее приведет? Его жена обладает куда более твердым характером и держит мужа на привязи куда сильнее, чем Грета, еще года два — и он снова вернется к ней, и что тогда будет с Гарбо? «Это настолько не дает мне покоя, что я лишилась сна!» Мерседес рассуждала о возможном развитии событий — возвращаться ли Гарбо к разбитому корыту в Голливуд, или же ей оставаться под влиянием Шлее в Нью-Йорке, или же уехать в Европу. Я очень удивился, когда Мерседес сказала:

«Она призналась мне, что не против поселиться у тебя в Англии».

Как мне хотелось переманить Мерседес на свою сторону — я уже было умолял ее воспользоваться теми остатками влияния, что у нее еще были, чтобы Грета целиком отдалась мне, но, должно быть к счастью, я не проронил ни единого слова, в то время как Мерседес продолжала свою обвинительную речь против Шлее, по вине которого путешествие в Европу пошло насмарку, о том, каких только жутких американцев она не насмотрелась, хотя и старается по возможности избегать их здесь. Она поведала мне омерзительные истории об их пребывании в Париже.

«Это просто несправедливо — что это прелестнейшее создание эксплуатируют бессовестным образом, а она сама этого не понимает. В своей наивности она подобна ребенку, и поэтому ее всегда эксплуатируют. Взять хотя бы Стоковского: они вместе поехали в Италию, и там она обнаружила, что тот посылает в американские газеты материалы об их якобы предстоящем браке. Когда она это обнаружила, то тотчас уехала в Швецию со своей золовкой».

Затем Мерседес принялась рассуждать о родственниках Гарбо.

— Но, — предупредила она, — ни слова Грете. Это больной вопрос. Грета не любит, когда об этом говорят, но мне всегда бывает как-то горько оттого, что она не навещает мать, и я боюсь, что, когда ее мать умрет, ей придется горько раскаяться.

— Но разве мать Греты не умерла? Я думал, что ее нет в живых уже два года.

— Нет, она здесь, в Коннектикуте, живет у сына — и они ужасно несчастны, потому что Грета их не хочет знать.

Я расспросил ее о матери.

— У нее такой же низкий лоб, как и у Греты, но на этом сходство заканчивается.

Мерседес поведала мне много такого, что я слушал как завороженный, и ресторан, в котором мы с ней обедали, опустел, расставшись с Дали и другими посетителями, и мы с ней уходили последними.

«В Грете сейчас гораздо меньше меланхолии, чем в былые годы. Я как-то раз, совсем недавно, пошла проведать ее, и она спросила меня, чем бы ей заняться в жизни — она ночами не спит, размышляя, и от этого у нее портится настроение. Тем не менее Грета чувствует себя гораздо счастливее, чем раньше. Когда мы вместе жили в Голливуде, она почти каждый вечер возвращалась домой из студии вся в слезах, несчастная до глубины души, и обычно запиралась в чулане или же днями ни с кем не заговаривала. Но теперь Грета обрела стабильность — и хотя она донельзя требовательна к себе в своей работе, она никогда не бывает довольна картиной. Ей хочется, чтобы каждая сцена с ее участием была доведена до совершенства, и поэтому та никогда не соответствует ее высоким требованиям. Вот почему она никогда не ходит на предварительные просмотры. От них Грета только расстраивается или впадает в депрессию, но она весьма интуитивная актриса и не знает, что делает.

Гарбо легко улавливает среду, и хотя она понятия не имеет, как держать себя на светских балах или же в присутствии монархов, перед камерой это ей удается с поразительной легкостью. Однажды шведский кронпринц приехал в Голливуд и на банкете ее усадили от него по правую руку она все время ждала, какие нож с вилкой он возьмет, и только затем следовала его примеру. Потом Гарбо долго смеялась, когда ей сказали, что он взял не те, что положено, а она последовала его примеру. Но если бы та же сцена была разыграна перед камерой. Грета наверняка инстинктивно бы выбрала нужные вилки и сыграла бы сцену с легкостью, присущей тем, кто впитал это с детства».

Все это, вероятно, похоже на сплетни, но искренняя преданность Мерседес, полное отсутствие какого-либо себялюбия навеяли все те мысли, которые она высказала в тот вечер; в этом не было ни зависти, ни ожесточения, а только величайшее желание помочь Грете тем, что в ее силах, — а ведь у Греты не так-то много знакомых, которые могут ей помочь.

Сесиль сделал очередную серию портретов Гарбо у себя в своих апартаментах. Затем он начал новую кампанию,

воспользовавшись прибытием в Нью-Йорк Александра Корды. Поскольку Гарбо проявила некоторую заинтересованность к «Двуглавому орлу», пьесе Кокто о Елизавете Австрийской, Сесиль предложил Корде дать ей главную роль. Корда встретился с Гарбо, причем встреча прошла довольно гладко, хотя Корда отказался пригласить ее на просмотр недавно отснятой ленты «Анна Каренина», поскольку — не без оснований — не желал краснеть за Кьерона Мура в роли Вронского. Сесиль пытался поддержать Гарбо, он мечтал снова увидеть ее на экране, а кроме того — создать для нее наряды к фильму. В этот период идея создания фильма увлекла его не меньше, чем идея их возможного брака. К тому же он чувствовал себя обязанным заработать приличные деньги, чтобы обеспечить достойное существование матери.

Как и следовало ожидать. Шлее не оставил это дело без своего вмешательства, выступив, как выразился Сесиль, в роли «второго агента». Как-то вечером Сесиль проследил за Гарбо и Шлее, когда те направлялись в театр, чтобы удостовериться, к какому решению она все же придет. Гарбо было трудно с кем-то спутать: она тотчас привлекала взгляды, в своей обтягивающей голову шапочке, под которую были спрятаны волосы. И хотя Сесиль держался на почтительном расстоянии, он был уверен, что Шлее ощущает его присутствие. «Временами я чувствовал, что вибрация, волнами исходящая от меня к ней, наверняка ощущается всеми присутствующими в театре», и хотя Сесиль твердо вознамерился последовать за Гарбо в Голливуд, ей он сказал, что, по всей видимости, вскоре отплывет в Англию. 20 февраля, по чистому стечению обстоятельств, он имел возможность убедиться в весьма нелицеприятной истине.

Сесиль находился в театре и решил во время антракта позвонить Гарбо, однако телефонная кабинка оказалась занята. Когда же кабинка открылась, оттуда показался Шлее. Поначалу это обстоятельство позабавило Сесиля, однако потом он не на шутку встревожился. «Увидеть, что Шлее, как и я, влетел в телефонную будку! Это дает мне основание предполагать, что после семи лет он все так же душой и телом предан ей, а также то, что он являет собой достойного соперника, — так что битва предстоит не на живот, а на смерть! Однако награда того стоит!»

Спустя три дня Сесиль и Гарбо встретились перед тем, как ей возвращаться в Калифорнию. Они оба нарочно воздерживались от каких-то четких планов на будущее.

«Мы прошли в другую комнату, и я наблюдал, как ее прекрасное лицо обратилось ко мне, временами она поворачивалась ко мне в профиль, «profile perdue»,[5] гордо

закидывая вверх подбородок и открывая взору благородные очертания шеи. В окна лился солнечный свет, и мне ужасно хотелось оставаться там, пока не станет темно, но получилось лишь еще раз и второпях… Я услышал в комнате какой-то легкий шорох, словно ветром всколыхнуло тисненую бумагу. Оказалось, что это одевается Грета. Я запротестовал, но она сказала, что осталась лишь для того, чтобы я получил хоть каплю удовольствий от ее бедного, измученного тела».

Гарбо уехала в Калифорнию на следующий день, Сесиль же еще оставался в Нью-Йорке. Вечером накануне ее отъезда Сесиль отправился в кино со своим приятелем, актером Джеффри Туном. Гарбо позвонила, когда в комнате находился Тун, отчего разговор получился довольно натянутым. Позднее Сесиль перезвонил, и они с Гретой попрощались, задаваясь одним и тем же вопросом, как она выразилась: «Что нам уготовано судьбой».

Спустя несколько дней Сесиль написал Гарбо в Калифорнию:

«Мой ангел!

Я столько о тебе думал — без десяти шесть, когда ты еще ждала прихода поезда, в шесть часов, когда он тронулся, увозя тебя за тридевять земель, и затем в течение всей ночи и дня я представлял себе, как ты трясешься в душном и тесном металлическом ящике, как на протяжении нескольких дней, я вижу, ты будешь сидеть взаперти в этом вонючем, пыльном купе, и не сомневаюсь, что у тебя в первый же день от всего этого разболится голова. После твоего отъезда в моей жизни образовалась огромная пустота. И хотя на меня свалилось сразу так много дел и хлопот, все равно я все это время остро ощущал, как мне тебя не хватает. Когда бы я ни бродил по улицам, я видел вокруг себя все те же витрины и вывески магазинов, возле которых мы останавливались во время наших с тобой прогулок, и я проникался к тебе благодарностью за эти сладостные воспоминания, одновременно и такие печальные, поскольку уже принадлежат прошлому. Из-за этого я ощущал себя ужасно одиноким… а еще я, умирал от тоски. И теперь, когда звонит телефон, в душе у меня ничего не екнет, ведь я знаю, что это не ты. Во мне практически не осталось любопытства.

Тебя нет всего четыре дня, а мне это время уже показалось вечностью. Даже город — и тот стал каким-то не таким. Зима прошла. Скорее, он напоминает мне не Нью-Йорк, а Лондон: дни стоят темные и хмурые, вечно моросит дождь и на улицах — подумать только — хлюпает грязь! Наш укутанный снегом парк стал неузнаваем. Последние слои грязного снега и льда растаяли, и поэтому в воздухе ощущается какая-то затхлая сырость.

Откровенно говоря, мне больше не хочется здесь оставаться.

Последнее время я сделал много интересного, желая выскочить из наезженной колеи, — исследовал не известные мне уголки города и возвращался домой далеко за полночь. Как-то вечером я наведался в небольшой французский ресторан, куда мне давно хотелось тебя сводить. Это между Восьмой и Девятой авеню — пол там посыпан опилками, а повар готовит изысканнейшие французские блюда: чудеснейшие паштеты, цыплят, тушенных целиком в горшочке, великолепные крестьянские супы; и когда переступаешь порог, тебя приветствует легкий аромат французского табака. Как жаль, что этой зимой мы с тобой ни разу не наведались сюда, — не получилось, как, впрочем, и многое другое. Затем, чуть позднее тем же вечером, меня взяли с собой в греческий квартал, и мы пошли в весьма необычный ночной клуб, где мы пили узо и смотрели, как отвратительные гречанки исполняли под арабскую музыку танец живота. Посетители были, главным образом, греки, такие потные и уродливые, и столь не похожие на жителей Нью-Йорка, что создавалось впечатление, будто они каким-то чудом перенеслись сюда из бедных афинских кварталов.

Прошлой ночью — то есть уже совсем поздно — меня пригласили в одно место, где молодые люди, похожие, скорее, на стаю скворцов, танцуют в обнимку парами под мелодию музыкального автомата. По-своему потрясающее зрелище! До этого я ходил на закрытый просмотр самого трогательного и прекрасного французского фильма «Le Diable au Corps» («Дьявол во плоти») с Жераром Филиппом, тем самым молодым человеком, которым мы восхищались и «Идиоте», где он играл роль шестнадцатилетнего мальчика, влюбившегося в девушку старше себя и вынужденного взять на себя ответственность за то, что она умирает от родов. Этот молодой человек был неподражаем. Уже давно не видел я такой прочувствованной, проникновенной игры. Жерар выглядел гораздо более юным и уродливым, чем в русской пьесе. Такие фильмы получаются лишь один раз в двадцать лет., И в этом нет ничего странного. Каждая его деталь будит воображение и бередит душу. Я был глубоко потрясен, буквально тронут до глубины души — несомненно, некоторые сцены воссоединения возлюбленных были созвучны моим собственным переживаниям.

Все люди, с которыми я встречался, крайне встревожены новым наступлением русских. По мнению многих, если мы не дадим России решительный отпор, рано или поздно нас ждет второй холокост. Об этом просто страшно подумать. Мы не должны забывать, что непозволительно терять время и что, не теряя головы, мы, однако, вполне способны насладиться счастьем.

Бедный Алекс Корда вернулся вымотанным и усталым. Мне пришлось немало помучиться, работая с ним, так как он то и дело меняет точку зрения. В какой-то момент он в восторге от того, что я буду работать с Хичкоком, а в другой момент может заявить следующее:

«Нет, я ни за что не соглашусь играть вторую скрипку при ком бы то ни было. Ты у меня получишь то, что заслуживаешь».

В конце концов мы не пришли ни к какому определенному решению, если не считать того, что он мне сказал, что я, мол, всегда могу рассчитывать на крышу над головой. Он сказал, что если ты действительно серьезно намереваешься подписать с ним контракт (речь идет о фильме «Двуглавый орел»), то он, не теряя времени, приступит к работе, однако выразил сожаление, что твой агент «вынужден был уехать на Бермуды», хотя и отзывался об этом с явной издевкой. По-моему, самое главное то (и это уже можно утверждать почти наверняка), что ни при каких обстоятельствах тебе не придется играть вместе с Кьероном Муром. Я в шутку готов поклясться, что Алекс до сих пор пытается уверить самого себя и остальных, будто этот ирландский детина способен сыграть на экране чувствительного любовника. Он (Корда) ужасно упрям. Кое-кто из моих знакомых, что работает на него в Лондоне (Кларисса Черчилль), написала мне сегодня утром: «Бедный, бедный Алекс!»

Это просто трагедия, когда человек такого ума вынужден нести бремя ужасающих ошибок, так до конца и не осознав, что же, собственно, произошло. А еще большая трагедия заключается в том, что никто не способен и никогда не будет способен помочь ему — ни советчик, ни друг, — поскольку он несет на себе проклятье.

Он дал мне почитать сценарий «Орла». Это пока еще только наброски, и в них пока еще сильно заметно, что это, экранизация пьесы, — и все равно там много замечательных сцен! Вот если бы ты могла вдохнуть в них жизнь, чтобы все стало так, как нужно. Романтичная и загадочная, ты привнесешь в картину недостающую ей теплоту и человечность. Я уповаю на это. По-моему, фильм получится замечательный! Я сказал ему (Корде), что ты бы хотела, чтобы сценарием занялась миссис Фиртель, и по его мнению, это нетрудно организовать, и он непременно так и сделает, если это тебя обрадует. Хотя он сам лично считает, что вышеназванная дама не слишком сильна в диалогах.

Я ужасно без тебя скучаю. Полагаю, что ты постепенно привыкнешь к своему новому окружению, проникнувшись теплыми мыслями о преданном тебе друге.

Сесиль».

В ответ на это письмо ему в отель принесли телеграмму без подписи: «Благодарю и люблю тебя».

* * *

Сесиль задержался в Нью-Йорке еще на несколько дней, после чего тоже отправился в Калифорнию.

«Чтобы сделать мою зимнюю победу окончательной, я знал, что мне нужно увидеться с ней в ее доме. Мне было необходимо провести с ней несколько дней подряд, с утра и до позднего вечера, и чтобы при этом она не бросила взгляд на часы, говоря при этом: «Мне пора идти».

Счастье само шло в руки Сесилю. Убедив самого себя, что Гарбо хочет его видеть. Битон планировал провести у нее четыре дня. Он не торопил ее. «Бог» заказал Битону несколько фоторабот, согласившись взять на себя все его расходы. Его поездка на Западное Побережье продолжалась с 3 по 15 марта, но для журнала он работал лишь в последние дни. Когда он уезжал в Калифорнию, все еще существовала опасность того, что Гарбо не захочет его видеть или же нежданно-негаданно туда нагрянет Шлее и расстроит все его планы.

Сесиль оказался под ослепительно голубым небом Беверли-Хиллз — приятный контраст с промозглым и серым Нью-Йорком. Что еще лучше — Гарбо встретила его на автобусной остановке и отвезла к себе домой. И хотя она нервничала, не зная, как Сесиль поведет себя у нее дома, сам Битон был в восторге. Он разглядывал ее Ренуаров, ее Модильяни, ее Руо, ее Боннара и гордился тем, что оказался в «святая святых».

Сесиль обнял Гарбо.

«Ломавшись нахлынувшей на меня нежности, я заключил ее в объятия и никак не хотел отпускать. Неожиданно мы испуганно посмотрели друг на друга, не веря собственным глазам.

«Неужели тебе хочется прямо сейчас, рано утром?»

Словно в трансе, я поднялся наверх через гостиную по винтовой лестнице в ее бледно-голубую с бледно-серым и цвета бордо спальню. Мы были счастливы в нашем нетерпении, и временами нами обоими овладевали какие-то совершенно необузданные чувства. Мы так долго не видели друг друга. Наше воссоединение было бурным и страстным, а закончилось оно полным умиротворением, что пошло на пользу нам обоим. Мы спустились вниз, как нежные друзья».

Вечером, когда потянуло ночным холодом, Гарбо

приготовила Сесилю ужин.

«Когда я снова поднялся в комнату Греты, у меня не попадал зуб на зуб. Я был весьма благодарен ей за грелку в постели, а затем за умиротворяющее тепло ее обнаженного тела».

Но даже теперь Грета не позволила Сесилю оставаться у себя в спальне всю ночь. Тем не менее Сесиль был на верху блаженства.

«В этот день я вступил во врата Рая».

В течение нескольких идиллических дней Гарбо работала в саду; они вместе ездили на рынок, а по вечерам обедали вместе. Их прежние энергичные прогулки по Центральному парку сменились не менее энергичными променадами по пляжам Санта-Моники. Сесиль был счастлив. Вдыхая ароматы апельсинового дерева, он заявил: «Это все то, ради чего я преодолел столько препятствий».

Он пытался сохранить память об этих днях на будущее. Вот какие строчки появились в его дневнике:

«Если снова случится война, мне будет о чем вспомнить, а именно — об экстазе этой ночи».

На другой день он купался нагишом, хотя Гарбо, по его мнению, «была уже не столь расположена к нежностям и в более будничном настроении. Но ведь невозможно поддерживать блаженство ночи ad infinitum[6]. Когда «Драконши» (горничной Гарбо) не было дома, Гарбо тоже загорала нагишом и обливалась водой из шланга. Но страсть, затаясь, поджидала их. «После небольшой сиесты мы оба неожиданно прониклись страстным желанием совершить очередное восхождение в спальню, чтобы выпустить «животный» пар. Сила нашего желания была просто пугающей, и я дивился тому, что вот-вот неизбежно произойдет с нами. Наши порывы казались столь чисты и естественны».

Иногда она ходила в гости к кому-нибудь из старых знакомых, например, навещала чету Мендлей или актера Клифтона Уэбба. В такие моменты Сесиль чувствовал себя в тени своей знаменитой подруги. Он предпочитал проводить время наедине с ней; Битон зажигал сигару и, лежа вместе с Гарбо на софе, делал неспешные затяжки.

В понедельник 8 марта Сесиль приступил к работе для журнала «Вог», отчего у него о Голливуде сложилось следующее мнение — «вульгарный, жестокий, безжалостный». Он спешил обрести отдохновение в стенах дома Гарбо. Но в один прекрасный день пришли дурные вести — Корда сообщил телеграммой, что не сможет приступить к съемкам «Орла», однако предложил Гарбо попробовать свои силы в «Вишневом саде» у Кьюкора. Гарбо со вздохом заявила, что Чехов кажется ей нудным.

Сесиль и Гарбо разлучились только на один вечер. Гарбо обедала с Мендлями и Мэри Пикфорд, в то время как Битон имел встречу с Гарсоном Капином и Вут Гордон. В пятницу 12 марта они с Гарбо отправились в студию «МГМ», посмотреть «Анну Каренину» с ее участием.

«Ну-ну, — сказала Гарбо, — Битону наконец удалось вытащить меня в студию впервые за шесть лет».

В целом это оказалось большей неожиданностью, чем преподнесенный Кордой сюрприз. Они обедали с Залькой Фиртель и ее мужем, и Сесиль досадовал, что не сумел раньше обсудить сценария с любимой сценаристкой и другом Гарбо.

Оставшись с Гарбо наедине, он ощутил в ней некоторую тревожность и задал вопрос:

«Ты меня любишь?»

После чего они поднялись наверх, чтобы использовать последнюю возможность перед отъездом Сесиля домой.

Некоторое время спустя, когда уже опустились сумерки, Гарбо сказала:

«Ты не хочешь рассказать мне одну маленькую историю?»

«А затем пояснила, что я еще ни разу не любил ее так, как нынешней ночью, что поначалу я был грубоват, а теперь я нежен и полон понимания, и поэтому наконец-то достигнут желаемый результат. Я чувствовал себя на седьмом небе от счастья, и был доволен собой, и чувствовал громадное удовлетворение от своей искушенности в роли любовника. После этого я поторопился к себе, поскольку Грета устала. Мы нежно помахали на прощанье друг другу в темноте. И пока я перемещал в пространстве свое изнуренное тело домой, я мучил себя вопросами: удалось ли мне сделать хотя бы несколько шагов к заветной цели — браку с Гретой, или хотя бы добился ли я для нее фильма, приблизил ли ее поездку в Англию, — и должен откровенно признать, что нет. Тем не менее это была счастливейшая, идиллическая интерлюдия, и я не смогу прийти в себя от изумления, что провел несколько этих долгих безмятежных дней с моей возлюбленной, и на протяжении этих проведенных вместе часов мы всегда проявляли друг к другу тепло и участие, хотя большую часть этого времени были одержимы страстью».

Не все прошло так, как задумывал Сесиль. Гарбо не позволяла ему рисовать себя, а с тех фотографий, что ему удалось сделать, на нас смотрит женщина средних лет, лишенная свойственного Гарбо очарования. В их последний день вместе они навестили Катерину д'Эрлангер и фотографа Джорджа Платта Лайнса, а также весьма противоречивую писательницу Кэтрин Энн Портер. В своих личных беседах с Гарбо Сесиль чувствовал

себя неуверенно, оттого что она воспринимает его как несерьезную личность. «В этом есть крупица истины, поскольку до тех самых пор, пока я не встретил ее, как плохо я осознавал, что не способен глубоко заглянуть в скрытый смысл вещей».

Вернувшись к Гарбо домой, они снова остались наедине.

«Я представлял ее кем-то вроде святого Себастьяна, подвергаемого мучениям, — голова закинута назад, руки высоко подняты, пальцы сжаты в кулаки. У меня есть ее профиль на фоне красных отблесков камина на стене возле ее кровати.

Я помню, как она поворачивает голову и бросает на меня печальный взгляд. Завтра мне уезжать. Это наша последняя с ней ночь. В прихожей мы не выпускали друг друга из объятий, а затем разыграли настоящий спектакль, махая друг другу на прощанье сначала в дверях, а затем из окна. Шагая к себе, я мучился вопросом: «А не лучше ли для меня, что я уезжаю уже завтра?»

Сесиль чувствовал себя опустошенным насыщенностью их отношений. Гарбо недосыпала, усталость начинала сказываться и на ней. В отличие от Гарбо, Сесиль одновременно горел желанием и был вынужден работать, чтобы как-то поддержать мать и попробовать рассчитаться с долгами.

«Я так долго бездельничал, и поэтому, как мне кажется, мне надо серьезно браться за остальные дела. На протяжении последних четырех месяцев я только тем и занимался, что всего себя без остатка посвящал Грете».

На прощанье Сесиль купил своей возлюбленной огромный букет цветов. Он пришел к дому Гарбо.

«У меня было такое чувство, словно мне предстоит подвергнуться какой-нибудь операции, например, ампутировать ногу, однако мой голос был ясен и холоден».

Неожиданно эмоции взяли над ним верх. Грудь его дрогнула, и он разразился рыданиями. Слезы беспрепятственно катились по его щекам. Сев в такси, он бросил взгляд на Гарбо, «похожую на усталое, печальное дитя шестнадцати лет, глядевшее на меня с бесконечной жалостью и страданием». Шофер такси попытался заговорить с ним, но Сесиль никак не мог сосредоточиться. По его собственному признанию, он, подобно ребенку, сотрясался от слез и рыданий. Ему предстояло долгое путешествие на поезде в Нью-Йорк. Все время, пока Битон трясся в вагоне через всю Америку, он прилежно заносил в дневник невообразимые обстоятельства своего романа.

Выехав 15 марта из Калифорнии поездом, Сесиль через несколько дней прибыл в Нью-Йорк. Он оставался в городе еще целую неделю и отплыл в Англию 27 марта. У него нашлось время черкнуть одно письмо Гарбо. Как всегда, оно было

написано в воскресенье утром;

«Моя наидражайшая!

Поскольку я лишен возможности прилететь к тебе, мне ничего не остается, как с нетерпением дожидаться следующей субботы, когда я отплыву в противоположном направлении. Нью-Йорк — настоящий монстр. От него нигде не укрыться, с тех пор как ты уехала, этот город изменился до неузнаваемости. Пронизывающий холод уступил место душной оттепели, все выглядит каким-то грязным и уродливым, хотя существует и много такого, что напоминает мне о приятном времени, проведенном нами вместе, — парк, перекресток Пятьдесят Седьмой улицы и Парк-авеню, «Батлер-Студио», кошачий ресторан, Эрих Мария Ремарк, и даже этот ужасный Джон Гюнтер и его новая жена — и те напоминают о тебе; а еще все те места, куда мы с тобой так и не выбрались. Нет. Дни, прошедшие с прошлого понедельника, показались мне какими-то бесцельными. Возможно, Нью-Йорк в этом не виноват. Просто во мне погасла какая-то искра и я стал равнодушен к тому, что происходит вокруг. Мне давно пора назад в Англию, чтобы еще сильнее ощутить нашу разлуку. И я доверился судьбе, которая наверняка вскоре сведет нас снова.

Мне не хватает слов, чтобы выразить всю мою благодарность за то, что ты приняла меня. Это даже превзошло все мои ожидания. Это стало всем тем, о чем я только мог мечтать. Уж если у Джоан Аткинс сложилось впечатление, будто перед ней распахнул двери Ватикан, хотя на самом деле ей разрешили лишь краем глаза взглянуть на твой бассейн, ты можешь легко представить себе, что чувствовал я, когда мне было позволено разделить с тобой существование на тот короткий и одновременно бесконечный миг, когда мы с тобой проводили вместе долгие часы и жили вне отсчета времени — в совершенно ином измерении счастья. Как замечательно, что мне было дано ощущать близость к тебе и привязанность; я уверен, что нам непременно нужно ближе узнать друг друга. Можешь не сомневаться, я неизменно буду испытывать к тебе все возрастающую любовь и преданность.

Спасибо тебе. Спасибо тебе. За салаты на завтрак, которыми ты угощала меня, за голубых птиц, за прогулки у Тихого океана и в горах, за наши вылазки на Фермерский рынок, за магазин семян, за великолепные солнечные дни в твоем саду. Спасибо тебе. Спасибо тебе.

Merci infiniment!

Muchas grazias!

Danke schon!

Несмотря на этих крошечных шведских кроликов, путешествие поездом показалось мне бесконечным. В Чикаго была приятная пятичасовая остановка, когда я отлично закусил этими кроликами, а затем отправился в Институт Искусств. Здесь мне тоже, можно сказать, повезло, поскольку я застал последние часы работы выставки французских гобеленов. Они напомнили мне, как мы посетили ее с тобой, и я проникся особо теплыми чувствами к собачке и кролику, и другим мелким зверушкам, на которых ты обратила мое внимание.

Совершенно измученный и терзаемый головной болью, я в конце концов объявился в «Плазе» как раз в тот момент, когда мисс Клегхорн получала ключи от другого номера. Я экономлю на том, что снимаю сдвоенный номер на том же этаже, поэтому завтрак на тележке мне привозит все тот же Юджин, но зато счет за неделю не станет для меня непосильным бременем. Вот уже и путешествие на поезде забывается, словно сон. Но только не мои десять дней в Калифорнии.

Пару раз я позволил себе развлечься: к величайшему моему разочарованию — слабенькая пьеска о Голливуде, один весьма пикантный итальянский фильм и на редкость скучный обед у Пацевича для всех модельеров — более уродливо одетое сборище трудно себе представить. Как представители одной профессии, они были ограничены в своих интересах и даже менее терпимы друг к другу, нежели актеры.

Джордж Кьюкор открыл для себя в Англии настоящий кладезь жизненных сил и энергии и каким-то чудом умудрился переделать за столь короткий визит кучу дел. Он сказал, что Корда преисполнен энтузиазма сделать с тобой и с Джорджем любую картину. Нам и впрямь нужно вместе раскинуть мозгами. Я буду держать ухо востро, однако не стану понапрасну отвлекать тебя пустыми предложениями, если не буду до конца уверен, что из них действительно что-то выгорит. Неблагодарная работа — взвешивать все «за» и «против», не будучи уверенным, что занимаешься действительно чем-то стоящим.

Мне грустно думать о том, что тебе четыре дня нездоровилось. Ну а теперь ты должна как следует отдохнуть — пусть твое бедное тело немного расслабится. Не смей копаться в саду, пилить, красить, вносить удобрения, чтобы не напрягаться, и не позволяй никаким черно-белым треволнениям вторгаться в твою жизнь (намек на Мерседес де Акосту).

Я прекрасно понимаю, что пишу глупое, претенциозное письмо, из которого совершенно не видно, какие чувства я испытываю в душе, но тем не менее я его отсылаю, к тому же я испытал истинное счастье, пока писал его — ведь оно

предназначено тебе.

Глубоко любящий тебя и преданный тебе

Сесиль.

P.S. Кстати, у меня на борту «Королевы Елизаветы» забронирована двойная каюта, а отплытие — 27 числа. И если ты пожелаешь воспользоваться лишней койкой, я буду более чем в восторге.

Не забывай также, что из Калифорнии в Англию ходят грузовые суда прямого сообщения, и я бы мог тебя встретить по прибытии в Саутхемптон, это недалеко от моего дома.

Не забывай!

Не забывай!»

(Вместо подписи Битон изобразил пронзенное стрелою сердце.)

Глава 7
Письма из Бродчолка

Сесиль вернулся в Англию счастливым человеком. И если в октябре 1947 года он мучительно переживал из-за того, что Гарбо не отвечает на его письма, то теперь у них был роман. Для Сесиля это означало победу, покорение величайшей звезды и наиболее загадочной фигуры двадцатого столетия. Для Гарбо же это было нечто иное. Она искренне была влюблена в Сесиля, восторгалась им, ей нравилось проводить с ним время. Однако ее отношение к сексу отличалось свойственным скандинавам практицизмом — их роман никогда не значил для нее то же, что для Битона.

Имелись и другие осложнения. Например, вечно таящее в себе угрозу присутствие Шлее и неуверенность Сесиля в природе их отношений. Шлее и Гарбо. История не дает ответа на этот вопрос. Можно утверждать одно — в основе этих отношений вряд ли лежал секс. Шлее стал для Гарбо, по словам Кеннета Тайнена, чем-то вроде стража в духе Кафки, призванным сопровождать ее на таинственные рандеву. Что еще более осложнило ситуацию, так это слухи о том, что у Гарбо якобы был роман и с Валентиной. И снова никаких доказательств.

Сам же Сесиль стоял перед вопросом: чего же конкретно ему хочется. В какой-то момент его заветным желанием было сфотографировать Гарбо. Что ж, заветная цель была достигнута, результаты опубликованы, а сам Сесиль прощен. Теперь ему не терпелось помочь ей вернуться в мир кино, чтобы он мог нарядить ее в свои творения. Ведь согласись Гарбо сняться еще в одной картине, как Сесиль тотчас бы прославил свое имя. В этом стремлении хорошо прослеживаются и его личные амбиции, однако амбиции положительные и конструктивные. Битон создал немало уникальных костюмов для сцены и кино. С его помощью многие актрисы превратились в неземные создания.

На протяжении их романа Битон также с завидным упорством записывал каждое ее движение, каждую смену настроения, каждый оттенок интонации. Долгие разговоры воспроизведены почти дословно. И эти строки вряд ли вышли из-под пера потерявшего голову любовника, поскольку наблюдение предполагает некую дистанцию между людьми. Это скорее напоминает труд бытописателя, и благодаря своим дневникам, с их удивительно точными портретами современников, Сесиль несомненно удостоился места в ряду современных историков. Однако с точки зрения Гарбо это было едва ли не предательством.

Сесилю хотелось закрепить одержанную победу. Он полагал, что его жизнь обретет завершенность, если он уговорит Гарбо выйти за него замуж и поселиться в Англии. И это желание не было минутным порывом. Вот почему следующим шагом в его военной кампании стала попытка вырвать Гарбо из цепких лап Шлее и перенести ее в безопасное место, а именно — под крышу его уилтширского дома. Этой кампании было суждено продлиться два с половиной года.

Сесиль вернулся домой из Нью-Йорка в начале апреля. В Пелхэм-Плейс его поджидала телеграмма, датированная 31 марта. В ней содержалось лишь одно слово — «Сесиль», а пришла она от Гарбо.

Как и в прошлом году, он засыпал ее письмами и время от времени звонил по телефону. Со всех написанных писем он снимал копии. Самое достойное объяснение этому факту заключалось в том, что он использовал их в качестве дневника, который вел при обычных обстоятельствах. Эти письма полны новостей, и он писал их регулярно и подробно. Недостойное же объяснение заключается в том, что Битон делал наброски для будущих публикаций. Вот почему эти письма нельзя назвать перепиской в прямом смысле этого слова. С апреля по ноябрь Гарбо написала лишь одно ответное письмо, хотя время от времени она отвечала на его послания буквально одним-единственным словом.

Когда Битон не был занят Гарбо, то со всей страстью предавался работе над своей, в конечном итоге крайне неудачной, пьесой «Дочери Гейнсборо». Он также продолжал обустраивать «Реддиш-Хаус» и принимал многочисленных гостей. В своем первом письме Гарбо он докладывает о том, как пересек Атлантику по маршруту Нью-Йорк — Лондон, и обращается к ней «Mon Seul Desir».

По прибытии в Англию Сесиль умудрился довольно легко миновать таможню и вскоре уже въезжал в «новые железные ворота к парадному крыльцу моего дома». Навстречу Сесилю вышли мать и тетушка Джесси. От Битона не ускользнуло, какая работа уже была проделана и что строители еще продолжают трудиться. Битон забрался в свою новую кровать под балдахином и принялся читать верстку своего «Портрета Нью-Йорка». Он написал Гарбо, а на следующий день написал снова, начав письмо на этот раз такими словами: «Mon Angel, Le Bébé dort bien». Он сообщал, что Майкл Дафф вернулся из Нью-Йорка и его мать, леди Джулиет, считает, что у него «ужасающий вид». Дэвид Герберт все еще в Марокко, однако его возлюбленный живет в его доме в Уилтоне с собакой, которая покусала мать Герберта.

Сесиль отправился в Лондон, чтобы поработать, послоняться по антикварным лавкам и побывать в театре.

Дома, в Бродчолке, работа продолжалась:

«Как бы я хотел, чтобы ты приехала и сказала свое веское слово!

Пожалуйста, мой дорогой молодой человек, черкни хоть пару строчек своему пылкому поклоннику. Если тебе не о чем писать, будь добра, ответь хотя бы на следующие вопросы:

Ты срезала плющ?

Ты делала упражнение на канате?

Ты уже сильнее загорела после моего отъезда?

Спишь ли ты достаточное количество времени?

Тебе снятся сны?

Как поживает мадам Эльба?

Досаждали ли тебе какие-нибудь «черно-белые» неприятности?

Ты гуляешь часами вдоль берега?

А в горах?

Навещаешь ли ты время от времени ясли?

Помнишь ли ты, как упал молодой человек?

А как бедная старушка упала возле «Мейси»?

А помнишь пса на Третьей авеню?

А пса в галерее Парк Вернет?

А кошку в ресторане?

Все это для меня крайне важно. А еще я хотел бы знать, как ты себя чувствуешь и все ли у тебя в порядке».

* * *

Весна все сильнее давала о себе знать. Сесиль грелся на солнце, сидя на террасе своего дома и почитывая книги о Гейнсборо. Он понемногу писал, а также следил за прополкой сада. То есть занимался почти тем же, думал он, что и Гарбо. Страница за страницей, Сесиль описывает свою возрастающую привязанность к дому и связанную с ним деятельность. Битон метался между Солсбери и Лондоном, стал частым зрителем на театральных и балетных спектаклях. Его принимали у себя члены королевской семьи, он постоянно искал новых ощущений. Некоторые из его писем Гарбо приоткрывают нам ту жизнь, какую ей пришлось бы разделить с Битоном, живи она в Лондоне.

«Я пошел посмотреть одну пьесу о любовных увлечениях друг другом юношей. Она оказалась довольно наивной мелодрамой, но зрительская аудитория, состоявшая в основном из мужчин, у

которых, по всей видимости, не было никаких любовных увлечений после школьной скамьи, просто умирала от восторга и ностальгии. Но что сделало вечер особенно интересным, так это присутствие королевы Мэри — вся в белом горностае и бриллиантах, она сидела в ложе с братом и принцессой Алисой. Старушка за последнее время совершила набег на все небольшие театрики, и если в одном из них идет какая-нибудь скандальная пьеска, ее непременно там встретишь!

На днях я прочитал в газете: «Королева Мэри в пятницу посмотрела «Кровь кабана и Чемерицу» в театре «Болтон». Во вторник она, затаив дыхание, наблюдала, как развиваются события в спальне частной школы. Лучшей чертой этого вечера было поведение публики. Все присутствующие радостными возгласами приветствовали появление королевы-матери, после чего занавес взмыл вверх и всю оставшуюся часть вечера до самой последней минуты никто не обернулся и не принялся ее разглядывать. Я действительно впечатлен гем, как себя ведут самые обыкновенные люди. После спектакля старушка помахала рукой и улыбнулась, и ей, несомненно, понравилось, что она привлекла к себе всеобщие взгляды перед тем, как сесть в ярко освещенный «даймлер», однако на протяжении всего спектакля ей разрешили побыть обыкновенной зрительницей.

На следующий вечер я отправился в Ковент Гарден послушать «Травиату» (присутствовала принцесса Маргарита). Там у них новая «дама с камелиями» по имени Шварцкопф, у нее приятная внешность и хороший голос. Я раньше ни разу не слышал эту оперу. Это же событие!

На следующий вечер группа моих приятелей организовала небольшой обед, чтобы вернуть долг гостеприимства, оказанного нам в Париже у Даффа и Дианы Купер. Вечеринка состоялась в закрытом зальчике в «Ритце», каждый из нас заплатил по паре гиней, а Дафф в своей речи сказал, что присутствует на лучшем обеде со времен предпоследней войны. Накормили нас замечательно. Устрицы, которые намного лучше и не идут ни в какое сравнение с американскими: рыба в особенном соусе, с грибами и тому подобное; молодые побеги аспарагуса и шоколадное суфле. Вино лилось рекой. Сигары. Блещущие остроумием речи. Ты была бы в восторге. Все это чем-то напоминало 18 век, все казались такими довольными и уверенными в себе. Все это было столь не похоже на Америку, как и те устрицы.

Мои прочие встречи в Лондоне. Ленч с одним из режиссеров «Олд Вика» Джоном Баррелом. Одна сторона у него парализована, и он ходит вперевалку, как шимпанзе, — в руках у него

чудовищная сила. Театральные сплетни.

Отвратительная еда в выбранном им ресторане. Салат как подметка.

Ленч в кукольном домике и Вестминстере (с леди Уэверли). В ушах эхом отдается перезвон Биг Бена. Ужасно комичный ленч. И снова моя приятельница Диана, а также Ивлин Во, который рассказал нам, что на втором этаже косметического салона косметологи в разговорах называют своих клиентов «незабвенными»: «Еще три незабвенных для вас до обеденного перерыва, мисс Марбери». Ивлин Во говорит, что его провели по всему салону, но не позволили ничего трогать. Ивлин по натуре страшный человек, и в глубине души я боялся его еще начиная с первого дня в моей первой школе, когда он подошел ко мне во время перемены и принялся насмехаться надо мной».

* * *

Время от времени Сесиль пытался позвонить Гарбо, но каждый раз его постигало горькое разочарование. Как-то раз в середине ночи его соединили. «…И хотя было трудно произнести что-либо, кроме словечка «привет», мне было ужасно приятно услышать твой голос, проведя целых три дня в томительном ожидании», — писал Битон. Сесиль также с удовольствием наслаждался подарками Гарбо: «Эмалевая тарелка с видом Баттерси, что ты мне подарила, отлично смотрится в моем новом доме. Так же, как и зеленая с белым тарелка. Последние из белых мятных конфет уже давно совершили путешествие в мой желудок».

Вернувшись в Лондон, Сесиль был в восторге от того, что больше не зависит от Корды. Битон мог воспользоваться той относительной материальной свободой, которую он заработал, трудясь на Корду, и теперь располагал временем для написания пьесы.

Трумен Кэпот, новый приятель Сесиля, приехал к нему погостить в Бродчолк. Вот что Битон сообщил о нем Гарбо:

«По моему мнению, это удивительный человек — истинный гений, — и хотя ему всего двадцать три года, он проявляет зрелость, свойственную шестидесятилетнему. Мне он ужасно нравится, не говоря уже о том, что я нахожусь под впечатлением от его талантов, и думаю, что если он проживет дольше (а кровь у него плохо течет по жилам) и если с ним не случится чего-нибудь нехорошего, то он наверняка заявит о себе миру».

Вскоре после этого Сесиля навестил Кристиан Берар:

«У него такой пыл, такая восторженность, и я был тронут тем, как тепло отзывался он о том, что я успел сделать».

Они оба уже приготовились отойти ко сну, когда раздался телефонный звонок и чей-то голос поинтересовался, почему Сесиль не почтил своим присутствием бал-маскарад герцогини Кентской. Танцы там в самом разгаре. «Герцогиня нарядилась a la grecque[7], с нитками жемчуга в волосах, принцесса Лиз в испанском костюме, принц Филипп в полицейской форме и с наручниками».

Сесиль не мог устоять перед таким искушением. Они с Бебе отправились на машине за сто миль, по туману, в загородную резиденцию герцогини в Бакингемшире.

Наконец добрались до места, миновав бессчетное количество полицейских участков и телефонных будок. Сесиль опасался, что они опоздают, но оказалось, что бал еще сотрясали галопы и польки.

Некоторые из причесок его позабавили. Одна пожилая дама представляла «день и ночь» — одна сторона ее лица была покрыта кольдкремом, а волосы убраны назад и закручены на папильотки, другая сторона — сильно накрашена, а бровь густо подведена черным, половинки губ размалеваны помадой, а волосы — ondule (в локонах).

Бал закончился лишь с первыми лучами зари, и герцогиня Кентская настояла на том, чтобы гости заночевали у нее на диванах.

«Принадлежать к королевскому семейству подчас утомительно, но мне бы хотелось на этот раз воспользоваться этим преимуществом и приказать вам, чтобы вы у меня остались», — сказала герцогиня.

Вскоре она присоединилась к гостям вместе со своей красавицей-сестрой Ольгой, обе с распущенными волосами. Компания расположилась в гостиной, от души угощаясь конфетами и весело болтая о прошедшей вечеринке. На следующий день, даже не переодев своих смокингов, Сесиль и Бебе пустились в обратный путь. В Бродчолке их уже поджидала миссис Битон.

«Матушка сказала, что Элси, наша горничная, не обнаружив нас утром в своих комнатах, ужасно переполошилась.

— Она у нас такая нежная, чувствительная барышня, — добавила матушка».

В Лондоне Сесиль встретился с Джорджем Кьюкором, который прибыл туда на съемки фильма «Мой сын Эдвард».

«Он принялся рассказывать мне, что Дель Гидиче хотел снять фильм с твоим участием, что «Сафо» Альфонса Доде, но его

мнению, подойдет как нельзя лучше, но когда я сказал, что, как мне кажется, возникнут осложнения с цензурой, нас прервали…»

Собственно говоря, во всех письмах Битона к Гарбо содержалось предложение приехать в Англию.

«Дорогой сэр!

Лето проходит так быстро — на дворе уже ослепительный июнь, и я жду не дождусь, когда же ты, наконец, приедешь ко мне; ну почему бы тебе не приехать сюда на пару месяцев, просто посмотреть, как тебе у меня понравится, и если понравится, то почему бы не остаться здесь навсегда?»

Сесиль уже понемногу начал терять терпение и даже сгоряча отправил довольно резкое письмо, когда неожиданно ему пришел от Гарбо ответ, в котором та благодарила его за приглашение. Она писала Сесилю, что очень устала — не исключено, что после вылазки за покупками в «Блюмингдейлс». Она подумывала о том, не съездить ли ей на время в Калифорнию, а затем снова вернуться в Нью-Йорк, а потом, может, даже отправиться за границу, когда схлынет летний поток туристов. Письмо было довольно туманным, но в нем, по крайней мере, ясно и четко указывалось, что в случае, если Гарбо уедет в Калифорнию, ей можно писать через Гарри Крокера, Норт-Бедфорд-Драйв, дом № 622. Письмо заканчивалось вопросом, не был ли Сесиль в числе тех, кто посетил Монтекатини.

Гарбо не приехала. Вместо этого Битон вернулся к обычной лондонской рутине. Там он имел встречу с Теннесси Уильямсом, заметив при этом, что у того прибавилось уверенности в себе.

«Глаза попросту восхитительны, но вот губы просто ужасны. Вокруг него полно поклонников. Принимает их восторженные комплименты с достоинством, однако душой и телом стремится побыть в одиночестве, где можно вести себя, не обращая внимания на приличия. У него выходит книга рассказов, она будет напечатана частным образом. Как мне кажется, все будут ужасно разочарованы, потому что темы затронуты весьма опасные (там есть один рассказ под названием «Черный массажист» — и впрямь чудовищная история), однако он полагает, возможно весьма наивно, что эти рассказы станут читать лишь те, кто способен оценить их по достоинству».

Что весьма примечательно, Сесиль не ответил на письмо Гарбо от 25 июня. Более того, он выждал более трех недель, прежде чем писать снова. Вероятно, он обиделся, узнав, что она не собирается к нему, и соответственно решил прибегнуть к совету Моны Харрисон Уильямс и несколько остудить свой пыл. Когда же он все-таки написал, то там говорилось, что все это время он занимался прополкой, хотя до этого подобного рода

занятия ни разу не мешали ему изливать свои чувства на бумаге.

В Лондоне светский сезон был в самом разгаре. Сесиль окунулся в него с головой. Он устроил ужин в честь герцогини Кентской, на котором в числе гостей оказалась Хелен Хейс. Сесиль нанес визит Эмеральд Кьюнард, которая была уже при смерти. Битон по-прежнему допытывался у Гарбо, когда же она приедет к нему:

«Когда же ты приедешь? Я разговаривал с Джоном Сутро, и он сказал, что пока что никаких съемок не намечается, однако он отвечает за проект «Жорж Санд» и даже предложил мне почитать сценарий. Но я так его и не получил. Корда хочет, чтобы я в марте следующего года занялся двумя фильмами: «Повесть двух городов» по Диккенсу и «Тэсс из рода Д'Эрбервилей», с Селзниковой дамочкой в главной роли. Ни то ни другое особенно меня не прельщает, и может, из всего этого в конечном итоге так ничего и не выйдет…»

* * *

Сесиль подумывал о том, а не съездить ли ему в Танжер.

«Возможно, я все-таки съезжу туда, чтобы немного развеяться среди этих арабов в Марокко. Разумеется, только в том случае, если ты не приедешь, — или мне вообще никуда не стоит собираться?»

Наконец-то наступил июль, и новости об эскападах Сесиля достигли берегов Франции. В Париже Элис Б. Токлас «коротала время одна» на рю Кристин, принимая гостей или сочиняя письма старым друзьям. 22 июля она накропала одно из таких писем Самуэлю Стюарду:

«Ты помнишь Сесиля Битона? Он безнадежно влюблен в Грету Гарбо, а герцогиня Кентская, соответственно, в него. Как тебе понравилась эта новость — я от всех узнаю понемножку».

Пока Гарбо пребывала в нерешительности, Сесиль вырвался в Париж, чтобы погостить немного у леди Дианы Купер в ее любовном гнездышке в Шантильи. Здесь он застал свою старую приятельницу тоскующей по былому веселью посольства. Вместе с Бебе Бераром они съездили на просмотр новой коллекции Диора, после чего Битон отправился к Элси Мендль на виллу Трианон в Версале, где ему не давал покоя вопрос, не занимает ли он случайно ту самую комнату, которую когда-то «почтила своим присутствием» Гарбо.

Вернувшись в Англию, он провел уик-энд в гостях у маркиза и маркизы Чолмондели в Хьютоне и был поражен оказанным ему

гостеприимством, а также отменным вкусом своих хозяев. Битон спал в постели за бархатным пологом абрикосового цвета, который, без сомнения, украсил бы собой алтарь собора Св. Петра в Риме.

«Кровать столь велика, что я чувствовал себя в ней довольно одиноко и подумал, что было бы неплохо посетить это место в один прекрасный день вдвоем».

Будучи в гостях еще в одном шикарном доме, Сесиль читал сценарий «Жорж Санд», сделанный Залькой Фиртель: все надеялись, что Гарбо все-таки согласится сняться в нем.

«Весьма сожалею, но вынужден заявить, что, по-моему, он безнадежен. В нем не чувствуется никакой реальности, действующие лица безжизненны, а сюжет напрочь отсутствует. Боюсь, что это безнадежное дело. Лично я сильно сомневаюсь, что в него еще можно вдохнуть жизнь. Какая жалость! Как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь сочинил настоящую историю!»

Вернувшись в Бродчолк, Сесиль не находил себе места и вскоре снова на несколько дней отправился в Париж. Его по-прежнему не отпускали мысли о поездке в Марокко. С другой стороны, рассуждал он, почему бы ему не остаться дома и не заняться чтением? Ближе к концу августа Сесиль несколько раздраженно писал Гарбо:

«Моя дорогая Грета!

Поскольку ты не балуешь меня длинными письмами, бессмысленно спрашивать тебя, не донимают ли тебя газетчики, не ездила ли ты куда-нибудь, не завелись ли у тебя какие новые знакомые, не досаждают ли они тебе пустыми разговорами, в исправности ли твой двойной бойлер, стоят ли в вазах в твоей голубой спальне герани. По всей видимости, нет смысла выяснять у тебя, виделась ли ты с приятельницей Констанс Кольер или с Азалией Мамулян, поменяла ли ты абажур на розовой лампе, сделала ли фотографию, установив камеру на полочке в коридоре, помогала ли тебе мадам Альба написать список покупок и была ли ты в конечном итоге вознаграждена за то, что внесли в почву все эти мешки с навозом…»

Однако Битону не пришлось скучать слишком долго. К нему в Бродчолк приехал Луциан Фрейд, малоизвестный художник двадцати шести лет.

«Юный художник, внук самого великого Фрейда, приехал нарисовать мой портрет. Я был вынужден часами сидеть на лужайке, умирая от скуки и страдая от неподвижной позы, не зная, что мне делать с моим ртом. Этот юноша написал замечательный, весьма точный портрет Винсента Шиана. Я остался не слишком доволен, но попытался побороть в себе

комплекс неполноценности. Юноша просто очарователен и приехал столь неожиданно. Мне было приятно, что он остался погостить у меня несколько дней, делая наброски собаки, летнего домика и яблоневых ветвей в саду».

* * *

Сесиль в ту пору трудился над своей пьесой «Дочери Гейнсборо» и от одного из своих друзей получил немало критических отзывов относительно своих талантов как драматурга. Наконец он получил кое-какие положительные известия о Гарбо — правда, из газет.

«Я прочитал в газете, что ты подписала контракт и собираешься сниматься в фильме. Возможно, это правда. И если это так, то, как я понимаю, ты сейчас занята приготовлениями, упражняешь свои лопатки и висишь на трапеции. Мне только остается надеяться, что фильм получится замечательный, что это даст тебе возможность приехать сюда ко мне и провести несколько бесконечных мгновений со своим возлюбленным».

Имя Гарбо снова промелькнуло в колонках новостей в сентябре, когда в Лос-Анджелесе она подала первые бумаги на предоставление ей американского гражданства. К этому времени журналисты уже пронюхали, что она, возможно, снимется в роли Жорж Санд. Гарбо пришлось появиться на публике, чтобы заполнить необходимые документы в стенах правительственного учреждения. Она прибыла туда в черных брюках и белой рубашке, заполнила бланки, ответила на пару вопросов и снова уединилась в своем доме в Беверли-Хиллз.

В ноябре Сесиль вылетел в Нью-Йорк. Он несколько раз встретился с Гарбо и перед самым отъездом пришел к ней в «Гемпшир-Хаус», чтобы показать добрую сотню фотографий своего дома.

«Она была очарована. Мое предложение остается в силе, и Грета может в любую минуту дать согласие. И вообще она была мила и доверчива».

По приезде домой Битон писал Гарбо:

«Просто не верится, что я наконец-то вернулся в свое милое уютное гнездышко и все вокруг меня такое знакомое и привычное. С тех пор как я писал тебе в последний раз, я совершил гигантское путешествие до Нью-Йорка, имел счастье пару раз, пусть даже мимолетно, лицезреть тебя и успешно преодолел Атлантику в обратном направлении…»

Дома Битон вскоре обнаружил, что впереди его ждет унылая

английская зима. Он сделал вылазку в Брайтон, чтобы посмотреть «Возвращение блудного сына» с Джоном Гилгудом — спектакль, для которого он сам создал декорации. Дэвид Герберт прибыл в Уилтшир с новым другом. Майкл Дафф тоже нашел себе нового приятеля.

Леди Джулиет привезла с собой Сомерсета Моэма и Теренс Раттиган. Чета Оливье обивала порог дома Сесиля, требуя, чтобы тот поскорее сделал эскизы костюмов для их австралийского турне.

Сесиль намеревался, как обычно, вернуться на зиму в Нью-Йорк, но сначала его задержала забастовка докеров, затем туман и, наконец, королевское семейство. 14 ноября в Букингемском дворце принцесса Елизавета родила сына, принца Чарльза, и Сесиль ожидал, что его вызовут во дворец, чтобы сделать первый официальный портрет матери и сына. Однако, поскольку король был серьезно болен, этот вызов тоже последовал с опозданием.

Сесиль писал: «Никаких королевских младенцев на алых подушках, ни единого звука из дворца, но, как мне кажется, все только и заняты тем, что пытаются как-то занять и отвлечь Его Величество. Он никогда ничего не читает, и ему нечем занять себя. Как это тяжко — просто сидеть: сидеть с младенцем или же с королем — так, что некогда даже присесть и попозировать перед С.Б.».

Тем временем Оливье донимают Битона своими требованиями, отчего тот начинает жаловаться, кстати уже не впервые, что театральные актеры жуткие, испорченные эгоисты. Неожиданно для Битона «Дочери Гейнсборо» оказались в центре внимания, а Бинки Бомон даже поинтересовался, не хотел бы он, чтобы одну роль сыграл Ральф Ричардсон, а другую — Вивьен Ли. Сесиль, наконец, получил вызов во дворец, где сделал несколько снимков юного принца Чарльза. Однако мысли его по-прежнему были устремлены к Гарбо.

«А теперь я хочу задать тебе один вопрос. Как поживает твой бордовый халат? Или у тебя уже другой? И сколько мне осталось ждать до того момента, когда я трижды позвоню в звонок и мой славный шведский дружок откроет мне дверь? Превратится ли к тому времени тонюсенький ломтик луны, который украшает сегодня небо, в настоящий круглый сыр? Как мне кажется, он будет лишь слегка кривоват…»

Сесиль отплыл в Нью-Йорк на борту «Куин Элизабет» в середине декабря. Не успел он сойти на берег, как сразу же позвонил Гарбо. Сначала линия была занята, а потом никто просто не поднимал трубку.

«И вот теперь в начале зимы я оказался в том же самом

положении, что и три года назад, когда она то брала трубку, то нет».

Гарбо позвонила ему чуть позднее, но Сесиль притворился, что не узнал ее голос.

«Это что, какой-то японец?»

Он упрекнул Гарбо за то, что та не отвечала на его звонки. Когда же она заявила, что ее не было дома. Битон потребовал:

— Ты готова поклясться?

— Я никогда не клянусь. И прекрати вести себя, как Мерседес!

Тем не менее на следующий день они обедали вместе в изысканной закусочной, которая, однако, Сесилю не понравилась. Правда, Гарбо, по его мнению, была в прекрасном расположении духа, очень мила и доверчива и, казалось, не замечала его холодности. Постепенно Битон тоже оттаял, и с каждым днем их близость становилась все сильнее.

«Просто удивительно, что люди могут быть так близки друг с другом, как мы с ней, на протяжении столь долгого времени и тем не менее постоянно становиться еще ближе».

Однако одним воскресным утром Сесиль попытался строить планы на понедельник, но Гарбо выразила туманное несогласие.

— Но почему? Ты же сказала, что можешь.

— Можно подумать, тебе не известно, почему я не могу. — (Намек на Шлее).

— С твоей стороны довольно жестоко просто так, под настроение, встретиться со мной, а потом, мол, будь добр, поступай как знаешь.

— Боюсь, что это единственно возможный способ.

— Может, мне лучше вообще с тобой не встречаться?

— Все слишком сложно. И это не дает еще покоя — боюсь, что скоро от всего этого у меня будет нервный срыв.

— Что ж, прекрасно. Я пойду, как обычно, прогуляюсь по парку, — и телефонная связь резко оборвалась.

* * *

Сесиль отправился на прогулку в Центральный парк вместе с Джоном Майерсом, однако все его мысли были сосредоточены на одном — как ему избавиться от соперника. Он не стал звонить Гарбо, но в воскресенье утром зазвонил его телефон:

— Ну как, ты избавился от твоего дурного настроения?

Вечером они встретились, и Сесиль заявил:

— Я понимаю, как должно быть трудно тебе, и я ценю твою

преданность Шлее — я понимаю, что нельзя просто так взять и бросить человека, — но человеческим взаимоотношениям свойственно непостоянство, и ты не должна губить свою карьеру и жертвовать собой ради того, кто убивает тебя своим занудством.

Гарбо, на первый взгляд, отнеслась к этому заявлению весьма сочувственно, однако перед Сесилем осталась одна нерешенная проблема. Гарбо хотелось приехать в Англию, но она ни за что не решится сделать это в одиночку. Ну а если же она приедет вместе со Шлее, то его шансы встретиться с ней равны нулю. Тем не менее, по мнению Битона, его визит закончился на оптимистической ноте, и, полный счастливых воспоминаний, он отплыл в Лондон И февраля 1949 года.

«Грета вышла из такси на Пятьдесят Восьмой улице и остановилась на тротуаре, держа в руках крошечный букетик гвоздик, который она выхватила из моей вазы. Она махала мне рукой и широко улыбалась. Она стояла, широко расставив ноги посреди слякоти и луж от недавнего ливня, в шубе и полицейской фуражке. Мы с ней так приятно провели вечер — в последнее время у нее вошло в привычку приходить ко мне в любое время дня и ночи, даже в присутствии секретарши.

Сбор гвоздик состоялся как раз в тот момент, когда я уже выезжал из номера. Грета пришла ко мне в шесть. Мне еще предстояло отправить на судно горы всяких узлов и багажа. Секретарша как раз собиралась уходить, когда Грета сказала:

«Знаешь, кажется, они все тебя любят. Например, этой нравилось на тебя работать».

Мисс Харрисон покинула нас. Я повесил на дверь табличку «Просьба не беспокоить». Грета сказала:

«Мне будет тебя не хватать».

У моей комнаты был уже нежилой вид, но вокруг валялись разбросанными всякие бумаги — и жизнь взяла свое. Мы были счастливы, словно дети.

Интимный ужин (в «Колонии»), во время которого она говорила о том, что карьера ее не совсем удалась — какие высокие надежды она лелеяла в душе еще в юности, когда находилась во власти Морица Стиллера (разумеется, она не назвала его по имени). Ей так и не удалось избавиться от его влияния, потому что в ее семье никто не интересовался тем, что увлекало ее. Для нее знакомство со Стиллером стало настоящим откровением. Она говорила о том, как людям следует вести себя. И если ее сексуальные желания направлены в конкретную сторону, то они ни в коем случае не должны становиться достоянием всего мира; особенно она подчеркнула то, что между

людьми возможен лишь один вид истинно человеческих отношений. Часы неумолимо отсчитывали минуты. И вот нам снова надо шагнуть в холодную ночь, чтобы вернуться в отель, а затем успеть к отплытию… Вот и кончилась еще одна идиллическая зима. В какой-то момент я был готов расплакаться. Однако за обедом восхитительное «Шато Икем» привело нас в веселое расположение духа, и мы оба улыбались, смеялись, шутили — даже во время расставания я ощущал себя счастливым».

* * *

Сесилю судьбой была уготована одна долгая разлука. Ему не раз казалось, что он вот-вот увидит Гарбо в Европе, однако им не суждено было встретиться вплоть до следующего октября. И снова ему пришлось прибегнуть к переписке.

«Моя возлюбленная Грета!

Этот блокнот поджидал меня в ящике столика у моей кровати все это время, пока я был в Нью-Йорке. И вот теперь он — звено в цепи между тобой и мною, вместе с воспоминаниями о том времени, что мы провели вдвоем. Но они слишком быстро становятся достоянием прошлого. Всего каких-то десять дней тому назад мы помахали на прощанье друг другу посреди слякоти на Пятьдесят Восьмой улице, когда ты стояла, широко расставив ноги, прижимая к себе тот жалкий букетик гвоздик, и я, в такси, что есть силы сжимал в руках подаренный тобою лосьон для волос. Всего десять дней назад — а кажется, будто прошла целая вечность».

* * *

Вояж прошел гладко, погода стояла солнечная, и вскоре Сесиль сошел на берег Англии. Он отправился прямиком в Бродчолк. Там первые проглянувшие подснежники напомнили ему, что на дворе весна. Но были и дурные вести — в Париже скончался Кристиан Берар.

«До меня дошли ужасные сообщения о его смерти в Париже и о чудовищном поведении окружавшей его толпы. Он скончался в театре — подобно Мольеру, работая над своей последней постановкой (ты видишь, дорогая, что я изо всех сил пытаюсь писать разборчиво, но пальцы мои немного затекли и почерк не так хорош, как вначале), — его отвезли к нему домой и положили

в гроб, а в это время родственники и знакомые пришли делить то, что после него осталось, а какой-то плохой художник пристроился где-то сбоку и сделал его портрет, пока он покоился на подушке, напоминая, по словам другого приятеля, убиенного безумного короля. Мой бедный нежный Бебе — человек огромной души, тонкая, отзывчивая натура».

И снова Сесиль переключился на Гарбо:

«А как у тебя дела, моя сладенькая?

Мне не дает покоя вопрос, каковы результаты твоих проб у Гиона. Как твое настроение? Надеюсь, что хорошее? Я с удовольствием провел с тобой время в Нью-Йорке и ужасно счастлив, что мы достигли с тобой еще большей близости. Я в восторге от проведенных с тобой вечеров, от наших вылазок в «Мейсис», «Пек-энд-Пек» и в обувной магазин. Ходить с тобой по магазинам было для меня истинным удовольствием, и теперь у меня есть циновки из Чайнатауна, постельное белье с Пятой авеню, серые галстуки, серебряные тарелки и пепельницы, которые навевают на меня приятные воспоминания. Мне понравилась наша утренняя прогулка под дождем, как мы ходили с тобой в кино (один раз не совсем удачно, но тогда мы оба были в плохом настроении, а в другой — отлично, — возможно, мы оба расслабились). Мне нравились вечера у Реймсов и один вечер у Неллы Уэбб. Помни, что твое солнце находится в созвездии Девы — ты рассудочна, все подвергаешь пристрастному анализу, ты всегда стремишься к совершенству, ты лидер, ты неподражаема. У тебя замечательный «ментальный ритм» (!) И если ты задумаешь отправиться в путешествие в мае или июне, то у тебя начнется семилетняя фаза великолепного прогресса. 13 июня тебя ждет огромный сюрприз, и на ближайшие 7–14 лет весь тот магнетизм, что накопился в тебе, выплеснется наружу, так что не забывай своего С.Б., ведь у вас с ним много общего. И он готов зарабатывать для тебя. Не забывай также, что ничто (во всяком случае, если верить Нелле Уэбб) не мешает тебе выйти за него замуж. А теперь перечень благодарностей (дорогая, у меня уже затекли пальцы); спасибо тебе за твои слова, что я больше не кутаюсь так, как раньше;

спасибо, что отговорила меня купить ту коричневую шляпу;

за то, что сказала, что я стал лучше во многих отношениях;

спасибо, что помогла мне выбрать те платья;

спасибо, что позволяла мне расчесывать тебе волосы;

спасибо за твое влияние на меня.

А вот перечень того, чего я с нетерпением жду:

услышать, что тебе лучше, что ты пользуешься бамбуковым карандашом, что ты собираешься приехать ко мне этим летом,

что апельсиновые деревья не погибли под снегом, что мадам Альба хорошо к тебе относится.

А вот перечень того, чего мне страшно недостает.

Наших телефонных разговоров, когда мы желали друг другу доброго утра или спокойной ночи.

Наших встреч в «Плазе» у «Тиффани» на углу Пятьдесят Восьмой.

Наших «сборищ» на чьем-нибудь дне рождения, водки на Новый Год, золотых безделушек: браслета, цепочки на твоей левой руке и часов. Тебя.

Но это лишь несколько банальностей, о которых я осмелился написать. Существует немало еще.

А теперь я должен заканчивать, поскольку меня ждет Лондон, и боюсь, как бы мой отвратительный почерк не слишком утомил тебя.

Мое благословение, любовь моя, любовь моя, от твоего друга, спутника и возлюбленного

Битти».

Сесиль отправился посмотреть чету Оливье в «Школе злословия», в постановке которой он тоже принимал участие, и, по его мнению, знаменитая актерская пара была «несколько скаредна в проявлении щедрости». Позднее он довел это до настоящего скандала, после чего Оливье на протяжении многих лет не разговаривали с ним. Битон по-прежнему был увлечен написанием собственной пьесы, однако конкретных планов ее постановки пока не имел. Вот что он писал:

«… Итак. Я прочитал «Адольфа», ведь, по твоим словам, «они» считают, что из этого получился бы фильм с твоим участием. Это замечательная книга и написана в таком чудесном сочном стиле — в ней нет ничего лишнего, а как прекрасно даны любовные сцены, — что тотчас навевает на меня воспоминания о наших с тобой встречах.

Что касается этого замысла — твоего возвращения на экран в роли женщины, которая на протяжении всего фильма пребывает в ужасной, все более унизительной ситуации, так как сильнее любит своего возлюбленного, нежели он ее, — то он мне кажется… не совсем подходящим. Собственно говоря, очень трудно найти то, что делает фильм настоящим произведением искусства. Надеюсь, они более не тратят твое драгоценное время на разговоры о нем».

Жизнь Сесиля продолжалась в том же русле — бесконечные поездки в Лондон и посещение театров. Он вырвался на юг Франции погостить с Сомерсетом Моэмом на вилле Мореск. В

Париже Сесиль навестил Бориса Кохно, приятеля Бебе — который показал несколько ранних портретов Берара, — а также посетил выставку часов в Версале.

Остановившись в «Ритце», Сесиль был шокирован, услышав, как в соседнем номере какая-то пара занималась любовью.

«Должно быть, их окно открывалось во двор, и мне были слышны все их отвратительные стоны, и все это угнетающе на меня действовало. Я подумал, как должно быть ужасно, что люди подвергают друг друга таким мучениям… Судя по всему, женщина была совершенно несчастна — а может, всего лишь кокетлива и глупа, — но на протяжении долгого времени она всхлипывала и стонала, словно ей делали больно, а затем принялась кричать: «Прекрати! Прекрати!» Я был готов выскочить из постели и крикнуть ей во двор, чтобы она прекратила свои вопли. Все это было просто омерзительно, и после этого я не мог без отвращения смотреть на гостиничный коридор: мне казалось, что там за каждой дверью происходят подобные омерзительные сцены. Барбара Хаттон жила на том же этаже, и мне казалось, что если я остановлюсь, то услышу, как из-за ее двери доносится это приказание: «Прекрати! Прекрати!»

Сесиль жил надеждой, что в один прекрасный день он получит «добрую весточку, написанную золотым бамбуковым карандашом». Вместо этого он был вознагражден телеграммой от Гарбо, в которой говорилось: «С добрым утром».

Пасха праздновалась буквально накануне первых по-летнему теплых деньков. Сесиль докладывал последние новости о Мерседес:

«Черное-с-Белым» написала мне из Парижа, спрашивая, нет ли от тебя каких-нибудь вестей. Будь даже так, я, пожалуй, оставил бы их при себе. Как только речь заходит о тебе, я тотчас делаю непроницаемое лицо, словно какой-нибудь китаец. Я регулярно просматриваю колонки новостей, на тот случай, если ты уже приняла какое-либо решение насчет картины, но больше всего на свете мне бы хотелось, чтобы ради меня ты почаще бралась за бамбуковый карандаш…»

Сесиль продолжал свою одностороннюю переписку на протяжении всего мая, а в июне ринулся в Париж, «и пусть все летит в тартарары». Битон понимал, что, скорее всего, нарвется там на Мерседес. Что весьма характерно — будучи с Гарбо в хороших отношениях, он воспринимал Мерседес как угрозу; но стоило ему поссориться с Гарбо, как Мерседес тотчас превращалась в союзника.

Начиная с апреля 1949 года Мерседес жила в квартирке на Кэ-Вольтер. Никогда не задерживаясь в городе подолгу, имея

привычку по-являться там, где имелось здоровое сочетание культурной жизни и общения. Мерседес была рада ощутить себя парижанкой. А кроме того, у нее начался новый роман с живущей в Париже американкой по имени Поппи Кирк.

Глава 8
Мерседес и Поппи Кирк

Ближе к пятидесяти Мерседес превратилась в располневшую, однако элегантную даму средних лет. Она носила все те же широкие черные накидки с капюшоном, как у разбойника с большой дороги, остроносые туфли, а шляпа-треуголка, можно сказать, превратилась в ее символ. Сибилла Бедфорд говорила о ее «кубинской пиратской элегантности», особо подчеркивая «поразительную внешность, щеголеватый шик и в то же время удивительную женственность — никаких вам галстуков и воротничков». Та же Сибилла Бедфорд добавляет: «Она словно пришла из драмы плаща и кинжала. А еще вполне могла сойти за героиню музыкальной комедии. Ей не хватало только шпаги».

Роман Мерседес и Поппи Кирк начался осенью 1948 года и продолжался до 1953. Поппи, она же Мария Аннунциата Сартори, родилась в марте 1899 года. Она была дочерью — не исключено, что приемной — Виктора Сартори, американского вице-консула в Ливорно, по происхождению итальянца, родом из Филадельфии. В первый раз Поппи вышла замуж очень рано, в Париже, по настоянию своей семьи. Ее мужем стал вечный неудачник, туринский адвокат по имени Марио Монтерецца, на пятнадцать лет ее старше. Их сын Виктор родился в 1923 году.

В Париже Поппи подрабатывала манекенщицей. Среди ее приятелей был Жан Кокто, который всегда относился к ней с пониманием и всячески помогал, хотя и довольно презрительно отзывался о ее работе. Позднее Поппи работала на Скиапарелли и «Русский Балет». Она обожала все китайское — ширмочки, лакированные шкатулки, мебель, тарелки, увлекалась китайской поэзией и философией, питала неподдельный интерес к восточным религиям, в частности к буддизму.

После того как ее первый брак распался, Поппи на время удалилась в свою небольшую виллу у Санта-Маргариты. В 1935 году она вновь вышла замуж за Джеффри Кирка — довольно суховатого английского писателя-интеллектуала и журналиста. Ей тогда было 28, ее супруг — на несколько лет моложе. Какое-то время он служил в «Сикрет Сервис», и хотя мог и дальше предаваться богемной жизни в обществе литературных мужей, однако в 1939 году поступил на службу в Министерство иностранных дел и даже поднялся до ранга второразрядного посла. Поппи провела часть войны в Лондоне, где, засучив рукава, кашеварила в столовой, устроенной в Национальной Галерее.

Случалось, что она со своими подручными кормила в день до 2400 человек.

Сибилла Бедфорд вспоминает, что «Поппи со всей серьезностью относилась как к благотворительной деятельности, так и к вечеринкам с коктейлями. Интеллектуальной ее не назовешь. Она была страшной любительницей пофлиртовать и всегда умела с поразительной ловкостью овладевать душами и умами людей».

Работая у известного кутюрье Молине, Поппи была известна как «мадам Поппи». Еще в молодости у нее было несколько романов с женщинами, а когда ее первый брак распался, на помощь ей пришла Полина Терри, наполовину индуска, одна из дочерей магараджи Дилипа Сингха. После Полины последовала одна дама по имени Гильберт, которая была не прочь поселиться с Поппи в Италии. В последующие годы Поппи жила с княгиней Дилкушей де Роган, дочерью британского офицера, майора А. Т. Ренча, служившего в Индии (отсюда ее странное имя), и американки. В 1922 году Дилкуша вышла замуж за князя Карлоса де Рогана, потомка древнего французского рода. Со свадебной фотографии на нас смотрит смущенная невеста с черными, слегка навыкате глазами, вся укутанная в серебристую парчу и брюссельское кружево. Она слегка испуганно льнет к своему жениху — подтянутому, щеголеватому молодому человеку с гладко зачесанными волосами и гвоздикой в петлице. Чета поселилась в Австрии, но в 1931 году Карлос разбился насмерть, врезавшись на машине в дерево. Дилкуша вскоре переехала жить в Париж, где работала в сфере haute couture[8] и стала неотъемлемой частью кружка Элис Б. Токлас. Последняя считала ее «сквернословкой», однако с удовольствием пропускала стаканчик «Кровавой Мери» на дне рождения «Дил».

Поппи утверждает, что Дилкуша отрицательно относилась к ее работе и никогда не понимала ее до конца. Совместные уик-энды проходили тоскливо, если не считать редких концертов.

«Я никогда не допускала Дилкушу в святая святых своей души, — писала Поппи. — Собственно, ей самой этого не хотелось, и она никогда не страдала от того, что я ей чего-то недодаю… Сказать по правде, я никогда толком ей не принадлежала».

Именно Дилкуша подарила подруге Мерседес, приведя ее с собой на обед к Поппи. Мерседес было известно о романе Дилкуши. Вот что она писала об одной из встреч;

«Когда мы пришли, Поппи была в кухне. Она крикнула нам, чтобы мы снимали пальто. Поскольку я очень чувствительна к голосам, мне нравится, когда я сначала слышу голос и лишь

затем вижу человека, которому он принадлежит. Голос у Поппи просто очарователен, и ее английский звучит по-английски, хотя она родилась и выросла в Италии. Комната, в которой мы находились, освещалась одними только свечами, и когда она вошла, то на какое-то мгновение я подумала, что у меня не все в порядке со зрением или же я вижу сон. На ней был надет тот самый китайский халат, что и на женщине из моего тибетского сна — собственно говоря, это была та самая женщина. У нее были те же самые узкие полузакрытые глаза и та же самая едва заметная улыбка. Я застыла как громом пораженная с ее появлением, и даже с трудом обменялась с нею рукопожатием. Она же была занята приготовлениями обеда и поэтому не заметила моих эмоции, однако, когда мы садились за стол, она сказала:

— Я всегда хожу в китайских халатах. Обожаю все восточное.

Ей вовсе не требовалось убеждать меня в этом».

Поппи собиралась в Нью-Йорк. Вскоре туда последовала и Мерседес. Она не стала терять понапрасну время, а тотчас взялась соблазнять новую подругу, и Поппи, к собственному удовольствию, в один прекрасный день проснулась в объятиях Мерседес, радостно открыв глаза на вазы с белыми цветами и льющийся в окно солнечный свет. Как-то раз одна из приятельниц заметила, что Поппи как кошка, которую не соблазнить даже отборными сливками, — все равно она не спустится с дерева; но как Поппи сама призналась Мерседес: «Я сижу у твоего камина и млею от счастья — впервые за всю жизнь».

В начале 1949 года Поппи уехала от Мерседес к мужу, поскольку Джеффри впервые получил ответственный пост первого секретаря в Британской миссии в Панаме. Тем самым Поппи пыталась выполнить обещание, данное за год до этого, что они постараются заново начать совместную жизнь. Супруги встретились в Мехико, где проходила конференция. Надвигающийся переезд вскоре стал для Поппи неприятнейшей реальностью.

«Ты загнал меня в угол — хотя и действовал в бархатных перчатках, — к этому я не была готова».

В одном из душных и шикарных ночных клубов Мехико Поппи умоляла мужа снять с нее данное обещание. Тому ничего не оставалось, как уступить ей, однако в душе он затаил обиду и с тех пор разговаривал с супругой с «леденящей учтивостью».

Тем временем Мерседес сдала свою нью-йоркскую квартиру Кэрол Чаннинг, звезде фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», а сама перебралась в Париж. Здесь она отыскала бывшую возлюбленную Поппи, Дилкушу де Роган. Та вела себя

отвратительно. Страшно ревнуя Мерседес, она принялась показывать всем и каждому письма Поппи и хвастать былыми победами. Разумеется, в том, что ни Мерседес, ни Поппи не вели себя безупречно по отношению в Дилкуше, имелась доля истины. Как бы то ни было, зная, что Поппи вскоре вернется. Мерседес сняла квартирку в доме № 5 по Кэ-Вольтер. Она послала Поппи по этому поводу телеграмму без подписи, которую по ошибке вскрыл Джеффри. Он отнес ее жене, однако не проронил ни слова. Затем, ни с того ни с сего, перед самым обедом робко поинтересовался, уж не собралась ли она замуж за отправителя телеграммы. Поппи что-то невнятно пробормотала.

Спустя несколько недель, как-то раз в полночь, Поппи писала Мерседес:

«Моя дорогая, недавно ты меня немного обидела. Неужели ты думаешь, что я боюсь — если мы безоглядно любим друг друга, — неужели, по-твоему, я побоюсь пересудов и чьего-то недоброго слова? Если же ты не уверена или же чересчур волнуешься за нас с тобой — или же если считаешь, что я делаю что-то не то, — то тогда мне понятно, чего я должна опасаться. Именно тебе надлежит решать, и если вдруг мы обе совершим ошибку, не думаю, чтобы она была настолько серьезной, чтобы причинить нам обеим существенный вред. Более того, я вообще сомневаюсь, что мы способны причинить друг другу какой-либо вред.

Моя лапушка, ты мне нужна, чтобы восполнить меня: руки, что сжимают меня в объятьях, губы, что целуют меня, сердце, что бьется рядом с моим и умиротворение — после того как — ты ведь помнишь?»

Джеффри дал Поппи денег на билет до Парижа, и она улетела в субботу, 16 апреля. Они с Мерседес переехали в новую квартиру, и Поппи вернулась на работу к Скиапарелли.

Сибиллу Бедфорд, как и многих других приятельниц Поппи, удивил ее роман с Мерседес. По ее замечанию, последняя была склонна к крайностям, и окружающие, как правило, либо обожали ее, либо ненавидели. Сибилла встретила Мерседес у четы Хаксли и нашла ее «донельзя утомительной». А еще добавляет:

«Однако она такова, что ее нельзя не заметить даже в комнате, куда набилось двести человек. В ее внешности, пусть даже весьма ухоженной и женственной, было нечто пугающее».

Талула Бэнкхед дала Мерседес прозвище «графиня Дракула». Дженет Фланнер, знаменитая «Дженет» из «Нью-Йорка» на дух ее не выносила.

«Мерседес нельзя доверять ни на йоту, — говаривала подруга Поппи Аллана Харпер. — Как ты только можешь жить с этим демоном?»

Однако в обществе Поппи Мерседес становилась совершенно «ручной», и пара переживала периоды истинного счастья.

Пока Поппи работала на Скиапарелли, Мерседес все чаще не находила себе места. Одиночество было ей не в новинку, но после минут блаженства с Поппи самообладание давалось ей все с большим трудом. Они переехали в отель «Биссон», тоже на Кэ-Вольтер, и Мерседес ощущала себя все более одинокой. Ее приятельница Элеонора фон Мендельсон свела счеты с жизнью, выбросившись из окна. Она Мансон, которая в ту пору тоже жила в Париже, пребывала в подавленном настроении из-за неудачного брака со своим третьим, и последним, мужем, русским художником Евгением Берманом, и каким-то образом исхитрилась заразить этой своей подавленностью Мерседес. Не в силах больше выносить короткие дни, дождь и промозглую погоду. Мерседес решила навестить Нью-Йорк. Поппи попыталась по-философски отнестись к желанию Мерседес немного развеяться в Нью-Йорке в компании старых друзей. Она так же по-философски отнеслась к существованию незабвенной Гарбо. Поппи было трудно причислить к ее поклонникам — наоборот, она принадлежала к весьма многочисленной группе людей, считавших Гарбо величайшей занудой. В отсутствие Мерседес Поппи как-то обедала с Джеффри в одном парижском ресторане. Он умолял ее вернуться и даже подарил ей позолоченную зажигалку. Промелькнул январь, уступив место февралю, а от Мерседес не было ни слуху, ни духу. Поппи предложила новый план:

«Мне кажется, что если ты будешь проводить в Америке время с сентября по июнь и возвращаться ко мне только на лето, то у тебя будет все, что требуется, — я здесь. Грета в Нью-Йорке, подходящий климат, квартира и друзья».

Однако Поппи чувствовала, что Мерседес натура эгоистичная. Ей не давал покоя вопрос, как бы вела себя Мерседес, если бы она, Поппи, вдруг ни с того ни с сего снялась с места, чтобы пожить у себя в лондонской квартире на Ллойд-сквер.

В марте унылый Джеффри по-прежнему пытался уговорить Поппи вернуться к нему. Та не могла объяснить ему свою ситуацию, которая, мягко говоря, была довольно двусмысленной. Поппи жаловалась Мерседес:

«И как я могу занять какую-либо определенную позицию, когда я сама настолько не уверена в тебе, когда ты в самый разгар нашей любви то и дело бросаешь меня на произвол судьбы? Ну почему ты так часто бросаешь меня? И ведешь себя по отношению ко мне столь бессердечным образом?

Боюсь, что силы любви иссякли в тебе. Нежность в тебе еще

сохранилась — но этого недостаточно».

Когда Джеффри в тот же месяц вернулся в Нью-Йорк, Поппи попыталась уговорить его встретиться с Мерседес. Тот отказался. Затем Поппи оказалась втянута в неприятную историю, когда ей пришлось заплатить за пасхальный кулич, который Мерседес заказала для Гарбо. Будучи в полном отчаянии от этих столь любимых Мерседес куличей, которые та рассылала своим возлюбленным, Поппи предложила подруге, что той стоит посылать каждой из бывших приятельниц один и тот же пирог, лишь меняя каждый раз ленточку.

Позднее Поппи тоже приехала в Нью-Йорк, а затем они вместе с Мерседес вернулись в Париж. Летом 1956 года они вместе поселились в сдвоенной квартире на Кэ-Сен-Мишель как раз напротив Собора Парижской Богоматери, а вскоре Поппи приобрела в Нормандии ферму. В их жизнь также вошел сиамский котенок Линда, над которым они обе тряслись, как над младенцем.

Роман Поппи и Мерседес продолжался, хотя подруги жили то вместе, то врозь. В 1953 году Поппи работала у Скиапарелли в Нью-Йорке. Ее сын Виктор вернулся из Бухареста, где он служил по линии Госдепартамента, и они с Поппи решили жить вместе в одной квартире и в конечном итоге проводили часть времени в году у себя на Восточной Тридцать Пятой улице. Мерседес оставила себе их любимую кошку Линду.

К августу 1953 года их отношения вылились в теплую дружбу, хотя Поппи и затаила на Мерседес обиду за то, что та оставила ее. Мерседес провела Рождество в обществе Поппи, Виктора и Дженифер Нил. В начале 1954 года отношения обострились, и Мерседес частенько названивала Дженни, жалуясь, что Поппи отказывается с ней разговаривать и вообще ее не понимает. Поппи переехала на свое последнее место жительства, в Креш-Мартэн, у Ланмоде, что возле Плебьяна на северном побережье Франции, и Мерседес время от времени приезжала погостить у нее.

Поппи осталась в хороших отношениях с Джеффри, который служил в качестве советника в британском посольстве в Гааге с 1953 по 1960 год. По мнению Мерседес, отношения супругов сводились лишь к изредка проводимому вместе отпуску, однако в действительности Поппи вернулась к мужу, хотя, бывало, подолгу жила одна.

В 1960 году Джеффри Кирк получил назначение посла в Эквадор, и Поппи последовала за ним. Однако впоследствии супруги снова рассорились и больше не желали друг друга знать. Джеффри уединился в сельском доме в Хертфоршире, где и умер

в 1975 году, исключив Поппи из своего завещания. Для той наступили тяжелые времена — ей пришлось как следует потрудиться в качестве «всеобщей тетушки». Сибилла Бедфорд подыскала для нее работу на кухне лондонского пен-клуба. Поппи умерла в доме престарелых в Оксфордшире в 1986 году в возрасте восьмидесяти семи лет.

Глава 9
«Мой обожаемый сэр, позвольте мне прийти вам на помощь»

В июне 1949 года, спустя несколько недель после того, как Поппи и Мерседес поселились в квартире на Кэ-Вольтер, в Париж прибыл Сесиль. Он остановился у Даффа Купера в Шантильи, посетил в Версале вечно хворающую Элси Мендль и побывал на приеме, устроенном Марией-Луизой Буке. Сесиль отметил, что в Париже полно американцев, включая Джорджа Шлее. Битон отобедал с Элис Б. Токлас и сфотографировал чету Виндзоров. Сезон в Париже был в самом разгаре, и даже герцогиня Кентская почтила своим присутствием бал британского госпиталя. Сесиль лег спать так поздно, что уже всходило солнце. По завершении недели ему стало ясно, что он должен нанести визит Шлее. Вот что он писал Гарбо:

«Я отправился к нему в отель, чтобы выпить вместе, и мы чудесно поговорили о тебе. Он пребывал в своем самом душевном настроении и говорил о тебе с истинным пониманием, нежностью и уважением. Все началось с того, что я сказал: «Расскажи мне об этой картине!», — и он принялся рассказывать мне обо всех трудностях, о том, как он восхищен Джошем Логаном, и о туманных планах. Казалось, мы понимали друг друга с полуслова, и я предложил: «А почему бы вам с Гретой не приехать ко мне и немного не погостить? От Саутхемптона это всего лишь полчаса на машине». Он записал мой телефон и сказал, что пошлет мне телеграмму, когда вы с ним приедете. Я сильно сомневаюсь, что он привезет тебя с собой, но он предложил, чтобы я приехал к вам в Париж, — так что, если тебе нравится моя затея, добейся, чтобы он все-таки послал телеграмму, и постарайся время от времени ненавязчиво напоминать ему обо мне. Ведь если ничего ему не говорить, то я вроде бы как кажусь каким-то упырем. Может, я ошибаюсь, но как мне кажется, мой визит к нему немного разрядил атмосферу — по крайней мере, временно, — и я весьма рад, что сходил к нему, и просто в восторге от того, как все в конечном итоге получилось. Я сообщаю тебе эти крохи информации в качестве руководства к действию».

Сесиль вернулся в Лондон, где его уже ожидало письмо от Гарбо, которое он назвал «приятным сюрпризом». Грета писала, что ей весьма жаль, что она не сумела выполнить предсказание Неллы Уэбб, чтобы узнать, что та сказала о том периоде ее жизни.

Каковы бы ни были подобные предсказания, времена оказались нелегкими, и в последнее время ей не давал покоя вопрос, уж не написано ли ей на роду закончить жизнь в приюте для «измученных жизнью».

Гарбо чертовски устала ждать, когда же ее, наконец, призовут к присяге под американский флаг, и была в полном расстройстве оттого, что ей надо запоминать для этого ряд требуемых фактов. Гарбо писала, что с большим удовольствием бродила бы сейчас по лесам вокруг дома Сесиля, вместо того чтобы вести свое обычное бессмысленное существование в том, что она называла задворками своего недостроенного обиталища. Письмо заканчивалось словами, что она сильно тоскует по Сесилю.

Тот писал ей в ответ:

«Уверен, что ты можешь поселиться у меня. Я в Америку соберусь не скоро. Я могу быть здесь, когда ты захочешь; здесь у нас никогда не бывает слишком холодно. В любом случае ты любишь, когда в комнате прохладно; ну а если возникнет необходимость, то мы всегда можем выбраться в город и купить тебе теплый костюм. Ты у нас будешь словно эскимос, закутанный в шарф! Пока еще невозможно сказать что-либо определенное, но я начинаю подумывать — пока что только подумывать, — не съездить ли мне в августе в Танжер. Недельки на три, а затем, возможно, в Венецию — но ты обязательно должна дать мне телеграмму, чтобы не случилось так, что я исчезну из вида и не смогу связаться с тобой. Если не ошибаюсь, Джордж сказал мне, что ты будешь в Париже где-то числа 20 июля, поэтому я на всякий случай буду тебя поджидать… Но, дорогая моя, лучше бы в это чудное время года ты была здесь со мной. Англия сейчас в самой своей красе, в самом расцвете».

Новость о намерениях Гарбо пуститься в путешествие дошла до Сесиля через Трумена Кэпота, который в тот момент отдыхал на Искии.

Он прочитал в «Пари Трибюн», что 13 июня в Париже ожидают прибытия Гарбо. Эта новость вынудила Сесиля еще шире развернуть свою эпистолярную активность:

«Многоуважаемый сэр, что прикажете делать с моими письмами в ваше отсутствие? Писать их и складывать, пока вы не соизволите прислать мне адрес? Я жду от вас разъяснений… Любая телеграмма по адресу дом № 8 на Пелхэм-Плейс будет передана дальше…»

Лето продолжалось во всей своей красе, и Сесиль злился, что должен ехать в Лондон, на этот раз в нечастом, однако весьма доходном амплуа королевского фотографа. Он писал: «Неделя, проведенная в Лондоне, была просто кошмарной. Какая

бесполезная трата времени, когда солнце светит так ярко! Я намеревался провести там всего один день — неожиданно раздался звонок из дворца, и мне сообщили, что принцесса Маргарита желает, чтобы я в пятницу сделал ее портрет, а это значит, что мне пришлось ждать еще три дня; и все это время я не знал, чем заняться, и поэтому страшно злился. Такое впечатление, что телефон трезвонит без конца, а секретарши, которая отвечала бы на звонки, нет, а они так утомляют. Воистину, я лишь тогда чувствовал себя прекрасно, когда выбирался из дому. Я сводил в Национальную Галерею двух молоденьких американок и пошел посмотреть, как бедная старушка Герти Лоренс играет в какой-то дешевой слезливой пьеске, а потом отправился отобедать с нашей турецкой приятельницей в ее огромном доме в Пэлис-Грин. Это равносильно тому, как если бы она снова поселилась в Хайдарабаде, с превосходным обедом, который, казалось, тянулся бесконечно, и поэтому остальные дела приходилось все откладывать и откладывать, и поэтому, когда мы допивали кофе по-турецки, день почти что закончился. Принцесса, в своем европейском наряде, ужасно застенчива, хотя и хохотушка, однако очень даже очаровательна и интересна, если ей предоставляется такая возможность.

Фотосъемка во дворце обернулась нелегким делом, и у меня практически не было времени побеседовать с юной принцессой. Она до половины шестого утра находилась в ночном клубе и после двух часов позирования чувствовала себя утомленной. Однако она полна остроумия и, на первый взгляд, вполне терпимо расположена к остальному человечеству. Я думал, что принцесса окажется испорченной, капризной девчонкой, однако она была добра ко мне и готова помочь, и сказала, что попытается уговорить мать, чтобы та пересмотрела свой запретительный вердикт по поводу замечательных фотографий, где я снял ее в черном бархатном кринолине, — на них она выглядит такой тоненькой и поистине царственной».

Сесиль зорко следил за передвижением Гарбо. Он отметил ее отъезд из Нью-Йорка и прибытие во Францию — об этом сообщалось в прессе. Гарбо была одета в «шерстяное пальто, бесформенные брюки и нечто такое, что весьма напоминало домашние шлепанцы». Когда же к ним приблизился фотограф, Гарбо схватила шляпу Шлее. Увы, слишком поздно — ей так и не удалось избежать снимка. У Шлее тоже был испуганный вид.

Затем Гарбо и Шлее проследовали на воды в Экс-Ле-Бэн. И здесь досужая пресса преследовала их по пятам. Некая журналистка по имени Генриетта Пьеро ходила за Гарбо хвостом

на протяжении нескольких дней и сумела-таки состряпать репортаж для «Элль» о ее пребывании. Вся эта операция скорее напоминала военную кампанию. Журналистка воспользовалась старым удостоверением, согласно которому она числилась художницей, и даже прихватила с собой краски. Кроме того, она поселилась в том же отеле, что и Гарбо, и за определенную мзду вытянула из горничной информацию, что та ежедневно отправляется в термы для принятия ванн. Засим последовали бдения.

В половине десятого утра репортерша поджидала в парке появления Гарбо. Последнее имело место без четверти десять, однако журналистка не осмелилась воспользоваться аппаратом. Однако этот трюк удался ей в десять минут двенадцатого, когда Гарбо вместе со Шлее выходила из терм. Гарбо успела закрыть лицо руками. После чего журналистка попыталась ходить за ней по пятам как поклонница и даже попросила разрешения сделать снимок, однако Шлее произнес по-английски: «Это невозможно, невозможно». Набравшись храбрости, журналистка рискнула еще пару раз щелкнуть затвором, однако угрожающий вид Шлее заставил ее спешно ретироваться.

На следующий день, в другом обличье, журналистка попыталась продолжить свои бдения в парке. Она даже вскарабкалась на дерево, однако ее кто-то спугнул. Но и Гарбо не было видно ни здесь, ни в других местах. Весь день пошел насмарку. На третий день репортерша встретила другого фотографа, которому, в отличие от нее, повезло больше — на предыдущей неделе он сделал удачный снимок. Они продолжили преследование уже вместе и в результате вскоре после десяти утра были вознаграждены за свои усилия двумя удачными снимками.

Вслед за этим журналистка принялась вынюхивать подробности образа жизни Гарбо. Увы, это оказалось практически безнадежным делом. Горничная поведала ей, что Гарбо любит порядок, однако не читает, не курит и не разговаривает. Она всегда одевается в одно и то же, никогда не пользуется лифтом и постоянно сидит на вегетарианской диете — лимоны с сахаром. Журналистка поинтересовалась насчет автографа, однако горничная объяснила, что Шлее запрещает своей спутнице раздавать автографы кому-либо. Это он так решил. Она же по натуре добрый человек. Она всегда улыбается, однако ни слова не понимает по-французски. Поэтому Шлее всегда переводит и отдает распоряжения. Журналистка сделала вывод, что Шлее является для Гарбо своеобразным импресарио, переводчиком, секретарем, телохранителем, а не исключено также, что и

мальчиком на побегушках.

В одном из писем Гарбо Сесиль намекает на «жадные глотки омерзительной на вкус воды, которая способна чудодейственным образом восстановить силы Вашей Светлости».

Сопровождаемый Дэвидом Гербертом, он 4 августа по пути в Танжер отправился в Марсель, досадуя, что потерял целое лето, а Гарбо так и не приехала к нему. Вскоре после его отъезда в Пелхэм-Плейс пришло от Гарбо довольно сбивчивое письмо. Суть его вкратце заключалась в том, что она якобы является жертвой странного стечения обстоятельств и ей необходимо как можно быстрее поправиться. Гарбо интересовалась, по-прежнему ли Сесиль такой же попрыгунчик, добавляя, что ей ужасно его недостает. Прибегнув к своеобразной конспирации, Гарбо обращалась к нему с настоятельной просьбой написать ей письмо от имени Питера Уотсона, а она тогда решит, что же ей делать дальше. А пока они со Шлее чувствуют себя неважно, лечение продлится еще одну неделю, хотя врачи не нашли у них ничего серьезного. Разумнее всего надеяться, писала Гарбо, что они смогут встретиться в Париже.

Сесиль проводил в Танжере памятные деньки. «Здесь имеются все мыслимые разновидности негодяев, все возможные формы порока», — писал он Гарбо. В числе таковых оказался и недоросток Трумен Кэпот, устроивший ночной пикник в скалах у мыса Спартель, — «лишь каким-то чудом ему удалось не расшибить голову о камни, отделавшись лишь всклокоченными волосами и разбив очки».

Сесиль не терял надежды, что Гарбо все-таки сумеет вырваться к нему в Танжер или же, что еще лучше, в Лондон. Его следующий маневр состоял в том, чтобы, последовав ее совету, сочинить ей такое письмо, которое она смогла бы показать Шлее. Написано оно было гораздо более аккуратным почерком:

«Дражайшая Грета!

Послал тебе сегодня телеграмму, чтобы узнать, не пожелаете ли вы с Джорджем приехать погостить у меня? Мы бы постарались обеспечить вам необходимый комфорт. Купаться здесь — истинное блаженство, а арабская жизнь наверняка тебя зачарует.

Дом наш — уродливое современное строение, но зато в нем прохладно. У нас есть несколько довольно комичных слуг — будь уверена, здесь никто не собирается нападать на тебя.

Ну, или, на худой конец, приезжайте ко мне в Англию, только дайте знать заранее о ваших планах.

Наилучшие пожелания от меня и Дэвида.

Сесиль».

Ответа не последовало. Гарбо и Шлее все равно не смогли бы приехать в Танжер, так как им предстояло утрясти все вопросы по поводу фильма Уолтера Вангера «Герцогиня де Ланже». Из Экс-Ле-Бэн они в конце августа отправились в Рим.

Как обычно, Гарбо путешествовала под псевдонимом «мисс Гарриет Браун». Некоторое время, пока шли переговоры о возможном создании фильма, они жили в отеле «Хасслер». Гарбо пыталась соблюдать инкогнито, однако вездесущая пресса вновь пронюхала о ее пребывании. В первую неделю сентября у нее не было отбоя от папарацци[9] — стоило ей только выйти из отеля или же Базилики Святого Петра во время осмотра достопримечательностей города.

Однако проект создания фильма, как и все предыдущие попытки такого рода, потерпел неудачу. Компания переживала финансовые трудности, и Гарбо была несколько ошарашена предложением оказать проекту посильную поддержку. Вмешательство Шлее, несомненно, явилось негативным фактором. Как отмечала Залька Фиртель, именно эта неудача вынудила Гарбо раз и навсегда отказаться от дальнейших попыток сниматься в кино. В некотором роде ей повезло, что у нее было достаточно денег, чтобы до конца своих дней гордо держаться особняком.

Гарбо и Шлее нашли временное пристанище на вилле неподалеку от Рима, и в конечном итоге отбыли в Париж. Сесиль тоже сделал остановку по пути из Танжера. Сначала он зашел к Гарбо в отель, но вынужден был оставить записку.

К его удивлению, вскоре раздался телефонный звонок.

«Это ты, Битти? Ну кто бы мог подумать! — и я тотчас понял, что Грета в хорошем настроении», — пишет Битон в своем дневнике.

* * *

«Ее треволнения из-за фильма отступили на второй план, к величайшему ее облегчению, и теперь она снова исполнена бодрости духа. Я в восторге от того, что через полчаса снова увижу ее и прогуляюсь с нею по парку; я одеваюсь с особой тщательностью и несусь вдоль по улицам, весь разгоряченный на солнце, вспомнив, что оставил в отеле шляпу, — я знаю, что Гарбо не любит, когда я прихожу к ней без шляпы (подумать только, чтобы парень — и без шляпы!) — и пытаюсь при этом не опоздать.

И пока я жду, когда она спустится ко мне по гостиничной лестнице, меня берет в оборот какой-то бумагомаратель из светской хроники — этого мне только не хватало! — и я краем глаза пытаюсь дать Грете знак, чтобы она поскорее проходила мимо — что она и делает, — а затем возвращается, и мы выходим с ней вместе, и я в который раз потрясен ее удивительной красотой.

Я поражаюсь, как все эти кошмарные выходки прессы и гангстеров от кино не сделали из нее нервнобольную, но, несмотря на ее утверждения «Нет, нет, у меня все еще есть глаза и я знаю, как ими пользоваться», она выглядела даже лучше, чем я осмелился предполагать. Она заметно похудела, грудь совершенно плоская, а талия — просто наитончайшая».

Парочка уселась в «голубой облезлый» автомобильчик «де сото», и шофер повез их в Булонский Лес. Там они принялись чинно прогуливаться под ручку:

«Я пребывал в полном восторге от того, что я снова с ней, такое случается нечасто. Это было истинным блаженством. И лишь сожалел, глубоко сожалел — или же все-таки испытывая некое облегчение, — что она не приедет ко мне в Англию — может, она все-таки приедет погостить пару дней, если они отправятся в понедельник, — и затем мало-помалу Грета рассказала мне ужасную историю их европейского путешествия. Она пробыла в Европе два месяца и практически ничего не видела — не побывала даже в театре, — а компания, с которой у нее контракт, выдавала ей ложь за ложью. Да, они готовы приступить к съемкам. Когда же постепенно выяснилось, что у них на счету ни гроша, они вынудили ее поехать в Рим и там пытались склонить ее к ведению переговоров — чтобы она улыбалась итальянским толстосумам, для того чтобы те раскошелились на фильм с ее участием. Разумеется, на это она не согласилась — итальянские газетчики превратили ее жизнь в сущее мучение, вернее, в собачью жизнь. Круглые сутки возле ее отеля стояла припаркованная машина, и стоило ей только отправиться туда, как за ней по пятам тотчас отчаливала стая репортеров. И поэтому она была вынуждена оставаться в номере, за закрытыми ставнями, потому что ее окна выходили во внутренний дворик и постояльцы из других номеров имели привычку таращиться на нее.

В Италии фоторепортеры — сущие бандиты; будь у меня оружие — клянусь, я бы уложил их на месте, как, например, в тот день, когда у меня с собой была трость — и, господи, как меня подмывало тогда поразбивать им камеры, но я понимал, что это чревато скандалом. Они ни перед чем не остановятся, лишь бы

заполучить ваш снимок — или что-нибудь еще.

Я спросил:

— А почему ты не согласилась сфотографироваться, когда впервые вступила на палубу? Разве раньше ты этого не делала?

— Я делала это четыре раза в жизни, можно подумать, тебе неизвестно, что делала это через силу — уж таков мой характер, я это ненавижу и не могу себя изменить. И потом, начинает казаться, что можно ускользнуть, и, потом, стоит им обнаружить, что ты их перехитрила, как они бросаются за тобой в погоню и пытаются заставить тебя покориться, но как только такое случается, ты отказываешься покориться им — а затем это происходит. Я потеряла сон и покой. В Риме я всего лишь дважды вышла на люди. Один раз в Галерею, а другой раз в церковь, и все равно не нашла душевного успокоения, потому что когда-то давно я привыкла сниматься в фильмах. Просто ужасно, стоит только задуматься, что у тебя нет ровно никакой личной жизни. И ты не можешь позволить себе никакой свободы — что коль уж пресса отправилась за тобой в погоню, то здесь уж ничего не поделаешь!..»

Сесиль еще раз повторил свое приглашение в Англию, но Гарбо ответила:

— Я не могу позволить, чтобы мой спутник возвратился домой один, — просто сказать, ну вот, у меня тоже есть свое приглашение и я остаюсь.

Позднее, предварительно договорившись, Сесиль отправился навестить ее и Шлее. Шлее принялся рассказывать историю о том, как ловко он перехитрил мошенников-кинодельцов. Его адвокатское чутье спасло их от куда более крупных неприятностей. Сесиля это мало убедило;

«И пока он пытался найти оправдание своим действиям, я проникся убеждением, что, возможно, он несет частичную ответственность за фиаско, постигшее этот проект, ведь он по сути дела был любителем, который взялся вести дело с профессионалами: то, как ему удалось взять в свои руки интересы Гарбо, вселяет тревогу, и я не вижу никакой возможности освободить ее из-под его влияния; и хотя общество друг друга их больше не возбуждает и они частенько сидят, не проронив ни слова, она придает чувство важности его тоскливому существованию, и вряд ли он позволит ей выскользнуть из его мертвой хватки. Она же, в свою очередь, до глубины души глубоко тронута его преданностью и его попытками помочь ей, и это еще теснее привязывает их друг к другу».

Когда Сесиль рассказал Диане Купер об их прогулках с Гарбо по лесу, та предоставила в его распоряжение свой дом в

Шантильи, добавив при этом:

— Слуги будут от этого в восторге. Они обожают знаменитостей.

Гарбо, Шлее и Сесиль договаривались вместе пообедать в субботу вечером, но ввиду воскресной поездки в Шантильи этот обед не состоялся.

Воскресное утро было свежим и солнечным. Сесиль вел себя как пай-мальчик, поскольку Шлее впервые видел их вместе с Гарбо.

«Я чувствую, Шлее рад, что распознал отношения между мною и Гарбо. Это был первый раз, когда он видел нас вдвоем на протяжении столь долгого времени, между тем как до этого было столько суеты, и я наверняка казался неким загадочным упырем, который никогда не показывает себя, однако с которым постоянно приходится сражаться. Возможно, я ошибаюсь, предполагая, будто он страдает от душевных мук и ревности, тем не менее я изо всех сил стремился ублажить его, и, в особенности, когда мы возвращались домой на машине, я разговаривал главным образом с ним. Время от времени на протяжении всего дня я бросал на него полный ненависти взгляд, хотя и не уверен, что он это заметил».

Обед прошел успешно. Шлее был в восторге от того, что его принимают в доме бывшего посла. Более чувствительная по натуре Гарбо наслаждалась чистым воздухом и отправилась на прогулку по парку. За обедом разговор главным образом шел о жуликоватости Уолтера Вангера и прочих кинодельцов. Сесиль пристально наблюдал за Гарбо. Вот что он писал позднее:

«Она все еще прекрасней всех на свете, обладает удивительной аурой и магнетизмом, однако если вскоре она не возобновит свои труды и не вернется на актерское поприще, то обречена на медленную смерть. Сегодня был один из ее солнечных дней. Несомненно, наилучший; с тех пор как она приехала в Европу, вылазка в Шато де Шантильи оказалась полной идиллией. Она в восторге от геометрически правильных аллей, от чистой воды для купаний, от густой травы, от животных (она даже скормила половину своей сигареты козе!). Прислуга в Шантильи снисходительно не обращала на нее никакого внимания, и поэтому она могла свободно любоваться прелестями поместья и критиковать его уродства — по ее мнению, замок по-немецки слишком тяжеловесен, а еще ей не понравились кое-какие статуи и неряшливо посаженные растения. У Гарбо от природы великолепный вкус и потрясающее чутье.

В Грету словно дух вселился. Ей хотелось то полежать, то поваляться с боку на бок, то понежиться среди золотистых

колосьев. Она вела себя как ребенок: опустившись на колени, набрала целый букет пшеницы.

Даже не верится, что все это действительно было, жаль только, что мне не удалось побыть с ней наедине. Однако сторожевой пес не оставлял нас ни на минуту, если не считать того момента, когда перед самым отъездом они изволили удалиться в уборную. Тогда Грета, помнится, шепнула мне:

— А ты не можешь приехать ко мне в Америку? Я знаю двух людей, которые бы охотно одолжили нам свой домик в пустыне, — сами они сейчас в Европе.

Но не успели мы еще немного пошептаться о важных для нас обоих вещах, как вернулся упырь, и я зашелестел банкнотами, притворившись, будто мы обсуждаем, сколько дать на чай Жану. По пути домой, уже в машине. Грета то и дело шептала мне:

— Может, ты свозишь меня на Монмартр? — но я знаю, что она говорила это только потому, что ей было известно, что я собираюсь в театр с Лилей (Ралли)…»

Чуть позднее тем же вечером Сесиля ожидал неприятный удар:

«Должен признаться, что я испытал нечто вроде шока, когда поздно вечером, возвращаясь домой, после того как проводил Лилю после театра, я неожиданно заметил в окно своего такси, что Гарбо и Шлее тоже едут домой в голубом автомобиле. Было видно, что они увлеклись беседой, что Грета смотрит на него с такой теплой и преданной улыбкой, что они так близко склонили друг к другу головы. И тогда до меня дошло, что на самом деле Грета вовсе не хворая бедняжка, что ей просто нравится думать, будто она устала, на самом же деле она способна на протяжении восемнадцати часов кряду обходиться без сна и отдыха и чувствовать себя при этом куда бодрее, чем я.

Я же вернулся из Шантильи совершенно обессиленным и рухнул в постель, но спустя полчаса меня разбудил телефонный звонок — на проводе была Грета, такая же щебетунья и непоседа, словно она только что как следует выспалась».

Гарбо доставляла неприятности и на других фронтах. Поппи Кирк, которая к тому времени уехала в Нью-Йорк, опасалась возможного влияния Гарбо на Мерседес.

«Надеюсь, Грета не станет слишком тебя огорчать, — писала Поппи. — Прошу тебя, дорогая, береги себя, не позволяй себе слишком нервничать и расстраиваться».

Мерседес отмечает в дневнике, что, приезжая в эти годы в Париж, она всегда виделась с Гарбо. Та неизменно везла ее на Площадь Согласия, добавляя при этом:

«Только пожалуйста, не вздумай рвать здесь цветы».

Вскоре после проведенного за городом дня Сесиль вернулся в Лондон, а Гарбо и Шлее отплыли в Нью-Йорк на борту «Иль-де-Франс» и прибыли домой 10 октября.

В конце ноября Сесиль писал Гарбо:

«Дражайший сэр или мадам!

К моему величайшему сожалению, до меня дошло, что с момента возвращения вы пребываете не в духе. Примерно месяц назад я встретил в Париже «Черное-с-Белым», и она рассказала мне о вашем возвращении. Я более чем расстроен, что ты не осталась здесь после того, как мы встретились: как мне кажется, тогда бы все обернулось по-иному. Ты бы обрела необходимое душевное равновесие и здоровье. У тебя наступила полоса невезения, и я готов попытаться вызволить тебя из нее. Это, правда, довольно просто — главное, начать жизнь, которая была бы тебе полезна, а не искать бегства. Не хочу быть занудой — но согласись, что я все-таки прав. Я собираюсь приехать в Нью-Йорк в январе. Мне надо туда на полтора месяца. Ты все еще будешь в городе — или же можешь приехать ко мне из Калифорнии — или, может быть, лучше мне приехать к тебе? Будь добра, дай мне знать о своих планах, пусть даже весьма приблизительно, поскольку если я должен буду поехать в Калифорнию, то мне понадобится все заранее утрясти и уладить с «Богом». Я знаю, что все это довольно непросто, но нам никак нельзя упускать друг друга из вида. Жизнь проносится мимо, не успеешь и глазом моргнуть…»

В ответ на это послание Гарбо сообщала, что останется в Нью-Йорке до приезда Сесиля. И он не должен даже мечтать о Голливуде, если только ему не предстоит там работа. Гарбо с радостью была готова встретить Битона в Нью-Йорке, а также предупредила его о возможных опасностях, какие подстерегают его во время поездок в Париж, и постоянно называла «моим милашкой Битти».

Сесиль отплыл в Нью-Йорк на борту «Куин Мэри» и прибыл в Америку в первых числах января 1950 года. Гарбо, совершенно неожиданно, все-таки появилась в Калифорнии, и первую ночь в городе они провели вдвоем. После этого они встречались лишь изредка. Битон сделал несколько ее снимков — улыбаясь, она поглядывает на нас из-за кофейника, — а в колонках светской хроники появилось несколько заметок об их романе. Сесиль ужасно разозлился, когда Эд Салливан напечатал ехидную статейку, в которой намекалось на скандал с «Вогом» в 1938 году. Как-то раз во время обеда Сесиль набросал на меню портрет Гарбо, а в ответ она набросала портрет сестры Мерседес, а рисунок Сесиля зачеркнула.

Кроме того. Битон занялся эскизами для пьесы Сесиля Робсона и Жана Ануя «Крик павлина», а также работал с Линкольном Кирштейном над балетом Эштона-Бриттена «des Illuminations». 26 марта Битон вернулся в Англию и возобновил свою переписку с Гарбо:

«Дорогой сэр!

Неделю назад, в это время, мы шли с тобой по парку, направляясь к Кейти-Кальм. Чудесным и солнечным был этот день, и какой чудесной была прогулка со своим мешком, и как прекрасно мы с тобой пообедали вместе, и все было просто расчудесно — хотя над нами и нависла тень нашей неизбежной разлуки. Нас выручило шампанское — меня даже не раздражали больше столпившиеся в дверях любители автографов, по крайней мере, не в такой степени. Интересно, а как у тебя прошла эта неделя? Неродившиеся цыплята у тебя на лице, массаж, визит в остеопату. Я надеюсь, что ты уже решила, что тебе пора в твой тихий переулок в Калифорнии, поскольку нынешнее твое положение в роли незаменимой и готовой всегда услужить не может продолжаться до бесконечности и его следует потихоньку менять…»

Сесиль имел в виду газетную шумиху, преследовавшую их во время его недавнего визита.

«После Нью-Йорка жизнь кажется относительно легкой. Хотя и нельзя сказать, что совершенно лишена неприятных моментов. Мне из Нью-Йорка прислали гнусную газетную вырезку про нас с тобой. Не знаю, кто там уж так постарался, уж не Луэлл ли Парсонс. Правда, написано так, будто речь идет о бракоразводном процессе — какой удар для тебя, — остается только надеяться, что она не попадется на глаза Джорджу (боюсь, однако, что так оно и будет), поскольку он наверняка воспримет все близко к сердцу. Какие, однако, свиньи все эти американские репортеры, сущие шпионы, вульгарность всего этого начисто отбивает у меня всякое желание завидовать «массе народа, процветающего за этот счет».

Будь добра, постарайся при Джордже упоминать мое имя лишь мимоходом и как можно реже, поскольку мне бы не хотелось, чтобы он считал меня проходимцем. Вряд ли это пошло бы на пользу любому из нас».

Гарбо ответила быстро, поблагодарила Сесиля за телеграмму, заверила, что скучает без него и часто поглядывает в сторону его гостиницы. 10 апреля она собралась уезжать в Калифорнию, к сожалению — не в Англию, каким бы заманчивым ни казалось это предложение. Гарбо писала, чтобы Сесиль взглянул на Кейти — тем самым он вспомнит и о ней.

Это было то самое время, когда Мерседес временно рассталась с Поппи Кирк и снова поселилась в Нью-Йорке. Они с Гарбо прямо-таки помешались на своих хворях и постоянно наведывались к доктору Максу Вольфу, чьи методы были, однако, довольно сомнительными. Поппи предлагала Мерседес поехать вместе с Гарбо в Калифорнию, однако последнюю такая перспектива мало обрадовала. Тем временем Сесиль выдвинул предложение, чтобы Мерседес сопровождала Гарбо во время ее следующего путешествия в Европу. Битону было прекрасно известно, что при желании ему не составит труда вырвать Гарбо из лап Мерседес, в то время как от Шлее избавиться было практически невозможно.

«Будь добра, дай мне знать (можешь спросить Крокера), когда ты получишь американское подданство. Когда ты сумеешь выбраться в Европу? Может, эту поездку стоит присрочить к тому же самому? Пожалуйста, не надо. Ты должна с особой осторожностью освободить себя из твоей нынешней западни. Действуй осмотрительно, не торопись, лучше лишний раз удостовериться, но как только сделаешь следующий шаг, не вздумай идти на попятную. А ведь если ты отправишься за границу в сопровождении прежнего компаньона, так оно и будет. Ты ведь знаешь не хуже, чем я, что в таком случае ни о какой поездке ко мне не может быть и речи, а я жду этого не дождусь, ради твоего же собственного счастья и благоденствия, как и для моего.

А теперь о других предметах. В следующий раз, когда ты пересечешь Атлантику, возьми себе в компаньонки «Черное-и-Белое». И как только вы прибудете, она может быть свободна…»

Наряду со своими частыми заклинаниями, что Гарбо должна приехать в Англию, причем не позже весны. Битон временами демонстрирует полное легкомыслие:

«Моя дорогая сахарная ягодка!

Я просто одержим игривыми мыслями о тебе. Как бы мне хотелось, чтобы ты была здесь, и мы бы с тобой от души посмеялись, ты бы могла похихикать, как девчонка, и все такое прочее. Тот снимок, что я сделал, когда мы в последний раз обедали вместе (только не тайная вечеря!), настолько восхитителен, что, даже мельком взглянув на него, я чувствую, как у меня поднимается настроение. Моя дорогуша, ты когда-нибудь бывала в пустыне? А еще мне хотелось бы знать: ты когда-нибудь пробовала готовить в своем двойном бойлере? И как реагирует на строгий режим твоя язва? Будь добра, черкни хоть пару слов.

Неожиданно ты стала так далека от меня. Уже давно пора

позвонить тебе или получить от тебя открытку или какую-нибудь еще весточку. Один знакомый прислал мне потрясающий отчет о том, что видел тебя с Ш. на Манхэттене, и это сообщение снова высветило тебя у меня в душе, и у меня было такое чувство, будто я все это видел своими глазами.

Дает ли о себе знать «Черное-с-Белым»? Постарайся уговорить ее, чтобы этим летом она прихватила с собой «новоиспеченную американскую подданную». Я был бы ужасно рад».

А пока Сесиль отправился в Букингемский дворец сфотографировать королеву Елизавету[10] по случаю приближающегося пятидесятилетия. Затем он уехал в Уэльс и в конце мая уселся на пароход до Гавра. Во Франции он с приятелем на несколько дней остановился в Довилле, а затем отправился к Диане Купер в Шантильи и встретил в Париже мать. В июне он также дважды наведывался в Париж. Во время второго визита он случайно столкнулся с Шлее.

«Я совершенно неожиданно встретил в Париже Джорджа, и он мне рассказал последние новости о тебе. Что вы вместе ездили в пустыню, что язва тебя не беспокоит и самочувствие твое было превосходным! Великолепно! Я рад за тебя! Это просто потрясающая новость — тебе следовало послать мне телеграмму со словами; «Язвы как не бывало!» И я бы был избавлен от того, чтобы мысленно рисовать душераздирающие картины, как ты давишься бледной вываренной цветной капустой!»

Присутствие в Париже Шлее оставило в душе Сесиля смутное подозрение, что Гарбо должна быть где-то поблизости. Однако она так и не «материализовалась». В июле Сесилю удалось связаться с нею по телефону. В своем следующем послании он писал:

«Я работал в библиотеке над кое-какими набросками, когда неожиданно меня осенило, что сейчас самое удобное время позвонить тебе снова. Мне уже было пора в постель, и к тому же это был конец полной трудов недели здесь, в деревне. А еще это было седьмое число, а ведь семерка — счастливая цифра. Каждый раз, когда мне хотелось позвонить тебе, оказывалось, что то день неподходящий для этого, то время; я боялся, что в этот момент ты либо торопишься на свой урок игры на фортепьяно, либо раздаешь призы на выставке детского рукоделия, — и поэтому, когда я дозвонюсь до тебя, ты мне скажешь: «Извини, но я тороплюсь».

В пятницу вечером телефонистка сказала: «Соединяю», — и через несколько минут я услышал: «Мисс Гарриет слушает Вас», — и неожиданно я был готов прыгать от радости, и так

разволновался, что, пока я ждал, мне было слышно, как сердце колотится у меня в груди, я даже испугался, что оно выскочит наружу. Это и впрямь было пугающе — бух, бух, бух. Оно так громко колотилось, что я подумал, что наверняка не смогу расслышать тебя, — и так оно и вышло, связь была просто ужасная! Английская телефонистка оказалась довольно милой и сказала: «Ну, как назло». Так оно и было. И мне приходилось снова и снова названивать бедной Гарриет, и все это время слышимость была из рук вон отвратительной.

Однако мне было приятно поговорить с тобой — правда, меня опечалило, что ты наверняка чувствуешь себя довольно тоскливо. Не думаю, что это лучшее место в мире, где можно позволить себе немного потосковать. Ну почему ты не позволишь мне прийти к тебе на помощь? Ведь для меня сущее мучение пытаться убедить тебя, что здесь бы тебе понравилось, ведь тебе необходим отдых, хотя бы краткий; а затем, подумай серьезно, а не приехать ли тебе сюда одной, нельзя же всю свою жизнь цепляться за одну и ту же привязанность. Я уверен, что перемены не заставят себя ждать, только пусть это произойдет, пусть это произойдет основательно, постепенно… Я был весьма озадачен, узнав о запястье, и надеюсь, что боль не слишком давала о себе знать и ты не мучилась из-за нее по ночам бессонницей. Когда тебе станет лучше, упражняй руку при помощи пера и бумаги и черкни мне пару строк. Это будет знаменательный день, когда дядя Сэм наконец-то примет тебя в свои объятья, и я надеюсь, что с того дня ты станешь проводить меньше времени на его берегах. Может, ты сразу приедешь сюда ко мне? По-моему, все в руках господних. Боже, какие же, должно быть, огромные у него лапищи?»

Спустя неделю Сесиля вновь посетило легкомысленное настроение.

«Дорогой юноша!

Надеюсь, ты наконец-то научилась пользоваться бритвой? Точишь ли ты по утрам лезвие о кожаный ремень? Доросла ли ты уже до того возраста, когда по вечерам принято надевать брюки и смокинг? Интересно, а как твой голос, уже начал ломаться? Доросла ли ты до пубертатного возраста?

Как мне кажется, ты приближаешься к той поре, когда тебе не будут давать покоя проблемы плотской любви. Если да, если тебя это действительно интересует, напиши мне, я уверен, что смогу дать ряд ценных указаний.

Дорогое мое сердечко. Надеюсь, тебе не слишком тоскливо в твоем переулке. Дорогая…»

Однако летом 1950 года, как, впрочем, и в предыдущие два

года, визит Гарбо в Англию так и не состоялся. Сесиль чувствовал, что ему необходима смена обстановки, и поэтому решил навестить Таормину на Сицилии. Он направился в принадлежащий Трумену Кэпоту розовый домик на холме, поросшем оливковыми рощами. Неожиданно к нему пришло одно из редких писем Гарбо. У нее снова все валилось из рук. Она все еще проходила мучительно долгий процесс получения американского гражданства, при этом перепутала какую-то дату, и ей пришлось все начинать сначала. Ей до смерти надоела ее экономка, она скучает по Сесилю и призналась ему, что послала ему подарок от «Блисс Бразерс». Других новостей у нее не было. Она передавала привет для Дейзи Феллоуз и запечатлела на лбу Сесиля воображаемый поцелуй.

Сесиль получил это письмо, будучи в Таормине незадолго до своего возвращения в Лондон. Вот что он писал в ответ:

«Возлюбленная!

Человек, которого я пытался вспомнить в моем последнем письме, — человек тебе известный, это Дейзи Феллоуз. Ее яхта прибыла сюда однажды утром, когда мы купались, и в тот же вечер мы отправились туда на обед. Это было настоящее приключение — попасть в заливчик, где «Сестра Анна» стояла на якоре. Сначала надо было сесть в шлюпку, затем пересесть в моторную лодку. И все это в темноте, да и море было неспокойным. Забавно, но когда мы наконец оказались на борту, то застали там настоящую английскую атмосферу. Вся команда состоит из английских матросов, еда тоже типично английская в худшем смысле этого слова. Не думаю, чтобы Дейзи была в восторге от этого своего круиза, ей до смерти наскучила эта семейная вечеринка, и когда мы предложили, что всем пора на боковую, она была просто счастлива наконец-то избавиться от нас!

И хотя мы уже договорились насчет следующего дня, она послала нам в качестве прощального подарка совершенно непристойную картинку с каким-то женоподобным матросом, а сама уплыла дальше.

Твое нежное и восхитительное письмо пришло вчера вечером, и я читал его, сидя под олеандровым деревом на рыночной площади. Жаль, что тебя еще не скоро призовут к присяге, надеюсь по крайней мере, у тебя будет достаточно времени, чтобы выучить слова.

Я ни за что на свете не стану писать «Блисс Бразерс».

Неделя проходила за неделей, и Сесиль начал терять терпение.

«Мой дорогой мальчик!

Я не нахожу себе места: время проходит, а мы с тобой все еще сидим по обеим сторонам океана. Это ужасно неправильно и чертовски глупо, поскольку, как мне кажется, мы бы прекрасно ужились друг с другом. Житье в Нью-Йорке совсем не то, что следует, и ужасно жаль, что пройдет еще один год, прежде чем ты сможешь встретиться со мной у меня на родине, а заодно понять, что тебе здесь наверняка понравится. Однако я полагаю, что это такое редкое счастье — все эти радости и удовольствия, которые мы не должны, поддавшись жадности, стремиться выпить до дна. Пока что я постоянно думаю о тебе, и твое лицо, словно фотография, всегда у меня перед глазами в самых разных ситуациях».

Сесиль продолжил свою кампанию по расхваливанию Бродчолка.

«Мне нравится изредка приглашать к обеду кого-нибудь из близких мне по духу соседей и проводить время в неторопливой беседе. Я уже тебе рассказывал о некоторых из них. Я бы также хотел, чтобы ты познакомилась о семейством Дэвида Сесиля — тебе они наверняка понравятся, — а также с необузданным зверем по имени Огастес Джон, — совершенно героической натурой. Таким образом, ты получила пример мирного течения моей здешней жизни.

Мы еще так и не получали вестей от блаженных братьев, но, черт побери, я не остановлюсь, пока не добьюсь от них того, что мне положено».

Однако напрасно Сесиль пытался узнать какие-нибудь новости о Гарбо. Он не получал никаких известий ни от нее самой, ни из газет. Вскоре Битон совершил поездку в «Кларенс-Хаус», чтобы сфотографировать принцессу Анну.

«Младенцев всегда трудно фотографировать, даже в самые удачные моменты, однако это был один из худших моментов, и крошке хотелось одного — чтобы ей дали поспать. Ну кто станет винить ее в этом? Мне не позволили взять с собой никакой игрушки, чтобы она таращилась в объектив, и поэтому нам пришлось изображать из себя певчих птичек, греметь ключами, хлопать в ладоши и прыгать. И чем больше мы изображали из себя идиотов, тем больше это утомляло крошку. Лишь капля глицерина на кончик языка, казалось, помогла нам добиться нужной реакции. Однако мне удалось поймать один замечательный кадр, который, я надеюсь, ты видела в своей местной газете, хотя, наверно, ни за что не догадалась, что это моя работа. Я имею в виду фото принца Чарльза: светловолосый мальчик целует младенца — чудесный снимок».

В октябре Сесилю удалось дозвониться до Гарбо. Он застал ее

страдающей от сильной простуды. Ему предстояла очередная поездка в Америку. 30 ноября Битон отплыл из Англии и прибыл в Нью-Йорк 5 декабря. Он надеялся встретить рождество вместе с Гарбо.

«Я душой и телом стремлюсь быть как можно ближе к тебе», — писал он.

По мнению Сесиля, Гарбо должна была заинтересовать новость о кончине шведского короля;

«Приспущенные флаги. Повсюду траур. Трубачи трубят скорбную весть — король Густав мертв. Милый старик, похожий на архиепископа с картины Тинторетто, — он то в панаме играл в теннис, то сидел дома за вышиванием. Это печальная утрата, тем более, приятно думать, что, как поговаривали некоторые, он тоже был неравнодушен к мальчикам!»

До отъезда в Америку Сесиль на несколько дней вырвался в Париж. Он посетил лес Фонтенбло, где наслаждался яркими красками осени. Он посидел у постели Дианы Купер. А еще он отправился на обед с Мерседес, предупредив Гарбо, что они наверняка «немного посплетничают о ней». Позднее Битон докладывал Гарбо, что о ней говорила Мерседес:

«Наш обед удался на славу. «Черное-с-Белым» без шляпы, в бордовом костюме под неизменным плащом a la «разбойник с большой дороги». Вид у нее довольно бодрый, она исполнена уверенности и всяческих планов. Немного раздражена тем, что в это время она не в Нью-Йорке; однако, скорее всего, стеснена в средствах. По-видимому, здесь дешевле. Мы действительно посплетничали о тебе, и я был довольно удивлен тем, что она якобы лелеяла надежду, что в один прекрасный день мы с тобой поженимся, а затем заявила, что теперь уже слишком поздно. Неужели? Подумать только, что эта огромная блондинка, которую «предпочитают джентльмены», теперь является хозяйкой твоей постели.

Сесиль пришел в восторг, обнаружив, что в Лондоне его ожидает письмо от Гарбо. Она все еще застряла в Калифорнии, ожидая, когда же, наконец, ее призовут к присяге, и поэтому надеялась, что в лучшем случае будет свободна только к концу месяца. Вкратце суть не послания сводилась к следующему: Гарбо истосковалась по Сесилю и всей душой желала снова его увидеть.

Сесиль описывает в дневнике свою встречу с Мерседес. На протяжении года им не раз доводилось перемывать косточки Гарбо. Поначалу Мерседес могла похвастать большей осведомленностью, но затем Сесиль оставил ее далеко позади. Временами он чувствовал, что ему не следует вести с Мерседес разговоры о Гарбо, однако это был не тот случай.

Мерседес сказала Сесилю:

— Ей вредно играть роли героинь даже слегка помешанных — например, чересчур меланхоличных или тех, кто кого-нибудь убил, — потому что она тотчас отождествляет себя со своей ролью и забывает, кто она такая.

Мерседес проконсультировалась с экспертом-графологом, и тот сказал ей, что «Гарбо — поистине великая и удивительная личность, словом, человек неординарный». Этот почерк вполне мог принадлежать актрисе, однако невозможно, чтобы эта особа была способна на такую малозначительную работу, как работа актрисы. Она представляет собой сплошное сочетание величия и мелочности. Мерседес называла ее «стихийным явлением». А еще она поведала Сесилю, что когда они вдвоем с Гарбо отправились в Сьерра-Неваду, то Грета вела себя как маньяк, как фавн — словно некий зверек, бегающий вверх-вниз по скалистым склонам, льнущий к ним, цепляющийся за них и верещащий от радости.

Мерседес в корне не одобряла нынешний стиль жизни Гарбо. Та якобы когда-то сказала ей:

«Я всего лишь вместилище всяческих страхов: я пугаюсь буквально всего — даже в поезде, даже в такси, по ночам и т. д.».

Мерседес сделала следующий вывод: «В этих городах она ведет такую неестественную жизнь».

Сесиль умолял Гарбо, чтобы она слегка поднажала на Гарри Крокера — поскорее подготовить необходимые для получения американского гражданства бумаги, чтобы таким образом она могла встретиться с ним в Нью-Йорке. Позднее ему в голову пришла новая идея:

«Обратись за британским гражданством. Хорошенько подумай, и пусть это станет твоим решением на 1951 год. После этого ты станешь Праздником всей Британии.

Мое дражайшее Пугливое Сердце, я посылаю тебе свой нежнейший привет».

5 декабря Сесиль приехал в свой «родной» отель «Шерри-Нидерланд», где он всегда останавливался с существенной скидкой в номере-люкс имени Сесиля Битона, поскольку Сесиль был его дизайнером. Гарбо оказалась в Нью-Йорке и пребывала в состоянии крайней нервозности. Однажды на приеме у врача она ни с того ни с сего разразилась слезами.

«У вас есть близкий друг или подруга?»

Гарбо не ожидала такого вопроса и от удивления прекратила лить слезы. Встретившись с врачом в следующий раз, она поинтересовалась:

«Вы что, решили, что я лесбиянка?»

«Господи, да нет, конечно, — отвечал тот. — Я имел в виду любого близкого человека. Вы живете слишком одиноко».

* * *

Сесиль и Гарбо возобновили свои совместные прогулки в Центральном парке, регулярно навещая Кейти, свою любимицу, самку орангутана. В конце своего пребывания, перед возвращением в Британию, Сесиль подвел итог сделанным успехам:

«До обидного короткая, но полная приятных моментов встреча. Когда я прибыл в Нью-Йорк, то неожиданно застал там Г. Она прилетела из Голливуда за три дня до этого, чтобы встретиться с Ласло из-за сыпи, что появилась у нее на подбородке. К тому времени, как мы встретились с ней, все уже было в порядке.

Мой первый вечер в Нью-Йорке мы провели вместе и были абсолютно счастливы. Вскоре ей предстояло возвратиться к себе в Калифорнию и ждать, когда будут готовы бумаги о ее натурализации.

После чего началось изматывающее ожидание. «Зачем я только вернулась? Ну почему я не осталась в Нью-Йорке до Рождества?» Ожидание явно затягивалось. У Гарбо была сильная простуда, и ей никак не удавалось от нее избавиться. Отправилась проведать агента — и вновь никакой повестки. Наконец бумага пришла. Фотографии в газетах по всей стране: Гарбо — подумать только, последний крик зимней моды — в вуальке! Эта вуалька в горошек, по мнению Гарбо, служила ей отличной защитой, чтобы люди не узнавали ее на улице, — отсюда И новый имидж.

Затем у Гарбо снова разыгрался синусит, и возвращение в Нью-Йорк пришлось отложить. И если бы я не отложил свой отъезд, то больше бы не встретился с ней; однако благодаря стечению обстоятельств смог увидеться с ней еще дважды. Каждый раз мы с ней понимали друг друга с полуслова, и в день моего отъезда я ощущал, что сделал несколько семимильных шагов вперед и что она, наконец, проявила себя эмансипированной женщиной, высказав желание наконец-то начать новую для себя жизнь в Англии.

Как-то вечером мы пошли с ней на премьеру новой постановки моего балета «Камилла». Когда перед началом представления я прошел за кулисы, участники сказали, что очень на меня обидятся, если я не выйду вместе с ними поклониться

перед публикой. Когда после спектакля аплодисменты вынуждали меня идти за сцену, я спросил у Гарбо, как она к этому отнесется.

«Нет, нет, ни в коем случае!»

Она была в ужасе, но я все-таки пошел. Когда я вернулся на свое место в партере, она все еще не могла прийти в себя от потрясения.

«Зачем тебе надо было это делать? Ты уже внес свой вклад в постановку, зачем же тебе теперь выставлять себя на всеобщее обозрение? Как ты можешь ставить себя на одну доску со всякими инженю?»

И тогда я понял, как вульгарно выставил себя напоказ и как в который раз природное чутье не подвело Г. — ведь в ее чувствах и поступках вам бы ни за что не удалось обнаружить ни грана вульгарности. Ей от рождения присуще особое чувство собственного достоинства.

Совсем недавно ее буквально забросали предложениями выступить по радио или на телевидении. Она даже не удостоила эти просьбы ответом. Правда, одну телеграмму она все-таки показала Джорджу, который отреагировал на это следующим ответом:

«Ты уж извини, но это нечто такое, от чего ты не имеешь права отказываться — у тебя уйдет на это не более получаса, зато посмотри, какие деньги они готовы заплатить. Ты просто совершишь глупость, если откажешься».

«А вот и нет. И деньги их мне тоже не нужны. Ничто на свете не вынудит меня пойти на подобные вещи рады саморекламы. Зачем мне это, зачем?»

и она снова заговорила о том, что бы ей хотелось сыграть. Она причитала:

«Будь у меня возможность играть одной, когда мне этого захочется. Будь у меня возможность взлететь, устремиться ввысь. Но ведь все зависит от совершенства механических вещей. При помощи камеры можно снять бессчетное количество дублей, а если вам не по душе аудитория, то как унизительно играть на потребу публике. Я не люблю играть даже в присутствии электриков, но как-то раз меня попросили сняться в фильме, где действие происходит в Венеции. Но это уже совсем не для меня — в Италии, где люди любят таращиться на тебя во все глаза».

И снова и снова мне становилось ясно, как это ужасно для нее — быть не в состоянии избежать того, чтобы быть узнанной. Беспрестанно какой-нибудь незнакомец встревает в ваш разговор и портит вам настроение — причем нередко, сами того не подозревая, они ведут себя крайне оскорбительно. Какая-то женщина тех же лет, что и Грета, подходит к ней и говорит;

«Ой, мисс Гарбо, знаете, я вас просто боготворила, когда была маленькой девочкой!»

Г. рассмеялась:

«Но я же не старше ее!»

В наш последний вечер вдвоем Г. пришла ко мне домой в шесть часов. Вид у нее был потрясающий, кожа как персик, на голове берет — и, как всегда, в своих страхолюдных одеждах. В этом году она наверняка приедет в Англию, и притом одна. Однако она не в состоянии пожертвовать своей жизнью ради одного человека. Трудно расставаться со старыми привычками. Даже для того, чтобы прийти ко мне сегодня, ей пришлось постоять за себя. Затем мы обедали внизу, в русской атмосфере Карнавального Зала. Мы ели шашлык, выпили водки и добродушно подшучивали над возможностью нашего брака. «Может, я еще решусь» — эти слова стали лейтмотивом нашего вечера.

Г. торопилась к себе в гостиницу, чтобы еще успеть попрощаться со мной по телефону. Интересно, а удастся ли нам наш старый трюк, успеем ли мы помахать на прощание друг другу? Было уже поздно. И поэтому я помахал простыней из моего окна на тридцать седьмом этаже, чтобы она заметила ее у себя в «Гемпшир-Хаусе», и тогда в ясном ночном воздухе вспыхнула еще одна звездочка — это зажглась лампа в ее окне. Это был прелестный прощальный жест, и я понял, что годы нашей дружбы сплотили нас еще сильнее. Она сказала:

— Со мной так обычно и случается. У меня не много друзей, но они на всю жизнь».

Глава 10
«А не остановить ли мой выбор на мистере Битоне?»

В 1951 году Сесилю удалось достичь двух давних заветных целей. Наконец-то была готова к постановке его пьеса «Дочери Гейнсборо»; вторая же заключалась в том, чтобы заманить Гарбо в Бродчолк. Редко кто из людей согласился бы на столь долгий и заведомо бесполезный поединок, причем с таким упорством. Однако Сесилю пришлось еще не раз пережить разочарование, что нередко выпадает на долю тех, кто проникся уверенностью, что его молитвы услышаны».

Вернувшись из Нью-Йорка в Англию, он возобновил свою переписку с Гарбо, однако теперь его письма были не столь регулярными и гораздо короче. Кстати, их переписка приобрела более уравновешенный характер, так как Гарбо стала отвечать ему гораздо чаще.

Сесиль отправился в Испанию, которая, по его словам, была не чем иным, как «чьим-то представлением о рае». Первоклассный отель пришелся Битону не по вкусу; и, что самое главное, не понравились и американцы за границей. В мае он побывал в Лондоне на предварительном просмотре фильмов британского фестиваля, после чего писал:

«Я рад, что наконец-то были приложены усилия, чтобы показать миру, на что способна эта страна, — разумеется, старые вещи, выставленные в Музее Виктории и Альберта вряд ли оставят кого-нибудь равнодушными и тотчас вызывают теплые воспоминания о детстве. Начинаешь понимать, какую обеспеченную и спокойную жизнь вели люди Викторианской эпохи — с их замечательными турецкими полотенцами, которые они согревали против камина, с их сейфами и шкатулками для драгоценностей, которым не страшны даже бомбы, с шеффилдскими ножами с девяносто девятью лезвиями, отчего они похожи на скульптуру Пикассо. И это и есть те самые вещи, которые ты должна понимать, если считаешь себя другом Битти».

В Америке Гарбо (наконец-то) после долгого свидания продала свой дом в Беверли-Хиллз. Она писала Сесилю, что последнее время ее преследуют огорчения. Шлее попал в больницу, и ей пришлось ежедневно проводить там по нескольку часов. Его выписали буквально вчера, а сегодня снова забрали в больницу.

Сама Гарбо все еще не может избавиться от простуды, которая затянулась уже почти на полгода. Она призывала Сесиля не переутруждать себя. Гарбо писала, что постоянно думает о нем, а также просила, чтобы он составил для нее список своих недомоганий, чтобы затем они могли сравнить свои ощущения.

Сесиль нашел это предложение довольно разумным, так как, по его мнению, оно могло подтолкнуть приезд Гарбо в Англию.

«Я не могу пожаловаться, потому что нам удалось добиться больших успехов, но я уверен, что как только ты приедешь сюда и наберешь полную грудь деревенского воздуха, ты сама удивишься, что же ты делала все это последнее время.

Тебе наверняка понравится снова окунуться в природную стихию. Никаких бетонных тротуаров и чахлых кустов, а только сочная трава, мох, ковер из листьев и веток.

Торопись! Торопись!»

Возвращаясь к письму Гарбо, Сесиль замечал:

«Был весьма огорчен, узнав, что Шлее нездоров. Вид у него был не слишком бодрый, опасаюсь, что его болезнь сильно осложнила твою жизнь. Я весьма этим расстроен.

Не забывай! Я сделал большую ставку на то, что в сентябре ты проявишь немного независимости. Давно пора позволить себе такую роскошь, как делать то, что тебе нравится. Это только пойдет тебе на пользу и предотвратит огромное количество неприятностей, а вот счастья заметно прибавит. На сим заканчивается четвертый урок».

Сесиль позвонил Гарбо, а затем написал новое письмо. Еще раз это произошло в поезде:

«Мой милый мальчик!

Ужасно рад поговорить с тобой. Но боюсь, что этот звонок чертовски подействовал тебе на нервы. Я не снимал заказ целых три дня — и каждый раз, когда мне казалось, что меня вот-вот с тобой соединят, телефонистка отвечала, что связи нет ввиду атмосферных помех или же, попозже, что номер не отвечает, или же что для тебя это уже будет далеко за полночь. Когда же, наконец, меня соединили, то ко мне в спальню, как назло, пожаловала моя матушка, чтобы сообщить мне, что она купила для меня в качестве подарка три серебряных подставки для тостов, и поскольку я никак не мог выставить ее за дверь, мне было довольно неловко разговаривать с тобой в ее присутствии. Отсюда и моя довольно отрывистая манера. Мне неприятно думать, что ты тоже, должно быть, сидела как на иголках.

Я очень тебе сочувствую. Скажи мне, что конкретно не так с нашим беднягой. Тебе, конечно, страшно не повезло, что ты оказалась втянута в эту крайне неприятную ситуацию, но, может,

все вскоре снова станет на свои места. Я не строю никаких планов относительно августа (на его вторую половину) и сентября, поскольку рассчитываю, что ты целиком и полностью посвятишь себя мне».

* * *

Гарбо написала Сесилю пару строчек из Беверли-Хиллз, говоря, что примерно до 1 июля ей можно будет писать через Крокера. Шлее все еще не поднимается с постели, так что, возможно, ей придется пожить у него на Пятьдесят Второй Восточной улице. Гарбо также сообщала, что ей до смерти надоело то и дело паковать вещи, и желала Сесилю успехов с его пьесой. Сесиля в это время все больше занимала премьера его «Дочерей Гейнсборо» в Брайтоне. В Лондоне он встретился с Гарри Крокером, который рассказал ему, что Гарбо перебралась в Нью-Йорк и сейчас отправилась на Бермуды. Она также писала Сесилю из Такерс-Тауна — местечка на Бермудах, — объявив, что теперь-то она находится на британской территории. Она путешествовала вместе со Шлее, и он ужасно напугал ее тем, что на пару дней снова слег в постель. Единственным ее впечатлением об острове стал вид с террасы. Было очень влажно, дождь лил не переставая, и брюки постоянно липли к ее ногам.

Гарбо писала, что вернется в Нью-Йорк примерно 20 июля и Сесиль может написать ей прямо туда. Она также поинтересовалась, как у него обстоят дела с пьесой, и выразила надежду, что скоро они будут вместе.

Премьеру «Дочерей Гейнсборо» критики разнесли в пух и прах. После премьеры Диана Купер металась по всему городу, уговаривая друзей и знакомых устроить Сесилю бурную овацию, когда тот прибудет на устроенный по поводу спектакля прием. Сесиль, однако, не клюнул на эту удочку.

* * *

«Дражайшая Г.

Не знаю, как мне удалось пережить прошедшую неделю. Уверен, что из-за нее я нажил себе язву. Каждое утро я просыпался с неприятнейшим чувством, будто я совершил некий постыдный поступок, словно я породил на свет некое чудовище. Пьеса получила весьма нелестные отзывы, и все говорят, что критики были излишне резки. Возможно, так оно и было. Пьеса

оказалась явно затянутой. Жаль, что мы не сумели тайком прогнать ее несколько раз перед зрителями. После премьеры нам удалось существенно улучшить спектакль. Теперь это довольно милая пьеска, но и для меня, и для публики явился неприятным потрясением тот факт, насколько этот опус прост и незамысловат. Признаться честно, я не тешу себя особой надеждой относительно ее будущего, а еще чувствую себя совершенно подавленным, потому что влепил в нее столько труда и угрохал уйму времени. На данный момент, как мне кажется, я неспособен написать нечто более стоящее. Тем не менее через неделю мы отправляемся в месячное турне, и я надеюсь, что мне удастся по ходу дела придать ей немного глубины. Ей требуется добавить обстоятельности. Нельзя, чтобы к концу спектакля зритель оставался безучастным. А пока что она мало кого способна растрогать до глубины души. К. (Констант Кольер и Кейти Хепберн) побывали вчера вечером на спектакле и горели воодушевлением и желанием помочь. Что ж, поживем — увидим».

* * *

Пьеса шла целых две недели, понравившись провинциальной публике, но осмотрительные спонсоры не торопились переносить ее на подмостки нью-йоркских театров и, чтобы не нести дальнейших убытков, запрятали декорации под замок.

Сесиль пришел к заключению, что вся его жизнь «полетела вверх тормашками». Вот как он изливал душу в письме к Гарбо:

«Я только и занимался тем, что пробовал создать кучу бесполезных вещей, — все главные, первостепенные проблемы, казалось, прошли мило меня, в то время как я гонялся за собственным хвостом. Я чувствую себя совершенно опустошенным и неприкаянным. Мне действительно хотелось бы поскорее жениться и коренным образом изменить свою жизнь. Я чувствую себя загнанным в угол моей секретаршей (все более невыносимой Мод Нельсон), и, мне кажется, моя жизнь далека от того, какой ей следует быть. Я бы даже сказал, что это нечто вроде спада после волнения предыдущих недель, однако одновременно он отлично высвечивает вещи в их перспективе».

* * *

В начале сентября Сесиль отправился в Венецию, когда — редкий случай весьма успешного сотрудничества — они с

Оливером Месселем (для бала Бейстеги) нарядили Диану Купер Клеопатрой. От Гарбо пришло два письма. В первом она делилась своими планами относительно путешествий. Вместе с Гюнтерами она 17 сентября вылетает в Европу, несмотря на то, что находится на грани нервного срыва. Она надеется провести с ними десять дней в Париже, а после их отъезда, если Сесиль все еще хочет ее видеть, вполне возможно, она сумеет приехать к нему в Англию. Гарбо писала Битону, что Шлее по-прежнему находится в подвешенном состоянии между болезнью и выздоровлением, и когда она поделилась с ним своими планами относительно путешествия, тот закатил скандал. И поэтому все ее планы до самой последней минуты будут висеть на волоске.

Затем в конце сентября Сесиль получил вторую прелестную весточку в ответ на свои последние письма, в особенности на подавленное послание от 31 июля. Гарбо посочувствовала ему насчет пьесы, призывая черпать утешение в том факте, что подобное не раз случалось с другими. Она рассуждала о его желании приехать в Нью-Йорк, однако отвергла это предложение, ссылаясь на то, что в настоящий момент в городе слишком жарко. Она все еще была занята тем, что пыталась отговорить Шлее от путешествия в Европу. Все это отрицательно сказывалось на душевном состоянии Гарбо, и она чувствовала себя преотвратнейше. Но именно в этом письме Грета сосредоточила все усилия на том, чтобы немного приободрить Сесиля в трудный для него момент.

Было похоже, что Гарбо, наконец, все-таки приедет. Сесиль послал из «Реддиш-Хауса» два письма — одно для Гарбо и одно для «русского осетра».

«Дражайшая Грета!

Рад слышать, что ты приезжаешь в Европу. Не смей возвращаться домой, не побывав в Англии. Если тебе хочется спокойной деревенской жизни, мой дом всегда в твоем распоряжении. Мне остается только надеяться, что ты все-таки успеешь, прежде чем осень уступит место зиме. А пока все вокруг смотрится как в сказке и я совершил несколько великолепных прогулок. Правда, временами льет как из ведра! Почерк у меня не слишком хорош: я порезал палец (указательный на правой руке), открывая жестянку с испанским ореховым кремом. Это несколько раздражает, так как сейчас я занят переписыванием пьесы.

Надеюсь, что Джорджу уже лучше. Похоже, ему пришлось пережить немало чертовски неприятных моментов — передай ему мои наилучшие пожелания.

В спешке,

любящий тебя Сесиль».

После чего последовало второе письмо:

«Дорогая, только что написал для тебя формальное письмо, чтобы ты могла показать его Джорджу (господи, как я ненавижу эти обманы). Ты должна постоять за себя, если хочешь приехать ко мне, — иначе ты упустишь свой последний шанс! Жизнь так коротка! И тебе надо пожить для себя.

Торопись перевернуть в ней новую страницу!»

* * *

Гарбо прибыла в Париж 8 октября и как бы в доказательство тому, что все возможно, если она того пожелает, несколько дней спустя объявилась в Саутгемптоне. Несмотря на все ее попытки оставить Шлее в Нью-Йорке, он тоже увязался за ней. Сесиль ухватился за подвернувшийся случай. Ему удалось увести Гарбо от Шлее, пока никто из них не успел сообразить, что же, собственно, происходит.

Для Гарбо началось двухмесячное пребывание в Англии. Сесиль с гордостью наблюдал, как к ней возвращается былая самоуверенность, счастье и хорошее самочувствие. «Месяц в деревне обернулся полной идиллией», — писал Сесиль. По утрам он работал над своей пьесой, а вторую половину дня посвящал исполнению причуд Гарбо. Они вместе посетили Бат и Оксфорд и как-то раз пригласили из Четона на чай племянника Сесиля, Джона Смайли. Они посетили исторические резиденции в Уилтоне, Кричеле и Хэтфилде.

В это время у Сесиля гостил Хэл Бертон, помогая ему с техническими аспектами пьесы «Дочери Гейнсборо». Несколько дней Гарбо не попадалась на глаза Хэлу, хотя он ощущал ее присутствие в доме. Когда же они наконец встретились, его совершенно безобидная натура пришлась Гарбо по душе. Он вспоминает ее радость от пребывания в Бродчолке, несмотря на то, что нахальные репортеры взяли дом в настоящую осаду, время от времени выскакивая из-за живой изгороди. Кроме того, Хэл помог Гарбо пережить трудный для нее вечер, когда в дом съехалось все семейство Сесиля, дабы отпраздновать семидесятидевятилетие его матери; мать Сесиля считала, что во время пребывания Гарбо она превратилась в постоянную помеху, и отзывалась о гостье исключительно «эта женщина». Сестры Сесиля также отнеслись к приезду Гарбо неодобрительно и даже не пытались проявить хоть чуточку вежливости. Разумеется, Гарбо тоже не прилагала к этому никаких усилий. Мод Нельсон, вечная

паникерша, мучилась обычной ревностью и поэтому заняла сторону миссис Битон.

У Сесиля хватило духу представить Гарбо Питеру Уотсону, своей прежней огромной любви. Гарбо приревновала его к Питеру, однако тот держался с ней дружески и изображал шутливое удивление, что Сесиля занесло на новую стезю. Однажды в Бродчолк наведался Аластер Форбс, и именно в этот день Гарбо спросила: «Должна ли я повесить свою шляпу вместе с мистером Битоном?».

Стивен Тенант — сосед Битона, затворник в своем поместье Уилсфорд-Манор — на протяжении десяти лет был поклонником Гарбо. Он тотчас пришел в восторг, узнав, что Сесиль привез ее погостить, и, когда Грета похвалила его новые голубые венецианские ставни на верхнем этаже лестницы, его радости не было предела. Вознамерившись во что бы то ни стало увидеть ее снова, он захватил с собой на обед в «Реддиш-Хаус» своих гостей, Джулиана и Джулиет Хаксли.

Гарбо принялась дотошно расспрашивать сэра Джулиана о брачном танце богомола, который заканчивается пожиранием самца, а Стивен никак не мог налюбоваться ее «чудесными руками, с длинными, похожими на лепестки пальцами».

Кларисса Черчилль, уилтширская соседка Битона, которая в тот момент колебалась, не зная, выходить ей замуж за Энтони Идена или нет, тотчас поддалась очарованию Гарбо. «Ну кто, скажите, способен устоять перед чарами Гарбо, особенно если те включены на полную мощность, — писал Сесиль, — а они несомненно были включены ради Клариссы».

Маркиз Батский так и не сумел узнать шикарную даму, которую Сесиль привез с собой на Стерфорд-Мед, и когда он поинтересовался у Битона, кто же это такая, тот объяснил;

— Это же Гарбо, эх ты, чурбан!

Огастес Джон, которого Сесиль давным-давно записал в число избранных, достойных встречи с нею, был просто заворожен.

Вот что он писал Сесилю:

«Разумеется, я не мог не поддаться ее чарам и надеялся снова встретить ее в наших местах, однако до меня дошла весть, что она уже уехала в Америку. Quel oiseau![11] Ты не пошлешь за ней? Мне воистину следует постараться запечатлеть эту божественную улыбку, но, увы, я не в состоянии следовать за ней в Америку, это меня доконает. Впрочем, после того я уже согласен умереть!»

* * *

Леди Памела пригласила Гарбо и Сесиля к себе на предвыборную вечеринку в редакции «Дейли Телеграф». Там присутствовали маркиз Солсбери, Энтони Хед и другие видные политики. После обеда дамы поднялись наверх и леди Памела сказала:

— Господи, ну никак не желают торопиться.

И тогда Гарбо предложила;

— Я спущусь вниз и приведу их.

И она действительно спустилась вниз и удивила собравшихся джентльменов тем, что, широко распахнув двери обеденного зала, заявила:

— Пора подняться наверх!

Леди Памела не могла поверить собственным ушам, когда лорд Дэвид во всеуслышание заявил:

— Я к ней прикоснулся!

Гарбо вновь стала настоящей душой компании и, закинув назад голову, заливалась смехом.

Джеймс Поух-Хеннеси, еще один закадычный приятель Сесиля, настолько увлекся Гарбо, что был не в состоянии что-либо делать целых полтора месяца.

«Она наделена какими-то непонятными неотразимыми чарами, которые совершенно свободно использует на всех и каждом. Нарочно ли это или нет — никто не знает. По-моему, Гарбо не кто иная, как дочь Короля Троллей из «Пер Гюнта» — некое странное, не от мира сего существо из сказочного северного леса, которое непонятно каким образом оказалось заброшено в наше время.

Ее можно понять, лишь если предположить, что она некая мифологическая фигура. И тогда до вас постепенно начинает доходить, что она совершенно необразованна, интересуется теософией, диетами и прочей дребеденью, а разговаривать с ней настолько нудно, что выть хочется.

Сесиль Битон оберегает ее, словно орел, — никому не позволено оставаться с ней наедине, она завтракала здесь с Джоном (его братом-искусствоведом) и мной, а всего я видел ее девять или десять раз. Однажды мне удалось остаться с ней наедине на пару минут, во время которых она попросила меня объяснить ей, почему с тех самых пор, как она побывала в Лондоне, к ней привязалась простуда. Теперь она уже в Париже, в поисках новых миров, которые можно было бы завоевать».

* * *

Диана Купер настояла на том, чтобы Сесиль привез Гарбо в Париж, однако тому было не по душе от мысли оказаться на чужой территории, хотя, по его словам, между ними существовала «удивительная близость и счастье».

Жить в дорогом отеле оказалось малоприятным делом, и каждый раз, чтобы поесть, они пытались улизнуть из гостиницы. Сесиль вел излишне творческую жизнь, чтобы быстро привыкнуть к новой для него роли сопровождающего. В конце концов Сесиль устал, хотя и не всерьез, от бесконечных вопросов: «Куда мы сегодня пойдем?»

Мерседес в это время тоже была в Париже. Она жила с Поппи Кирк и часто виделась с ними. Однажды вечером они пошли проведать Элис Б. Токлас. Элис незадолго до этого случайно встретила Мерседес в автобусе. Она заметила напротив себя даму в красивых перчатках канареечного цвета, и Мерседес представилась ей. Элис не скрывала удивления: у той весьма довольный вид буржуазной дамы средних лет.

Однажды вечером Мерседес, Сесиль и Гарбо постучали в дверь дома № 8 на Рю Кристин, но Элис их не услышала. Мерседес позвонила позже, и они договорились о встрече. Элис докладывала об этой встрече Карлу Ван Фехтену:

«Сесиль весь взлохмачен, измучен и души в ней не чает; она слегка застенчива и непритязательна. Она с невинным видом спросила меня в лоб: «Вы не знакомы с мосье Волларом? Совершенно неотразимая личность и великий charmeur — отъявленный соблазнитель». Она казалась расстроенной, словно юная девушка, которая мечтает о политическом убийстве. Будь добра, объясни ее мне. В ней не было ничего загадочного, но все равно ответа я не нашла. Французские газеты пишут, что они (Сесиль и Гарбо) собираются пожениться, однако, глядя на нее, Никак не скажешь, что она готова сделать столь вопиюще невинный шаг».

* * *

Сесиль намеревался продлить британский отдых Гарбо, пригласив ее на Рождество вместе с Майклом Даффом. Однако она неожиданно заявила, что собирается домой. Сесиль, скрепя сердце, оставил ее в Париже под присмотром Мерседес.

К неведению Сесиля, забота Мерседес о Гарбо носила не столь простой характер. Если верить Раму Гопалу, в квартире Мерседес однажды разыгралась безобразная сцена, когда Гарбо и Поппи Кирк буквально вцепились друг в друга. В длинном

письме, написанном им Мерседес, в 1955 году, после того как ее пути с Поппи Кирк разошлись. Рам писал:

«Помнишь, как мы с тобой покатывались со смеху, когда ты рассказывала мне, как в «Савое» она колотила тебя головой о стену и пол и пыталась запереть тебя или же выставить за дверь, и все потому, что ты провела со мной несколько дней в Лондоне!!!! А помнишь, как они с Гретой колошматили друг друга у тебя дома в отеле «Биссон»! — Слава Господи, это все позади!»

15 декабря Гарбо улетела к себе в Нью-Йорк самолетом «Пан Американ». Мерседес проводила ее в аэропорт Орли, и они нашли спасение в баре. Гарбо закурила американскую сигарету. Их оставили в покое до тех самых пор, пока они не дошли до таможенного барьера. В этом месте представители прессы подались вперед, и Мерседес что-то крикнула им.

Прибыв к себе домой еще до отъезда Гарбо из Парижа, Сесиль отправил ей письмо из скованного первым морозцем Бродчолка. Он докладывал, что его экономка, миссис Мердок, оплакивала отъезд Гарбо.

«Ни о ком из наших гостей я не скучала так, как о ней, — призналась она Сесилю. — Целых три дня, как вы вернулись без нее, я не находила себе места. Она такая простая и общительная. С ней мне было так легко».

Сесиль был опечален.

«Что толку говорить о том, как приятно мне было принимать тебя в гостях. Будто ты не знаешь, что мы все молились на тебя и ждем не дождемся, когда ты навсегда переступишь порог своего настоящего дома.

Любящий тебя

Сесиль».

Во время их совместного пребывания снова зашел разговор об их возможном браке, и когда Сесиль задал вопрос напрямую, то получил вселяющий надежду ответ. «Когда я спросил ее, выйдет ли она все-таки за меня замуж, она сказала, что, по всей видимости, да».

Сесиль знал, насколько вообще можно было быть в этом уверенным, что через три недели снова увидит Гарбо в Нью-Йорке. Впоследствии он описывал приезд Гарбо к нему «как долгую и прочувствованную осень», которая в совокупности с работой над его новой пьесой «превратилась для меня в кисель».

Вскоре от отбывшей домой гостьи пришла первая весточка. Гарбо благодарила Сесиля за все полученные от него рождественские телеграммы. Она была глубоко тронута, получив

поздравление от Клариссы, Джеймса Поуха-Хеннеси, Хэла Бертона и даже от миссис Мердок, которая развеселила своим приглашением приезжать в гости, когда ей того захочется. Гарбо просила Сесиля привезти ей красной бумаги для абажуров и, в свою очередь, посылала самый сердечный привет Джулиет Дафф, Саймону Флиту, Клариссе, Хэлу Бертону, мистеру Банди, миссис Мердок и всем другим обитателям «Реддиш-Хауса» и Пелхэм-Плейс.

Вполне естественно, что Сесиль позвонил Гарбо тотчас по приезде в Нью-Йорк 25 января 1952 года. Все его попытки дозвониться до нее оказались бесполезными, и телефонистка сообщала:

— Мисс Гарбо не отвечает.

Сесиль не знал, что и думать: «Она опять взялась за старое. В уме не укладывается, как такое возможно». Вскоре Сесиль был еще более обескуражен странным письмом, полученным им от Гарбо вместе с розовой азалией, «торчащей в горшке в окружении обыкновенных папоротников».

Гарбо умоляла Битона не думать о ней как о лишившейся всякого рассудка. У нее имелось немало причин, писала она, чтобы временно избегать встречи с ним, и выражала надежду, что он, как человек занятой, не заметит, как пролетит время. Письмо заканчивалось туманными строчками, что она всегда рада видеть его в Нью-Йорке. И на этом все.

Сесиль счел такое отношение к себе просто чудовищным, ведь, по его мнению, они «три месяца прожили как муж и жена». Сесиль считал, что был до конца честен с ней и ни разу не пытался изображать из себя того, кем не являлся на самом деле, и поэтому считал, что заслуживает лучшего отношения.

Оставшиеся в Англии друзья забросали его вопросами, как поживает недавняя гостья из Америки. Его ответы были малоутешительны. Вот что он написал леди Джулиет Дафф:

«Мы с Майклом условились пообедать завтра вместе с Гарбо, но последнее время, с тех пор как она вернулась домой, состояние ее неважнецкое, так как ее постоянно мучает простуда. Здесь в Бродчолке она чувствовала себя куда счастливее».

Хэл Бертон хотел послать Гарбо книгу, однако Сесиль написал ему следующее:

«Боюсь, что тебе не стоит предпринимать что-либо насчет Гарбо. Настроение немного улучшилось, но ей по-прежнему не угодишь; к тому же, я не думаю, чтобы она хоть что-то читала. Она снова опутана по рукам и ногам своей странной преданностью этому довольно-таки зловещему Распутину из «Дорожной Компании», и я даже не представляю, удастся ли ей

когда-нибудь освободиться от этих пут. «C'est la vie», — вздыхает она; но ведь это не так, все зависит от нее самой».

Хэл все-таки послал книгу, и Сесиль прислал в ответ более утешительное известие: «Грета просила меня передать ее нежнейший привет и поблагодарить тебя за чудесную книгу. Она всегда мило отзывается о тебе. Тебе, в отличие от других, удалось по-настоящему расположить ее к себе — по-моему, ты бы мог ей сильно помочь. Я вижу ее теперь гораздо реже, чем раньше, потому что этот ее друг ужасно ревнив и настоящий хищник. Он словно околдовал ее. Все это весьма прискорбно. Когда мы все-таки встречаемся, то пылаем, как два дома, охваченные пламенем. Непохоже, однако, чтобы ей снова удалось улизнуть от него. А тем временем жизнь продолжается».

Когда Сесиль, наконец, увидел Гарбо, она пожаловалась ему на сильную простуду, не отпускавшую ее с самого приезда, а также на то, что Шлее в ужасно подавленном состоянии и снова собирается ложиться в больницу. После обеда с Майклом Даффом Сесиль проводил ее домой в «Гемпшир-Хаус». Но Гарбо по-прежнему отказывалась принимать окончательное решение, и Сесиля это начинало раздражать. Вспомнив совет Моны Харрисон Уильямс, он тоже стал держаться слегка отстраненно, рассеянно чмокал Гарбо на прощание в щеку и уходил, даже ни разу не обернувшись.

Так прошло еще две недели, и Майкл Дафф должен был возвращаться в Англию. Сесиль предложил пообедать втроем, и Гарбо согласилась. Но Сесиль не стал приглашать Майкла. В результате обед превратился в трапезу вдвоем в стенах «Колониального Клуба», и Битон загнал Гарбо в угол вопросами о том, почему она не желает его видеть.

— Ой, сейчас я не могу назвать тебе причины, ведь я выпила, — сопротивлялась она.

Но Сесиль был неумолим:

— Послушай, ведь я же могу вернуться домой — а это уже совсем скоро — и рассказать моим друзьям и твоим друзьям, что я вообще не видел тебя. Кроме того, как мне кажется, я заслуживаю того, чтобы получить объяснение. Мне казалось, что мы оба были счастливы друг с другом в Европе. У нас на горизонте, если можно так выразиться, не было ни облачка. И когда мы прощались, то расставались с любовью и нежностью. Мне не в чем упрекнуть себя по отношению к тебе. Я ни разу не пытался строить из себя того, кем я не являюсь, я безоглядно тебе доверял, и если у тебя нет действительно веских причин для того, чтобы не разговаривать со мной по телефону и давать телефонистке указания: «Она не отвечает», то в таком случае твое

поведение сплошное притворство!

— Осмелюсь заметить, что я просто невоспитанная свинья.

— Не только это, ты, должно быть, ужасно несчастна.

— Так оно и есть.

— Тебя должна мучить совесть. Она должна не давать тебе покоя оттого, что ты так дурно обошлась со мной.

— Верно, однако не думаю, чтобы ты особенно переживал.

— То есть ты решила, что я, конечно, не стану угрожать, что выброшусь из окна.

— Если бы ты такое заявил, я бы просто не поверила.

— Верно, я не из тех, кто торопится расстаться с жизнью. У меня есть другие интересы. У меня есть работа, друзья, увлечения, но ты способна наносить мне глубокие душевные раны, и я действительно глубоко оскорбился. Неужели тебе и впрямь доставляет удовольствие мучить людей и видеть их страдания?

— Нет, конечно, я и не думала, что ты будешь так переживать.

— Неужели? Не кажется ли тебе, что это довольно странно, что после нашей близости и преданности друг другу ты ни с того ни с сего ставишь на всем точку?

— Но я не думала, что мы настолько любили друг друга к тому времени, как мне уезжать из Парижа.

— Признаюсь, я был не столь счастлив с тобой в Париже, как, например, в Англии, но это лишь потому, что я терпеть не могу эти толпы бездельников. Ведь это бесполезное прожигание жизни. Но неужели ты и впрямь подумала, что я тебя не люблю?

— Я не думаю, чтобы ты вообще когда-нибудь любил меня по-настоящему.

— Тогда скажи на милость, чем же это я занимался все последние пять лет? На кого я тратил всю свою нежность, все свои теплые чувства?

— Я бы сказала, что тебе просто нравилось заигрывать со мной. Так, для разнообразия.

— Ни за что не поверю, что ты это всерьез. Ты слишком хорошо знаешь меня, чтобы говорить подобные вещи. Тебя должны мучить угрызения совести, что ты ведешь себя подобным образом по отношению к близким и дорогим людям.

«Я намекал на ее отношение к матери и брату, с которыми она не поддерживала никаких родственных связей. Передо мной она притворяется, что ее матери нет в живых, хотя на самом деле та, между прочим, живет в Коннектикуте. Я предостерег Грету, что не стоит пить аквавит в середине дня, а сам живо заказал себе еще одно виски. Меня здорово развезло.

Вскоре и моя любительница аквавита тоже была хороша. Мы оба были как следует навеселе, и Грета не поняла моих намеков насчет «родных и близких» и подумала, что я имею в виду Шлее, будто тот настраивает ее против меня».

— Но это же неправда! — заявила она. — Он не имеет к этому ровно никакого отношения. Я сама приняла решение еще до твоего приезда. И то, что я решила, действительно не имеет к нему никакого отношения. Просто в тебе столько энергии, ты просто не умеешь сидеть на одном месте. С тобой постоянно находишься в бегах — а у меня сейчас трудный период жизни (климакс), и у меня не было настроения встречаться с тобой. Повсюду такая суматоха. И мне не по себе, я совершенно разбита и просто неспособна поспевать за тобой.

— Неужели ты хочешь сказать, что со мной невозможно совершенно расслабиться?

— Нет, просто пока у меня нет настроения. Ты плохо меня знаешь. И поэтому выносишь резкие суждения. Кто-то прислал мне в Валентинов день записную книжку, и в ней ты пишешь, что я бессердечная, что я неспособна на истинную дружбу. Но ведь это не так.

— Но ведь это же было написано двадцать лет назад, когда я тебя не знал и ничего не понимал в этой жизни, и рубил сплеча. В любом случае, по-моему, просто несправедливо держать на меня обиду за то, что я писал двадцать лет назад, до того, как познакомился с тобой, и что уже успел позабыть.

«Неожиданно я понял, что невольно цитирую строчки из злополучной статьи о том, поженимся ли мы. Слова показались мне ужасно знакомыми, однако я не мог представить себе, каким образом я их использовал и как вообще кто-либо мог докопаться до них. И еще я понял, что ей было больно читать эти строчки. Однако нельзя сказать, что только это повлияло на ее отношение ко мне.

— Так, значит, как? Все кончено?

— Не знаю, — она искоса посмотрела на меня. — Ты хорошо выглядишь, — заметила она. — Похудел?

Я не стал раздавать ей комплименты, а только сказал:

— Я точно знаю, как тебе надо укладывать волосы.

Ей нравилось, когда я брал ее за волосы и приговаривал:

«Nicht machen».

— А теперь ты помнишь, как крепко ухватил меня за волосы в том парижском ресторане?

— Да, ты рассвирепела.

И только теперь мне стало ясно, что на самом деле ей это ужасно понравилось. И неожиданно все снова стало на свои

места. Напряженность исчезла. Никаких обид…»

Сесиль отвел Гарбо к себе в гостиницу, чтобы она могла припудрить нос. Ожидая лифт, он понял, что ей хочется, чтобы он ее поцеловал. И Битон запечатлел поцелуй.

«Я позвонил ей на следующее утро. Мы снова стали старыми друзьями. Словно не произошло ничего такого, что способно нас разлучить или же нарушить нашу близость. Мы поговорили о Трумене (Кэпоте), и, когда я похвалил его, она сказала, что как только мы будем пить с ним мартини, она тоже присоединится к нам. Ей надо сделать кое-какие покупки, выбрать кое-что из одежды и вообще походить по магазинам.

Встреча с Т. прошла отлично, но Г. обещала пообедать со Шлее. Позднее она не смогла пойти со мной на балет, опасаясь преследования представителей прессы, и я отплатил ей тем, что отказался от ее услуг и назначил встречу кому-то, кто первым позвонил мне, когда она была у меня в комнате.

Странная, непонятная натура, которую ради нее же самой следует держать в узде, чтобы она не натворила чудовищных ошибок».

Причиной охлаждения отношений между Сесилем и Гарбо, конечно же, являлся Джордж Шлее. Его не на шутку встревожило двухмесячное пребывание Гарбо в гостях у Сесиля, и он впервые усмотрел в Битоне серьезную угрозу. Именно давление со стороны Шлее вынудило Гарбо неожиданно вернуться перед Рождеством в Нью-Йорк.

В середине апреля Сесиль возвратился в Англию. Вскоре последовало письмо от Гарбо. В нем она почти что извинялась, насколько была способна, за свое поведение. Она во всем обвиняла разницу в их характерах, противопоставляя жизнелюбие Сесиля своим издерганным нервам. Гарбо также спрашивала, как поживает его матушка, и передавала сердечный привет Сесилю и Англии.

Глава 11
«Богини больше нет»

Сесиль отплыл в Лондон в начале апреля и с головой окунулся в работу. Гарбо снова отправилась в свои странствия. В письме Сесилю она уверяла, что, несмотря на ее недавнее молчание, она его не забыла. Совершенно неожиданно она побывала в Австрии вместе с Эриком Ротшильдом — они навестили его жену Вину и ее мать. Это было довольно странное время, но Гарбо спрашивала, не хочет ли Сесиль тоже побывать там с Клариссой и Хэлом Бертоном. По ее мнению, Австрия — бесподобная страна. Правда, ее пребывание там было омрачено неизбежным, хотя и привычным появлением «Шлейски». Что касается самой Гарбо, то она все сильнее ощущала себя потерянной, и ей казалось, что, возможно, Сесиль будет только рад, если она не станет строить никаких планов. Интересно, чем он сейчас занимается — на всякий случай Гарбо оставила ему адрес парижского банка Моргана, чтобы он мог написать ей.

* * *

Сесиль отправился в Шотландию, чтобы сделать последние штрихи к гастролям Лунтов с «Кадрилью», по пьесе Ноэля Кауэрда. Это была романтическая комедия, в чем-то похожая на «Частную жизнь», и средство выражения для Алфреда Лунта и Линн Фонтанн. Пьеса принесла им триумфальный успех, а для Сесиля явилась примером плодотворного сотрудничества. У его матери случился сердечный приступ, не на шутку его встревоживший, однако одновременно пришли и добрые вести.

* * *

«Не сомневаюсь, что к этому времени тебе уже известно, что Кларисса вышла замуж за мистера Идена. Она отвергла его год назад, но затем, полгода спустя, согласилась принять его предложение. Я весьма счастлив по этому поводу, поскольку она удивительный человек и ее новая роль даст ей возможность найти применение своим замечательным качествам. Все лето она была на высоте, вся такая сияющая и милая, и полная приятных ожиданий. Все хлопоты прошлой осени проистекали от ее

непредсказуемости и неуверенности в себе».

Гарбо, как и Сесиль, от души радовалась за Клариссу. Она даже в чем-то видела себя виновницей этого союза, указывая, что этого могло бы и не произойти, если бы они сняли дом, как было предложено. Вместо этого, писала она, Сесилю бы пришлось бегать за Клариссой по пляжу, уговаривая ее выйти замуж за мистера Идена. Интересно, писала Гарбо, понимает ли министр иностранных дел, сколь многим он обязан Сесилю. Что же касается ее самой, то Сесилю повезло, что их роман зашел слишком далеко. Тем не менее вполне возможно, что числа пятого сентября она будет в Париже. Писать ей можно все так же на морганoвский банк. Шея у нее болит по-прежнему. А еще она шлет нежнейший привет белокурой мисс Иден.

В сентябре Сесиль отправил ей ответ.

«Дражайшая Г.! Я все еще здесь, но мое долгое, никем не нарушаемое уединение заканчивается в воскресенье, когда мне придется на несколько дней съездить в Лондон. А затем снова назад, чтобы кое-что успеть доделать. Лондонский дом постепенно приобретает новый вид. Я бы, пожалуй, вырвался в Париж, если бы знал, что сумею встретить тебя без всяких помех, и, возможно, тебе захочется приехать ко мне. Я бы не хотел думать, что тебе настоятельно необходимо торопиться в Нью-Йорк к твоей волосатой миссис Бейтс. Или все-таки у тебя есть причины? Другая Кларисса собирается ненадолго к себе в деревню 14-го числа. Как было бы чудно, если бы мы снова могли немного побаловаться маринованной селедкой и сливовицей. Благословляю тебя. Б.».

* * *

Гарбо и Сесиль так и не встретились тем летом. Кроме того, былой энтузиазм, предшествовавший их встрече 1951 года, в его письмах заметно поостыл. В октябре Сесиль слег с сильной простудой, а 13 октября Гарбо возвратилась из своих странствий на Манхэттен. Сесиль писал:

«Спасибо тебе за милое письмо. Мне так печально думать, что мы оба сейчас переживаем унылый, однообразный период, и, как мне кажется, Нелла Уэбб сильно ошиблась в датах. Правда, она советовала нам не волноваться, поскольку все уладится само собой. Не забывай, что тебя ждет большое будущее, какое ты только пожелаешь. Я уверен, что вскоре все повернется к лучшему, потому что ты была умницей и ждала, и за это тебе полагается вознаграждение. Я всей душой стремлюсь приехать к

тебе, потому что, как мне кажется, тебе трудно вырваться сюда, ко мне, что, впрочем, было бы гораздо разумнее. Напротив меня на камине в высоком стакане стоят две белые розы. Как бы я желал взять и подарить тебе их такими. Я постоянно думаю о тебе. Я постоянно о тебе думаю».

* * *

На дворе уже стоял ноябрь, а это означало, что Сесилю пора было возвращаться в Соединенные Штаты. Он уезжал из Англии, получив от Трумена Кэпота предостережение: «Дорогой мой, я надеюсь, что тебе проще поладить с Гретой Г., по крайней мере, тебя она так не издергает. Однако боюсь, что с ней никогда не удастся поладить до конца, потому что она очень недовольна собой, а недовольные люди всегда эмоционально неустойчивы. Они просто ни во что не верят, за исключением своих собственных недостатков».

* * *

Сесиль прибыл в Нью-Йорк и не мешкая дал знать о своем приезде Хэлу Бертону: «Уже говорил с Гретой по телефону, но ее еще не видел. Она опять вся такая замученная и никак не может избавиться от простуды. То есть, все та же старая песня».

* * *

Сесиль возлагал большие надежды на Мерседес, с которой он на протяжении всех пятидесятых годов поддерживал регулярную переписку относительно состояния физического и душевного здоровья Гарбо, ее странствий и перепадов настроения. В некотором роде они оба запутались в одной и той же паутине, зациклившись на Гарбо. Они оба досконально изучили ее, им обоим казалось, что они заслужили ее дружбу и доверие. Они пытались ее защитить. Ее безвольность нередко доставляла им глубокое огорчение. Мерседес страдала, страдал и Сесиль. А когда у кого-то из них с Гарбо случалась размолвка, вполне естественно, что они обращались за поддержкой друг к другу, словно были не в силах разорвать заколдованный круг.

* * *

19 ноября Сесиль писал Мерседес: «Грета по-прежнему жалуется на синусит и на то, что ее замучили частые простуды. Но, как мне кажется, на самом деле ее замучила скука, а она такая пассивная и сейчас более, чем всегда, готова дожидаться чьих-то «распоряжений». Какая жалость, что столько драгоценного времени растрачивается впустую. Влияние зашло столь далеко, что она начала разговаривать при помощи «знаменитых» коверканых «шлеизмов» — этакой смеси славянского и бруклинского диалектов с детским сюсюканьем! Какое низкое падение для столь благородного существа, какое до обидного бессмысленное существование!»

* * *

Сесиль тянул время и не звонил Гарбо, опасаясь, что она не станет поднимать трубку. Однако он позаботился о том, чтобы ей стало известно о его приезде. Наконец он все-таки собрался с духом и позвонил, и между ними состоялся вялый разговор. Они несколько раз встретились, однако без особой радости. Как-то раз они позавтракали вместе.

«Г. совершенно не узнать, вид у нее более обыденный, на коротких волосах химическая завивка, глаза почти не накрашены, бледная, худое лицо какое-то насупленное и недоверчивое, на плечах серое шерстяное платье и плащ из какой-то дерюги».

Сесиль поначалу разнервничался, однако, встретившись с Гарбо, постепенно пришел в себя. Из ресторана они вышли, держась за руки.

«Между нами снова возникла нежность. Я снова проникся уверенностью и в некотором роде, однако по-доброму, пользуюсь своим влиянием. Ведь сколько еще существует сложностей — ее скрытность, ее недоверчивость, — однако при встрече все сразу становится понятно». И все-таки Сесиля не отпускала тревога. «Десять лет назад она была прекрасна. Эти годы оказались к ней довольно безжалостны. А следующее десятилетие вряд ли окажется более милосердным».

Сесиль досадовал, что Гарбо отказалась встречать новый 1953 год вместе с ним. Она пообедала со Шлее, вернулась к себе домой и, забравшись в постель, слушала, как до самого утра машины гудели клаксонами. В начале года Сесиль отправился в турне по Штатам, где выступал с лекциями, и Гарбо пришла попрощаться с ним. Завтракали вместе, Сесиль зачитал Гарбо статью из «Нью-Стейтсмен», в которой ее просто называли «Инкогнито». Гарбо пришла от этого в восторг.

«Как прекрасна может быть жизнь, если люди ведут себя соответствующим образом!»

По мнению Сесиля, Гарбо была «чувствительна, ранима и трогательна».

Во время этого его приезда в США их встречи были довольно редки и Сесилю пришлось смириться с довольно неприятной истиной: «Она дала мне понять, что Шлее — главная фигура ее жизни и что мне не стоит делать ставку на такого ненадежного человека, как она».

В марте 1953 года Сесиль вернулся в Британию и вскоре нашел для себя утешение в работе. Ему предстояло сфотографировать королеву и королевскую семью по случаю коронации. 14 марта он послал Гарбо из Бродчолка короткое письмецо — «пару строчек, чтобы просто дать о себе знать», — в котором описывал праздничное украшение лондонских улиц. Ему повезло: он получил приглашение в Вестминстерское Аббатство. А также кое-что улучшил у себя в саду. Судя по всему, было бессмысленно надеяться на приезд Гарбо в Европу в ближайшем будущем. В пасхальный понедельник Сесиль писал Мерседес:

«Жаль, что Грета не приедет в Европу — она все еще дожидается, когда этот тип в последний момент изволит распорядиться; ее остальным друзьям мало что остается, если она считает, что жизнь закончена и все бесполезно. Должен признаться, что мне не нравится это обиходное американское выражение «ну и что». В нем чувствуется какое-то самодовольное приятие собственного невежества».

* * *

Тем не менее летом Гарбо съездила в Италию, где она присоединилась к своим знакомым Рексу Харрисону и Лилли Палмер. Харрисону принадлежала вилла под названием «Сан-Дженезино», в честь святого — покровителя актеров. Шлее и Гарбо навещали ее, хотя сами жили на яхте, поставленной на якорь в самом дальнем и грязном конце залива, исключительно с той целью, чтобы избежать назойливых представителей прессы. Местные жители, привыкшие к заезжим знаменитостям, обычно кидались за автографами, но Гарбо они встретили аплодисментами. «Обычно, — писал Харрисон, — она торопливым шагом пересёкала главную площадь, пытаясь поскорее укрыться от посторонних глаз, но итальянцы стояли, хлопая в ладоши, чего я до сих пор ни разу не видел… Она обожала прогулки в полном одиночестве, по горным тропинкам к

крестьянским фермам за нашим домом, иногда я тоже гулял с ней. Мне ужасно нравилось беседовать с ней. Временами ее охватывало веселье — по вечерам она порой заливалась смехом по нескольку часов подряд, а затем снова погружалась в глубокую депрессию».

* * *

Харрисон пригласил Гарбо на борт яхты Дейзи Феллоуз, чтобы она познакомилась с Виндзорами. Разговор никак не клеился, и, вспоминает Харрисон, стоило только беседе застопориться, как приятель герцогини, Джимми Донахью, в одежде бросался в воду. Лилли Палмер сообщает об этом куда больше подробностей, замечая, что Донахью «был пьян и сиганул в воду лишь дважды». Сама Лилли как зачарованная наблюдала за герцогиней и Гарбо. «Глядя на них, я думала, что жизнь подчас отводит людям такие роли, что ни один хороший сценарий не предназначил бы им. Той женщиной, ради которой мужчина был готов пожертвовать троном, несомненно, должна была стать Гарбо, прекраснейшая из женщин, непревзойденная и единственная в своем роде».

Лилли замечает, что во время купания Гарбо обычно «ныряла, а затем снова показывалась на поверхности, при этом капли воды переливались у нее на ресницах, которые, казалось, были куплены в магазине».

Гарбо как-то раз спросила Лилли: «Ну почему у меня нет мужа и детей?» И Лилли отвечала; «Ты это серьезно? Да миллионы мужчин сочли бы за счастье ради брака с тобой приползти к тебе на четвереньках!» — «Нет, — отвечала Гарбо. — Мне еще не встретился такой мужчина, за которого я бы вышла замуж».

Харрисоны побывали в гостях на яхте Шлее, и Лилли пришла в ужас, увидев своими глазами, как досужие представители прессы держат судно под постоянным прицелом. Лилли забрела в чью-то ванную комнату и поначалу подумала, что та принадлежит Гарбо: здесь выстроился целый ряд флаконов с одеколонами и духами, солью для ванн и растираниями. Увы, как оказалось, то была ванная Шлее. Ванная Гарбо была напротив — в ней в стакане торчала одинокая зубная щетка, валялись расческа с поломанными зубьями и неполный кусочек мыла «Люкс». Лилли заметила, что, когда они с Гарбо спустились на берег, та заметно съежилась. Фотографы напирали со всех сторон, отчего воинственно настроенный Харрисон был вынужден «врезать

первому попавшемуся». Оказавшись на вилле, Гарбо почувствовала себя в относительной безопасности (защищенная от орд «папарацци» высоким забором). Внимание прессы вылилось в многочисленные заголовки и статьи. 16 августа «Нью-Йорк Тайм» опубликовала фотографию Гарбо с косынкой на голове и в темных очках, садящуюся в моторную лодку в Портофино. Подпись под картинкой гласила: «Беглая знаменитость». Была опубликована масса всяческих материалов, причем порой довольно язвительных. «Эпока» писала: «У нее печальное лицо, обиженно поджатые губы и тощие ноги».

В «Темпо» начали за здравие, а кончили за упокой: «Лицо актрисы, на протяжении двух поколений заставлявшее зрителей замирать от восторга, еще не до конца утратило свою свежесть».

«Эуропео» замечала: «Она еще более-менее стройная, хотя слегка раздалась в бедрах», — правда, тотчас делала оговорку, что, возможно, это всего лишь зрительный эффект от свободного покроя брюк. Не сумел избежать внимания прессы и Шлее. «Эуропео» окрестила его «Голубым пиратом» — он-де высок, держится прямо, дышит здоровьем, у него ни грамма жира. Французские газеты, наоборот, обозвали его «старым и безобразным», добавляя, что они внимательно рассмотрели его, когда он купался с Гарбо. «Тело у него дряблое — сразу дает о себе знать жизнь «сливок» нью-йоркского общества. Когда он кончил купаться, то один из матросов был вынужден помочь ему подняться на платформу».

Гарбо написала Сесилю из Италии, сообщая, что у нее нет никаких планов, однако, скорее всего, она вскоре отправится в Париж. Сесиль тоже тем летом побывал в Портофино, в разное с Гарбо время. Затем он направил стопы в Венецию, а затем домой в Лондон, чтобы приступить к чтению курса лекций в колледже «Слейд».

* * *

Мерседес вернулась к себе в Нью-Йорк, в дом № 471 по Парк-авеню. В октябре она писала Сесилю: «В июле Грета вернулась, но я ее еще не видела. Вечером накануне отъезда в Европу она обмолвилась о тебе, и я была вынуждена встать на твою защиту (почему — слишком сложно объяснять тебе в письме). Мы с ней повздорили, и я высказала ей все, что думала. Она рассердилась и уехала, так мне и не позвонив и не попрощавшись. И вот теперь, по возвращении, опять-таки не позвонила мне. Она поселилась в том же доме, что и Джордж Шлее, и вскоре переедет туда

окончательно. Нет, это просто какой-то идиотизм, это просто противоестественно, что после стольких лет дружбы с ней все еще приходится обращаться в «лайковых перчатках» или же постоянно попадать впросак… Разумеется, мне ее ужасно недостает, и оттого, что я ее не вижу, мне становится тоскливо. Жизнь проносится мимо с такой быстротой, что безвозвратно уходят секунды, которые мы могли бы провести с дорогими сердцу людьми!»

Сесиль писал в ответ;

«Дражайшая Мерседес!

Был рад получить от тебя весточку, хотя и горько осознавать, что у тебя нелады с Гретой, и что самое главное, из-за меня. Прискорбно, что люди, которые любят друг друга, видятся гораздо реже, чем те, что находятся в более поверхностных отношениях. Мне очень горько за Грету, которая далеко не счастлива и только тем и занята, что еще больше осложняет себе жизнь. Я никак не могу взять в толк, почему она озлобилась на нас с тобой, ведь мы всегда были с нею предельно честны и желали ей только добра. Боюсь, что она так и не даст о себе узнать, хотя ей трудно обойтись без тебя — мне всегда казалось, что остаток дней вы проведете вместе. Как бы мне хотелось надеяться, что Шлее — действительно тот, кто ей нужен; но даже если отвлечься от всяческих предвзятых чувств, я глубоко сомневаюсь, что он способен дать ей то, в чем она нуждается, а она готова пожертвовать всем ради того, чтобы чувствовать себя под его крылом».

В то Рождество Сесиль не поехал в Америку, из-за того что читал лекции в «Слейде». Это вынудило Гарбо написать ему; она спрашивала, где он сейчас. По ее мнению, Сесиль вполне мог бы уже приехать в Нью-Йорк; правда, соглашалась Гарбо, вполне возможно, что дома ему лучше. Гарбо все еще страдала от простуды, а погода на улице стояла отвратительная. Гарбо писала, что не дождется, когда наступят свежие, морозные дни. Как и раньше, она передавала привет леди Джулиет Дафф, Саймону Флиту, Клариссе Иден и всей семье Сесиля, но в первую очередь — Хэлу Бертону. Гарбо посылала привет и самому Сесилю.

* * *

В январе 1954 года Сесиль на несколько дней остановился в отеле «Амбассадор», а затем, как и в предыдущем году, отправился с лекциями в турне по штатам. Начал он с Беверли-

Хиллз. Его мысли то и дело обращались к Гарбо, а настроение было ностальгическим и печальным.

* * *

Все было, как и прежде, — и всего недоставало. Главное, недоставало Греты.

«С тех самых пор, как я впервые попал сюда двадцать лет назад, она была единственной — по крайней мере, для меня, — кто способен приподнять это место над всей его (Sic!) вульгарностью. Потому что она жила где-то поблизости — через три холма — еще до того, как я познакомился с ней. Эта дорога в пригороде, эта заправка, эти лотки торговцев фруктами — все это было наделено какими-то особыми чарами. Она была частью места, где она властвовала безраздельно. Когда я в двадцатых годах бывал здесь с Анитой Лоос, уже тогда ее образ неотступно преследовал меня. Позднее я приезжал сюда один — это она поманила меня, — и наконец я встретил ее — удивительная, редчайшая встреча, которая так ни во что и не вылилась, пока не отгремела война и не пролетели долгие годы. Затем, как любовники, мы провели здесь немало счастливых дней. Я был обручен с богиней этого места и на протяжении недель не видел никого, кроме нее, — проводил с ней дни и ночи, а затем на заре уходил к себе… в бунгало, укутанный любовным облаком. Мы ездили на фермерский рынок, катались взад-вперед по Бедфорд-драйв, пока не запомнили «в лицо» каждую пальму на нашем пути; и я чувствовал себя этаким олимпийцем, и начал испытывать к другим людям нечто вроде жалости: ведь они, в отличие от меня, суетились в своей никчемности. И вот теперь я здесь, а она за тридевять земель. Она больна, опечалена, бесконечно трогательна, с ее тоненьким девичьим голосом, который звучит так жалобно на другом конце провода в Нью-Йорке, где холодно и промозгло, и она уже много дней в постели и все еще страдает от простуды, которая прицепилась к ней несколько месяцев назад. Словно наступило запустение и упадок. Я разговариваю с людьми, которые ее знают и восхищаются ею, но одновременно осознаю, что все они принадлежат старшему поколению. Вестибюль отеля наводняют новые толпы будущих звезд с жадными глазами, готовых продать все на свете, лишь бы добиться успеха. Киноиндустрия по-прежнему процветает, но это место мне более не интересно. Богини больше нет, и я чувствую, что мои воспоминания не стоят и гроша, ведь она уже больше не вернется сюда. Не сможет вернуться сюда. Голливуду она больше

не нужна — она постарела на десять лет, — и это непростительно. Солнце светит по-прежнему ярко, и апельсиновые деревья распустились цветами, и воздух чист и полон ароматов, и однако все это бессмысленно — мне не будет грустно отсюда уезжать».

Хэл Бертон, как всегда преданный друг, послал Гарбо еще одну книгу. Из Чикаго Сесиль писал ему:

«Грета пришла в восторг от твоего письма и книги и передает сердечный привет. Как мне кажется, когда я вернусь, ты получишь от нее галстук. Жизнь ее протекает бесцельно, она утратила к ней всякий интерес — однако серьезно занята переездом в новую квартиру. Разумеется, это лучше, чем жить в гостинице, но зачем вообще жить в Нью-Йорке? Это место ей совершенно антипатично».

По возвращении в Нью-Йорк после турне Сесиль имел возможность хорошенько рассмотреть эту квартиру, четырьмя этажами ниже Шлее, в доме 450 по Пятьдесят Второй Восточной улице напротив «Речного клуба». Сесиль был рад, что у Гарбо наконец появилось настоящее пристанище после нескольких лет скитаний по безликим отелям, однако не все было настолько хорошо, как он надеялся. Вот что Сесиль писал в своем дневнике:

«Увы, сие событие не вызывает счастливой улыбки. Она отнюдь не в восторге от того, что наконец-то обрела свою собственную квартиру, и называет все это «жуткой тягомотиной» (ее лексикон заметно оскудел). Она, скорее, перевозбуждена и слишком измучена, нежели довольна. И она не позволит никакому декоратору помочь ей в оформлении квартиры. Она сделала все сама, и в результате на квартиру страшно смотреть. Она так и не усвоила, хотя не раз удивительным образом проявляла это качество в своей игре, что наиболее сильный эффект достигается смелостью в сочетании с простотой и контрастом. Она говорит, что любит «кричащие тона», — и вместо того, чтобы выбрать такой тон, на котором бы они заиграли, она не сумела подобрать для гостиной ни единого материала, который бы их оттенял. В результате мы имеем безвкусную мешанину аляповатых цветов, которые совершенно не сочетаются между собой. Стены у нее какого-то поросячье-бежевого оттенка, шторы розоватые, подушки — всевозможных расцветок: от цвета подгнившей клубники до грязновато-бордового и розового. У некоторых стульев полосатая, желтовато-розовая обивка, а на полу — кошмарный розовый ковер. Даже ее замечательные картины — Ренуар, Боннар, Руальт, Сутин и Модильяни — не способны сгладить впечатление. В результате мы имеем безнадежную мешанину, которая является результатом того, что

Грета не способна принимать окончательные решения. Когда она спросила моего совета относительно спальни — с ее лавандовыми стенами, розовым ковром и удручающей итальянской резьбой по дереву на стене (целиком и полностью ее идея, я сказал; «Господи, как бы нам от этого избавиться»), — было невозможно решить, что же выбросить, а что оставить. Я пришел к выводу, что если покрасить ковер в очень темный гранатовый цвет, то этим можно немного оживить стены, и тогда она может вполне удачно воспользоваться грязновато-розовым полосатым материалом, который она хотела пустить на шторы. Но ей так и не дано, понять, как одна вещь гармонирует с другой, и вообще Грета не способна придерживаться одного мнения дольше, чем пару дней. Позднее я стал свидетелем, как она обсуждала возможность приобретения для своей комнаты пестрого обюссонского ковра. У нее повсюду расставлены цветочные горшки, которые она превратила в подставки для ламп — розовые, грязно-розовые и красные. Созданный ею эффект точно такой же, как и в Голливуде, как и в квартире Шлее. Но на этот раз он еще более разнороден, чем то, к чему она до этого приложила руку. Не укладывается в уме, как такая удивительная женщина способна жить в такой ничем не примечательной обстановке. Не менее странно и то, что это бедное дитя стокгольмских трущоб (случалось, ее на праздники отправляли в деревню в какую-нибудь сердобольную зажиточную семью, где она впервые узнала вкус конфет), — что это дитя нынче живет — на собственные заработки — в такой роскошной обстановке. Она во многих отношениях проделала долгий путь: квартира — одна из самых дорогих в Нью-Йорке, картины на стенах — кисти самых знаменитых импрессионистов и современных художников, а портсигары, абажуры и прочее — самые модные, так же как и расстановка мебели — по последнему слову. И в то же время все совершенно не так, ибо не отражает ее жизни. У нее вовсе нет привычки сидеть по диванам с сигаретой в руке напротив журнального столика. Эта квартира должна служить выражением натуры, чуждой условностей, поражающей своей красотой и пониманием качества и сдержанности. Я наугад высказал пару критических замечаний — хотя, сказать по правде, не знал, с чего начать и чем закончить. «Будь добра, выкинь этих купидонов — качество оставляет желать лучшего. Они здесь ни к селу ни к городу». Однако мне больно было видеть ее обиженное выражение. Я проклинал себя за свою грубость. Не думаю, чтобы она особенно гордилась этой квартирой. Можно сказать, что она вообще ею недовольна, — и это тоже печально. Но печальнее всего тот факт, что она ведет столь никчемное, бессмысленное

существование, и все это проистекает от ее характера, который направлен на саморазрушение, — и все это несмотря на ее дивную красоту, тонкую душу и одаренность. Причем это саморазрушение дается ей с поразительной легкостью, и она преуспела в нем, несмотря на то, что весь мир до сих пор зачарован ее гением».

В следующем своем письме Гарбо, написанном из Бродчолка, Сесиль отзывался уже не столь язвительно:

«Дражайшая Г.! Интересно, вошла ли ты, наконец, во вкус своей «шикарной» квартирки на Ист-Ривер? Надеюсь, кухня для приготовления мороженого по-прежнему твоя самая любимая комната — или же твои симпатии уже переключились на столовую, или же на гостевую, с ее красным ковром? Надеюсь, ты нашла в себе смелость кое-что переделать, или же ты все еще колеблешься? Надеюсь, что с наступлением весны у тебя будет время выглянуть из окна на реку и вспомнить обо мне».

* * *

Сесиль снова вернулся к старой теме — не приехать ли Гарбо к нему в гости, — однако на этот раз им, скорее, двигала горечь из-за никчемности ее существования, нежели желание навсегда покорить ее.

«Когда ты приедешь? Боюсь, что твоя жизнь вошла в колею далеко не ту, что была бы тебе на пользу. И еще: как жаль, что ты оттолкнула от себя Мерседес, — вы бы могли вдвоем прилететь ко мне. Как бы я хотел, чтобы ты оказалась на какой-нибудь зеленой лужайке, чтобы сделать глоток чистого воздуха. Мы бы лелеяли и баловали тебя на наш деревенский манер».

То же самое требовалось обсудить с Мерседес.

«Как печально, что Грета не приедет и не встряхнется немного, но у меня на нее нет ровно никакого влияния — не то что у этих Валентин. Я действительно огорчен, что она так и не навестила тебя. Рано или поздно это произойдет — она поймет, что пора положить конец этому смехотворному положению; но ведь как ужасно, что, в отличие от других, до нее никак не доходит, что здесь главное — время. Для нее оно вообще не существует, а это значит, что хотя она и живет только настоящим моментом, но все равно не осознает, как быстро пролетает жизнь. В моем последнем письме я настоятельно советовал ей помириться с тобой, хотя и с довольно эгоистичной целью — чтобы вы вдвоем приехали в Европу, где я, тоже из себялюбивых побуждений, буду рад разделить ее общество.

Кстати, о заявлениях Крокера. Меня ужасно раздражает, что он, который считает себя подлинным другом Греты, растрезвонил о том, что случилось с ними. Грета рассказала мне, что они как-то решили немного проветриться и после коктейлей заказали еще бутылку красного вина, в результате — ну не кошмар ли! — она заснула в середине спектакля. Такое может случиться с каждым, особенно если учесть духоту зрительного зала и нудную пьесу — как вообще публика способна сидеть прямо? По-моему, это смехотворное преувеличение — использовать этот случай как повод для утверждения, будто она пьет, поэтому, кто бы тебе об этом ни рассказывал, не верь. Г. время от времени прикладывается к рюмке, для согрева или поднятия настроения, однако это вовсе не значит, что она не может жить без спиртного, хотя одному Богу известно, куда ее может занести с таким интеллектуальным ментором, как Шлее! Я, конечно же, порвал твое письмо и даже не стал бы вспоминать рассказанную тобою историю, которая сама по себе совершенно беззлобна. К черту все эти сплетни, а Гарри Крокер пусть в следующий раз не распускает язык!»

Гарбо написала Сесилю, чтобы сказать ему — кстати, не в первый раз, — что он должен счесть за счастье, что она не поехала с ним. Все это время она пребывала в подавленном настроении. Пока что она все еще в Нью-Йорке, хотя каждый день спрашивает себя, а не уехать ли ей в Калифорнию. А еще ей не давал покоя вопрос, каковы ее шансы увидеть на улицах Манхэттена лицо Сесиля. Гарбо умоляла его, чтобы он не думал о ней как о душевнобольной из-за ее долгого молчания. В ответ на это Сесиль писал: «Лапочка! Был одновременно обрадован и огорчен, получив вчера твое письмо из Нью-Йорка. Рад получить от тебя весточку, и огорчен, что у тебя такое подавленное настроение. Надеюсь, оно уже прошло. Я тоже последнее время много занимался самокопанием, пытаясь догадаться, какие еще сюрпризы жизнь собирается преподнести нам в будущем, особенно в этом возрасте, когда уже подводишь итоги» (Сесилю исполнилось пятьдесят).

* * *

Сесиль отправился в Америку осенью, ему предстояло сделать эскизы для «Мелового сада» с участием Ирен Селзник. Перед отъездом он докладывал Мерседес, что не получал от Гарбо вестей вот уже полтора месяца. Вскоре он узнал, что же произошло. Грета так и не совершила своей ежегодной вылазки в

Европу вместе со Шлее, главным образом потому, что никак не могла принять окончательного решения. В конце концов Шлее отправился в путь один, потому что его ждали какие-то неотложные дела. Он уезжал из Нью-Йорка в бешенстве. Грета, чтобы избежать нью-йоркской духоты, отправилась в Калифорнию, поручив заботу о себе Гарри Крокеру. Спустя неделю она уже не могла выносить его общества и отбыла в Нью-Мексико. Однако в начале августа она была в Лос-Анджелесе, где к ней пристал с расспросами какой-то репортер из журнала «Тайм».

«Вы влюблены? Вы собираетесь замуж?» — «Будьте добры, — взмолилась она с явным отвращением. — Я не желаю об этом говорить. Я устала. Я ужасно устала».

В Нью-Мексико она встретилась с родными — матерью и братом, который страдал от сердечной недостаточности. Однако спустя пару дней стало совершенно ясно, что им просто не о чем говорить. Гарбо прихворнула и вернулась в Нью-Йорк, чтобы проконсультироваться с врачом. Уезжая, она планировала полуторамесячный отдых, однако в результате каким-то чудом ей удалось вырваться из родных стен на целых четыре месяца. Гарбо вернулась в Нью-Йорк в середине ноября. И вот что Сесиль докладывал Мерседес:

«Три недели назад Гарбо вернулась из Нью-Мексико, где, как я полагаю, она гостила у брата, но ты знаешь, что она никогда не дает точной информации, так что обо всем приходится только догадываться. Все четыре месяца она хворала — ужасно осунулась и похудела. Я точно не знаю, что с ней такое, и даже не думаю, что причина действительно в каком-то физическом недомогании. Но она только вздыхает, не в силах вырваться из завладевшей ею летаргии, — если не считать тех моментов, когда она вырывается, чтобы немного развлечься. И снова все тот же идиотизм — во всем безоговорочно слушаться этого Шлее; в результате — никаких определенных планов. Других же людей она практически не видит. Все это весьма прискорбно, но она по-прежнему хороша собой и, как и прежде, чем-то трогательно напоминает ребенка. Однако с точки зрения здравого смысла она понапрасну тратит столь много драгоценного времени».

В одно из воскресений в декабре Гарбо отправилась вместе с Сесилем на ленч к нему домой. Волосы ее были уложены в виде крысиных хвостиков времен Директории, а вместо челки торчали несколько непослушных прядок. Сесиль был в восторге от ее красоты. Он отметил эту и последующую встречу в своем дневнике. Между ними вот-вот грозила вспыхнуть ссора — между прочим, интересный поворот в их отношениях.

«Я словно зачарованный взирал на эту красоту. Я чувствовал свою близость к ней, хотя она ни разу не делилась со мной личными переживаниями. Тем не менее, как это обычно бывает, всегда есть возможность догадаться обо всем, что желаешь узнать, каким-то внутренним чутьем и по косвенным приметам. Мы были счастливы вместе. Правда, я был неприятно поражен ее худобой. Казалось, она была раза в два тоньше той женщины, которую я знал десяток лет назад. Она пожаловалась мне, что чувствует себя далеко не лучшим образом, но, увы, не в силах что-либо изменить. «Cest la vie», — вздыхала она. Я подумал, что если учесть близость наших отношений, она слишком резко заторопилась уйти. Я был до известной степени обижен тем, что она вознамерилась во что бы то ни стало навестить — кого бы вы думали — Гюнтеров, которые, если верить ей, всегда наводили на нее скуку. Но, слава богу, прошли те времена, когда меня до глубины души обижали ее необдуманные выходки. К счастью, я утратил способность испытывать свойственные любовникам душевные муки.

Каждый день, или через день — телефонные звонки. Я стараюсь голосом не выказать обиды. Как мне кажется, это единственная разумная линия поведения. Я не спешу сострадать ее вздохам. «Как ты там?» — «Не скажу. Это не слишком приятная тема! — и снова глубокий вздох: — Cest la vie!»

Совместная вылазка за покупками или же ужин вдвоем откладываются со дня на день. Ничего не поделаешь. Я занят. Да и Грета всегда говорит: «Если у тебя есть что-то более важное, чем я, не стесняйся, можешь отказать мне в самый последний момент». Это она от души. Я назначаю на всякий случай двойную встречу, испытывая при этом укор совести, — но ведь ей всегда что-то мешает, и наши свидания пролетают. Вместо того чтобы пригласить ее к себе на рюмочку-другую, я предлагаю прийти к ней. Она немного удивилась, однако спросила: «И что мы будем пить? Мартини?» Я прибываю с опозданием. Швейцар предупрежден, что должен прийти гость. Г. говорит, что тот едва не лопнул от удивления. С тех пор как я был здесь последний раз, квартира приобрела более однородный и законченный вид. В ней поубавилось безвкусицы, и я был впечатлен огромными полками книг в прекрасных переплетах. Картины в гостиной отличные — Ренуар, Сутин, Боннар, и повсюду в вазах море роз и гвоздик. Грета в сером коротком трикотажном жакете, серых твидовых брюках с ремешками вокруг икр и красных комнатных шлепанцах. В розовом бордельном отблеске какого-то отвратительного абажура ее лицо кажется каким-то обесцвеченным. Мы сидели на диване, потягивая мартини с

водкой, которые закусывали тонкими ломтиками поданного ею сыра «грюйер». Мы разговаривали о Рождестве, и она сказала слегка удивленно, что ей казалось, что я останусь в Америке до праздников — мне вовсе незачем уезжать домой, как я планировал, и мы вполне бы могли отпраздновать вместе. Она уже твердо решила, что точно не пойдет наверх к Шлее. «Прошлый год это была сущая пытка, и ничто не заставит меня пойти туда снова. В любом случае, это так отличается от того, как было в детстве у меня дома. В нашей стране мы отмечали канун Рождества, а не Рождественский день». Я завел с ней разговор о важности семейных уз, о том, как невидимые узы родства накрепко привязывают нас к действительности. Она кивала в знак согласия, однако заметила, как быстро наступает момент, когда нам нечего сказать близким, — радость встречи длится дня два, не больше. «Как это, однако, печально! На этот раз я собираюсь захватить с собой бумаги, на которых записал все мои нью-йоркские дела, так что я смогу рассказать об «игре в пижаму», и все-таки какое равнодушие проявят они к этим не знакомым им людям! Как все это, однако, печально!» — «Ну, нет, — возражает Гарбо. — Они не ощущают этого недостатка, этой разделяющей их пропасти, и они вовсе не страдают от того, что им нечего сказать. Лишь мы, творческие натуры, знаем, сколь близким может быть родство человеческих душ». — «Да, — согласился я. — Такое случается. Возьмем, к примеру, семью Стейси — того самого Стейси, садовника, который живет по соседству с Клариссой. Она однажды неожиданно вернулась к себе из Лондона, уже за полночь, и поэтому робко постучала в нашу дверь за ключом и, конечно же, разбудила. А затем она, мистер и миссис Стейси и их дочь затеяли веселый шумный спор о том, каким образом пауки переползают с одной стороны дорожки на другую и что им надо, чтобы решиться на этот шаг, после которого они уже ползут вдоль собственной паутины, и как они вообще попадают сюда, ведь не прилетают же по воздуху?» На что Гарбо отвечала: «Но ведь Стейси весь день работал в саду, миссис Стейси занималась своими делами, их дочь тоже — и поэтому, когда они собрались вместе, впервые за весь день, стоит ли удивляться, что им есть что сказать друг другу?» Надо признаться, меня несколько удивил такой ход рассуждений и как она верно угадала образ жизни совершенно незнакомых ей людей. Тем не менее я сказал: «И все-таки как печально, что такое случается нечасто. Мой отец никогда не знал, о чем ему говорить с нашей матерью или с нами. Наши «беседы» всегда протекали в каменном молчании, а затем он обычно доставал золотые часы на цепочке — чтобы проверить, не прошло ли, случаем, чуть больше

времени, чем на самом деле». — «Но я ведь тоже постоянно смотрю на часы», — возразила Гарбо. Она просто разрывалась между тем, чтобы поскорее закончить наше свидание (так как Шлее то и дело названивал сверху), и желанием еще немного посплетничать. Мы с ней выпили еще несколько мартини и поговорили о кинобизнесе. Ее агент, Минна Уоллис (я встречал ее в Лондоне), позвонила с предложением сыграть какую-то совершенно неподходящую роль, и Грета тогда сказала:

«Ну как я смогу предстать перед камерой, если я перед этим хорошенько не выспалась, а я ведь буду волноваться и ни за что не усну, и вообще, сниматься — ужасно суматошное дело: ведь ты уже не принадлежишь самому себе, приходится играть перед посторонними людьми, электриками, осветителями…»

Боюсь, что мне не удалось со всей полнотой передать четкий ход рассуждений Греты. Когда она начинает философствовать — это ее стихия, у нее безошибочное чутье, — в эти моменты в ее голосе появляется убежденность, которой ей не хватает в обыденной жизни. Ей удается — причем мне до сих пор не до конца понятно, как — облекать сказанное в совершенную скромность. Свое неодобрение она выражает мягко и ненавязчиво (я уже рассказы-, вал, что провел один вечер с Ирен Селзник и под конец был доведен до полного изнеможения ее беспрестанной болтовней. Нет, конечно, она умнейшая женщина, но мой голос по причине безмерной усталости к трем часам утра начал меня подводить). Г. сказала: «Как можно быть умным, если ты не замечаешь чувств других людей, если ты не видишь, что они устали». Она наделена восхитительным качеством — женским умением уходить от резких суждений. Я был поражен этим ее даром — именно в такие моменты она нравилась мне больше всего. Но зато как трудно застать ее в этом настроении!

Но я думаю, что между нами тогда возникала гармония. Тем не менее, совершенно неожиданно — или мне только так кажется, поскольку я никак не припомню, к чему это было сказано — она вдруг заявила, что я никогда не смогу понять ее точку зрения на отдельные вещи, потому что я без царя в голове. Без царя в голове… Это только подлило масла в огонь! Неожиданно я почувствовал, что во мне закипает ярость: «Могу я спросить, как это понимать? С какой стати ты считаешь, что я без царя в голове?» После чего она процитировала «Книгу сатирических мемуаров», принадлежащих моему перу, — «Мое королевское прошлое»: «Только человек без царя в голове мог написать обо мне так, как ты — даже при этом меня не зная, — в этой записной книжке (опубликованной в 1935 году), которую мне кто-то дал!» Я сверкнул глазами. Эта была та самая злополучная книжка,

которая стеной стала между нами после ее отъезда из Англии, когда мы были на волоске от того, чтобы пожениться. Когда я затем позже приехал в Нью-Йорк, она отнеслась ко мне, как к чужому человеку. Когда же мы встретились несколько недель спустя за завтраком, она вынудила меня отозваться о ней вышеупомянутым образом (а именно: «Ей не известно, что такое истинная дружба»). Мы с ней повздорили. Я считал нечестным с ее стороны, что она вообще заговорила о том, что было написано в начале тридцатых, до того, как мы стали любовниками. Позднее она обрушила свой гнев на Мерседес — они не разговаривали между собой на протяжении нескольких месяцев. Г. обвиняла ее, будто она якобы поведала мне всякие интимные подробности. И снова всплыла эта злосчастная записная книжка двадцатилетней давности. Теперь уж я разозлился не на шутку. «Могу я поговорить с тобой четыре минуты, только чтобы меня никто не перебивал? Позволь мне сказать тебе, что, по-моему, это просто чудовищно с твоей стороны — судить меня, пятидесятилетнего человека, за то, что я писал, будучи вдвое моложе». Но она меня перебила: «Человек всегда остается один и тот же, и лишь человек без царя в голове мог написать, что от меня пахнет, как от младенца». На что я указал ей, хотя, возможно, и не столь ясно, как мне того бы хотелось, поскольку ярость слегка затуманила мне сознание, что Грета сама как-то призналась мне, что атмосфера киносъемок обладает какой-то редкой интимностью, как однажды она видела, как танцуют маленькие негритята, и этот незабываемый момент был запечатлен навсегда. Когда она еще снималась в кино, то возбуждала воображение художников и других творческих натур, именно поэтому она пользовалась успехом, и поэтому вполне естественно, что я смог многое понять в ней, благодаря тому образу, что жил на экране и был окружен ореолом легенд. Как муза, она была в общем пользовании. Мне казалось, что я ее знаю. И то, что я писал о ней, — было совершенно естественным делом. Тем самым я не вторгался в ее мир. Я вообще не был с ней знаком, если не считать одной короткой встречи, и соответственно не был связан никакими моральными обязательствами. Между прочим, написав, будто от нее пахнет, как от младенца, я тем самым не совершил никакого преступления; это замечание являлось исключительно плодом моего воображения.

Я набросился на нее, обвиняя в мелочности: «Как можно цитировать то, что написано двадцать лет назад! Неужели ты не замечаешь, как я оберегал тебя от окружающего мира, с тех пор как мы вместе? Неужели ты не испытываешь никакой верности, никакой благодарности, никакой привязанности за мою тебе

преданность? Неужели я когда-либо оскорбил тебя необдуманным словом? Изменил тебе? Позволил когда-либо воспользоваться тобой в корыстных целях, как поступали многие из твоих близких друзей?»

Она встала на их защиту — ей, мол, хорошо известны все их недостатки и слабости. Мы принялись орать друг на друга. Я чувствовал себя непогрешимым. «Чем быстрее ты позабудешь старые обиды, — кричал я, — тем лучше!»

И ничего нет страшного в том, что у нее климакс («Многие женщины сходят с ума», — заявила она). Меня слишком далеко занесло, чтобы я мог вовремя остановиться. Я встал и надел пальто. Она сказала, что мы оба выпили слишком много коктейля — in vino veritas, — но все еще дулась на меня. Ну почему бы ей не прочесть то, что было написано недавно? Ведь если бы не ее треклятая лень, она могла бы прочесть мою‘последнюю книгу, которую я ей недавно подарил («Зеркало моды», опубликованную в 1954 году). Почему бы ей ее не почитать, чтобы убедиться, что я тот же самый человек, которого она когда-то называла «паяцем». Неужели мне бы удалось добиться того успеха, которого я добился, будь я легкомысленным ветрогоном.? Ну разве кто-нибудь оценил бы мою работу, будь это так? «Ты разносторонне одаренный человек, и все равно без царя в голове». Ничуть я не одаренный. Просто у меня есть характер — и именно мое упорство и моя настойчивость позволили мне добиться успехов, а вовсе не мое легкомыслие. Да, когда-то я был таким. Я можно сказать, развился слишком поздно, однако пытался добиться своего места в жизни. В молодости же я был весьма порывистым и пылким юношей. Вполне возможно, что в двадцать лет я бывал легкомысленным, однако в своем поведении по отношению к ней меня можно назвать кем угодно, но только не ветрогоном. По правде говоря, ни один легкомысленный человек не счел бы себя столь глубоко оскорбленным, как бывало со мной после ее нередкого продолжительного молчания, после какой-нибудь размолвки — после года, если не больше, моих душевных страданий из-за неразделенной любви, она просто пришла ко мне и, не говоря ни слова, провела в спальню, задернула занавески и повернулась к кровати. Я выполнил то, что от меня требовалось, — однако чувства мои вряд ли были чувствами ветрогона. Я был шокирован, до глубины души оскорблен. По-моему, мой удар пришелся по самому больному месту. Однако другие мои выпады ничуть не разубедили ее в том, что она права, а я — нет. И вот теперь она пыталась меня поцеловать. Я отвернулся.

«Я не хочу с тобой целоваться».

Секунду спустя она произнесла что-то вроде: «Неужели тебе не хочется переехать ко мне, когда мы поженимся?» Нет, я не имел ни малейшего желания переезжать в эту квартиру — я с ужасом смотрел на все эти розовые абажуры, приметы «шлейского вкуса». Наконец-то я овладел ситуацией. Я был зол, я был разочарован и собрался уходить. Я вызвал лифт — и старик-лифтер, ответивший на мой вызов, застал Грету умоляюще цепляющейся за мой воротник. Я был рад уйти, однако слишком завелся и долго не мог успокоиться. Я вернулся к себе в отель и метался по номеру, словно разъяренный лев в клетке. Меня переполнял праведный гнев. Я был настолько убежден в собственной правоте, что ее упреки в мой адрес оказались беззащитными. Я подумал о всех тех вещах, что бросил ей в лицо, — по-моему, все-таки я переборщил. Грету не переспоришь в любом споре. Некоторое время назад я бы глубоко огорчился, случись между нами подобная сцена, но сегодня, как мне показалось, она произвела на нас обоих благоприятный эффект. Разумеется, я не держу на нее зла — я всего лишь зол и печален, что не способен ради ее же блага побудить в ней лучшие стороны ее натуры».

* * *

В январе 1955 года Сесиль вернулся в Лондон, откуда послал Гарбо довольно-таки натянутое письмо:

«Дражайшая Г.!

Весьма сожалею, что нам так и не представилась возможность поговорить еще раз до моего отъезда. Как я полагаю, ты была страшно занята; у меня тоже была уйма дел. Мне было весьма грустно, потому что, как мне кажется, во время нашей последней встречи мы выпили слишком много мартини с водкой и поэтому разошлись по сторонам, так и объяснив друг другу, что к чему. В то же время вполне возможно, что мы оба наговорили друг другу такого, что не следовало говорить вообще. Тем не менее «in vino veritas», и, как мне кажется, я должен объяснить, что мое эмоциональное состояние было не столько вызвано гневом, сколько решительным восприятием собственного краха, — именно краха, ведь после столь многих лет я все равно не способен пробудить в тебе лучшие твои качества; доверие, близость, отсутствие эгоизма. Боюсь, что я долго не решался признаться в этом самому себе, а постоянно цеплялся за надежду, что в один прекрасный день тебя, в конце концов, растрогает моя непоколебимая верность. Увы! Твои бесконечные упреки в мой

адрес за то, что я, среди тысячи других, счел возможным напечатать что-то о тебе двадцать лет назад, и факт, что эта заметка перечеркнула в твоих глазах все то, что я делал и чувствовал на протяжении тех долгих лет, что мы знаем друг друга, — увы, это вызвало жесткое прозрение. Я отдаю себе отчет, что в тот момент ты была не в лучшем своем настроении и, снова повторяю, я сделал скидку на этот счет — на твое слабое здоровье и десяток других вещей, и надеюсь вскоре услышать, что ты чувствуешь себя уже немного лучше, что у тебя появились какие-то новые интересы — например, мадам де Беке, или работа в больнице, или какие-нибудь небольшие услуги другим людям, которые внесут свою лепту в твою «раскачку». И если эти слова покажутся тебе дерзкими, так только потому, что убежден, что только те, кому безразлично твое будущее, способны и дальше подталкивать тебя к бесцельному и пустому существованию, которое ты сейчас ведешь в Нью-Йорке. Лишь твои истинные друзья способны осмелиться и вызвать твое неудовольствие, пытаясь настроить тебя на более плодотворное отношение к жизни. Несмотря на то, что я не заблуждаюсь относительно того, сколь мало я для тебя значу, я осмелюсь причислить себя к их числу…»

Увы, не в обычае Гарбо отвечать на подобные письма. Сесиль частично излил накопившиеся обиды в следующем своем письме Мерседес, совпавшем по времени с самоубийством Оны Мансон.

«Мне ужасно грустно, что Грета отказывается тебя видеть. Боюсь, что в этом ее нынешнем настроении от нее трудно ожидать благодарности, она считает, будто все ей обязаны, сама же не способна дать что-либо взамен. Боюсь, что ее уже ничто не изменит, ее бесполезно ругать. Единственное, что остается — оградить себя от ненужных страданий. Жизнь продолжается, и каждый день можно найти занятие по душе. По-моему, не следует слишком сильно вздыхать по прошлому. Боюсь, в старости Грета будет чувствовать себя ужасно несчастной — собственно говоря, а кто нет? Это малоприятная вещь, и я вполне согласен, что, если кто-то не желает делать добро другим людям, ему воздастся сполна за его себялюбие».

Тем временем Трумен Кэпот как-то в феврале заметил Гарбо на одной из вечеринок с коктейлями и поделился с Сесилем, какое впечатление она произвела на него: «Хороша собой, хотя волосы приобрели какой-то специфический цвет — что-то вроде белесой лаванды. Не иначе как она их покрасила». А в мае Ноэль Кауэрд встретил ее на пасхальной вечеринке у Валентины и нашел, что она в «необычайно веселом настроении».

Глава 12
«Она уходит — она остается»

В сентябре 1955 года Гарбо исполнилось пятьдесят. За несколько месяцев до этого, в марте того же года, была опубликована биография Джона Бейнбриджа. Нельзя сказать, чтобы эта работа принадлежала перу гения, однако на протяжении сорока лет она оставалась единственным более-менее серьезным исследованием жизни актрисы. Бейнбридж справедливо указывал, что голливудская карьера Гарбо плохо вписывается в традиционные рамки. Она не позволила сделать из себя стандартный голливудский продукт. К тому же она не терпела ничего второсортного. Бейнбридж стал первым, кто попробовал разобраться в ее увлечении Джоном Гилбертом, в ее странных странствиях по Европе с Леопольдом Стоковским и в более поздней ее привязанности к Гейлорду Хаузеру, Эрику Гольдшмидту-Ротшильду и Шлее. В «Нью-Йорк Таймс» Гильберт Миллстейн поместил отзыв, сделанный Бейбриджем о портретной зарисовке Гарбо: «Она всегда была такой, как сегодня, — женщина с присущей ребенку трагичной невинностью. Она проницательна, эгоистична, капризна, живет чувством, а не рассудком и до конца погружена в самое себя. От близких людей она требует безоговорочной преданности и самопожертвования. Иначе начинает дуться. Ужасно скрытная (кто-то из ее друзей сказал, что Гарбо делает секрет даже из того, ела она на завтрак яйцо или нет), а еще по-детски безразлична к желаниям других людей, ибо для нее существуют только ее собственные».

* * *

Мерседес докладывала Сесилю, что Шлее приобрел виллу в местечке Кап д'Эль, что на юге Франции неподалеку от Монако, и что самым преданным спутником Гарбо теперь стал Гольдшмидт-Ротшильд. Сесиль писал в ответ:

«Книга о Грете произвела на меня тягостное впечатление, хотя, несомненно, она пользуется успехом. Как мне кажется, Ротшильд — именно тот, кто ей сейчас нужен. У него неограниченный досуг — собственно говоря, ему просто нечем заняться, — и поэтому это приятный в общении человек, разбирающийся в искусстве и с утонченным вкусом. Она может кое-чему у него поучиться, и если проявит усердие, то станет

знатоком фарфора. Просто чудовищно с ее стороны, что она не желает проведать тебя. Боюсь, что она принимает дружбу как нечто само собой разумеющееся. Я полагаю, что поскольку она повсюду имела успех, то привыкла считать, что люди просто обязаны ходить перед ней на задних лапках. Подозреваю, что такова ее судьба — выискивать именно тех людей, которые согласны делать все, что она прикажет, ничего не требуя взамен.

По-моему, Шлее вскоре обнаружит, что вилла начала века, построенная ради зимнего солнца, не оправдает его надежд летом. Много бы я дал, чтобы увидеть, как он обставил это свое приобретение — не иначе как мебель с какого-нибудь аукциона и лампы, словно из борделя! Господи, голова идет кругом от этих людей!»

* * *

Гарбо не читала биографию Бейнбриджа. Отплыв со Шлее летом 1955 года в Европу, она просто швырнула ее за борт.

«Она ее даже не открывала», — признался Шлее.

В это время Гарбо и Сесиль почти не общались друг с другом. Его карьера круто изменилась. В феврале 1955 он снова лишился контракта с «Вогом». Однако Сесиль много фотографировал, собирая материал для своей книги «Лицо мира». Большая часть времени у него ушла на оказание помощи Энид Бэгнольд с ее пьесой «Меловой сад». Эти труды принесли Сесилю немало разочарования, поскольку продюсер постановки Ирен Селзник, в конечном итоге даже не поставив его в известность, поменяла декорации. Сесиль не участвовал в лондонской постановке «Мелового сада» и в результате в течение нескольких лет не разговаривал ни с Энид Бэгнольд, ни с лондонским продюсером пьесы Джоном Гилгудом. В середине 1955 года Сесиль начал работу над эскизами костюмов к спектаклю «Моя прекрасная леди» — эта работа стала поистине его театральным триумфом и ознаменовала собой высшую точку в его карьере. В июле Гарбо и Шлее были замечены поднимающимися на борт «Кристины», яхты Аристотеля Онассиса, взявшей курс на Капри. Мерседес, которая все еще пребывала у Гарбо в немилости, послала Сесилю одну из газетных фотографий. Тот писал в ответ:

* * *

«Спасибо за снимок Греты. Газеты наперегонки пишут о ней,

а на этой неделе «Пари Матч» посвятил ей целый разворот, в котором Шлее удостоился повышения до «банкира и одного из директоров компании «Де Сото Моторс». Там есть одна фотография Греты, на которую я не могу смотреть без содрогания. Она слишком ужасна, и у меня рука не поднимается послать ее тебе. Я расстроен, что она тебе не звонит. Временами ее трудно бывает понять…»

Мерседес как раз начинали одолевать различные хвори, и поэтому она не могла обойтись без докторов. Эта ситуация только усугублялась год от года, в результате чего Мерседес не раз вручала свое здоровье в руки сомнительных лекарей, пользовавшихся ее по-детски безграничным доверием. Индийский танцовщик Рам Гопал, давний поклонник Гарбо и друг Мерседес с тридцатых годов, выражал последней свое сочувствие:

«Надеюсь, что (Гарбо) приходила проведать тебя с тех пор, как мы виделись с тобой в последний раз, а она возвратилась в Нью-Йорк. Или она все еще сердита на тебя, и поэтому не приходит навестить именно в тот момент, когда ты наиболее в этом нуждаешься, или в чем тут дело? Это ставит меня в тупик, я беспрестанно ломаю голову, как может такая чувствительная (на экране) женщина пренебрегать — и кем? — тобой, тем более что ты больна и нуждаешься в участии близких тебе людей, а ведь в твоей жизни она — богиня, женщина номер один. Надеюсь, что к этому времени она уже проведала тебя. Наверняка, она не находит себе места, и вообще, как она одинока, как — до обидного — отрезана от своей родной стихии, кино, где ею владели неведомые ей самой Высшие Силы — когда-то. И вот теперь оказаться отрезанной: хотя еще молода, прекрасна, талантлива — это не может не вызвать внутреннего взрыва».

Спустя несколько недель Рам вернулся к той же теме, посвятив на этот раз несколько строк Поппи Кирк, которая также разорвала с Мерседес близкие отношения. Рам писал:

«По-моему, нет нужды выбирать слова, говоря о Марии. Я буду, коль уж о ней зашла речь, говорить о том, как добра она была к тебе, что, впрочем, ты знаешь и без меня. В прошлом ее я обычно бывал расстроен или же раздражен и обычно ее недолюбливал, исключительно из-за ее дурного обращения с тобой, что, между прочим, мне становилось известно исключительно из твоих уст. И, разумеется, я недолюбливал ее и внутренним чутьем: чувствовал, что и она недолюбливает меня, вернее, терпеть меня не может».

В тот год о Гарбо не поступало практически никаких известий. Однако вскоре после нью-йоркской премьеры «Мелового сада» Ноэль Кауэрд присутствовал на небольшой

вечеринке с коктейлями, устроенной Валентиной у себя в доме № 450 по Пятьдесят Второй Восточной улице. Гарбо тоже заглянула туда на минутку, показавшись «Мастеру» при этом «очаровательной, но неряшливой». Сесиль в то время все еще был в Нью-Йорке, однако все еще держал на Гарбо зуб. Вот что он писал Хэлу Бертону: «Я видел Грету лишь урывками, потому что был ужасно занят — слишком занят, чтобы обращать внимание на ее постоянные закидоны: говорить «нет» всему, включая самое жизнь». Премьера «Моей прекрасной леди» состоялась в Нью-Йорке в марте 1956 года под восторженные отклики прессы. В это же время Сесиль был занят тем, что фотографировал Мэрилин Монро, Джоан Кроуфорд, а также готовил значительную коллекцию снимков для модного журнала «Харперс Базар». Однако по возвращении в Лондон до него дошла скорбная весть, о которой он писал Гарбо следующее: «А теперь я должен поведать тебе нечто такое, от чего я сам ужасно расстроился — до такой степени, что почти целые сутки рыдал, как истеричное дитя. Вчера умер мой друг на протяжении долгих лет — Питер. Всю эту зиму он страдал анемией и низким давлением и поэтому обратился к Готтфриду. После курса лечения его самочувствие значительно улучшилось, он посвежел и, когда после моего возвращения мы с ним обедали вместе, пребывал в великолепном настроении. К сожалению, неделю назад он подхватил сильную простуду и решил съездить в деревню, чтобы подышать свежим воздухом. Вернулся на машине домой уже поздно, устав с дороги, принял ванну. Кран так и остался открытым. Когда полиция взломала дверь, Питер был уже мертв — вода поднялась ему выше рта и носа. Еще не известно, как это произошло — то ли он потерял сознание и захлебнулся или же поскользнулся, — но Готтфрид утверждает, что его сердце в превосходном состоянии. Как бы там ни было, это кошмарный случай, с кем бы он ни произошел, однако я никак не могу смириться, что он случился именно с Питером, которого больше нет среди нас. Питер прожил непростую жизнь и, несмотря на все свои пороки и слабости, в конечном итоге состоялся как личность и умел ладить с любым из нас — так, как умел. Как личность он прошел долгий путь и стал для многих чем-то вроде «голубого» святого. В моих глазах ни один человек не обладал таким очарованием, как он, и на протяжении двадцати пяти лет я неизменно благоговел перед ним. И вот теперь его уже не вернуть, и я чувствую себя ужасно, ужасно потерянным и одиноким. Куда бы я ни ступил в этом доме, я всякий раз натыкаюсь на вещи, что напоминают мне о нем, о том времени, когда мы с ним вдвоем колесили по всему свету. Клянусь, ни одна другая душа не произвела на меня столь

глубокого впечатления. Мне страшно подумать, что связь между нами оборвалась навсегда. Я не способен черпать утешение — как это часто делают другие, лишившись близких — в мыслях о том, что существует еще и загробная жизнь. Так что в душе моей царит полная пустота. Разумеется, завтра утром я вернусь к своим обычным делам…»

Гарбо написала Сесилю в ответ, однако и словом не обмолвилась о Питере Уотсоне. Она начала, как это часто случалось, с перечисления своих собственных проблем. Она вся расклеилась, вынуждена пить всякую гадость и поэтому не собирается ни в какое путешествие. Ей бы ужасно хотелось снова приехать в Англию, а еще она поинтересовалась у Сесиля, не сможет ли тот в августе приехать к ней в Штаты. Кроме того, намекнула Гарбо, не исключено, что в октябре она будет в Париже, хотя, как всегда, это только предположение. А пока она, по всей видимости, отправится со Шлее на юг Франции. Таковы были ее туманные планы. Какая, однако, у нее суматошная жизнь, подвела она итог.

Сесиль тотчас настрочил ответ:

«Дражайшая Миссис Непоседа!

Весьма опечален, узнав, что ваше слабое здоровье мешает вам приехать ко мне. Не стоит принимать слишком много всякой гадости. В таких дозах это вряд ли пойдет вам на пользу. Уверен, что «свежие летние зефиры» и долгие прогулки по зеленым лугам — это то, что вам сейчас надо для поправки здоровья. Как бы там ни было, я дам вам знать о своих планах, которые, должен сказать, меняются едва ли не на глазах…»

Чуть позже летом Гарбо снова написала Сесилю о своих планах, туманно намекнув, что они, дескать, смогут встретиться в Париже после ее путешествия на юг Франции, а затем вместе отправиться в Англию и назад в Штаты. Рам Гопал, который зорко следил за всеми передвижениями Гарбо, докладывал Мерседес: «Из газет мне известно, что твоя Божественная Грета сейчас пребывает на юге Франции, где выпивает с Онассисом (sic!). Она купила просторную виллу на море, недалеко от Сомерсета Моэма. В Лондоне прошел повторный показ лучших фильмов с ее участием. Господи, вряд ли на экран когда-либо придет другая, подобная ей. Она была и остается Божеством».

* * *

Гарбо в обществе Шлее поселилась на вилле «Ле Рок» неподалеку от Кап д'Эля. В конце августа папарацци поймали ее в

свои объективы на приеме в «Спортивном клубе Монте-Карло», где она сидела рядом с Аристотелем Онассисом, который в середине пятидесятых являлся ключевой фигурой всего юга Франции. Сесиль тоже пребывал в Европе. Он поехал на Капри, затем в Венецию, оттуда 9 сентября вылетел в Нью-Йорк и буквально через пару дней вернулся обратно в Лондон. Он получил письмо, сообщавшее о скором прибытии Гарбо. Как и всегда в подобных случаях, оно содержало специфическую информацию. Гарбо будет в Крильоне 20 сентября — к этому времени Шлее уже вернется в Штаты. С ней же останутся Гюнтеры — они же и будут сопровождать ее в Лондон. Возможно, туда же прибудет Сесиль де Ротшильд. Без пальто, шутила Гарбо, та вполне могла сойти за Сесиля. Все это могло случиться гораздо раньше, чем он предполагал. Из Нью-Йорка Сесиль дал Гарбо в Париж телеграмму, в ответ на которую ему было сообщено, что у Гарбо простуда и ему придется повременить с приездом. Битон позвонил, и, как ему показалось, Гарбо была «явно на взводе». Решив не тратить попусту времени на бесполезные звонки, Сесиль прибыл в Париж. Он застал Гарбо в Крильоне в компании Сесили де Ротшильд, причем вид у нее был «довольно затрапезный» — на лбу пластырь, волосы всклоченные, лицо в морщинах, а комната уставлена полуувядшими цветами и фруктами. Оставшись с Гарбо наедине, Сесиль имел с ней беседу. Он так и не смог от нее добиться внятных ответов, как она провела лето, кроме того, что она постоянно болела и кашляла. Позднее Сесиль, Гарбо и Сесиль отправились в театр, на пьесу Жульен Грин «L'ombre», которая, однако, оказалась на редкость скучной, и они ушли со спектакля после второго акта, а затем пообедали дома у Сесиля. Гарбо призналась Сесилю на следующий день, что его прибытие ее немного взбодрило и она чувствует себя значительно лучше. Затем они отправились по выставкам, позавтракали в «Средиземноморском Клубе» и всю вторую половину дня бродили по антикварным лавкам. Сесиль ехидно заметил: «Для больного человека она наделена просто неистощимой энергией. Где бы ни появлялась Гарбо, вслед за ней всегда тянулся шлейф всеобщего любопытства».

«На Рю-Бонапарт, проходив за ней до этого с полчаса хвостом, к ней подошел какой-то греческий студент, чтобы признаться в своей пламенной любви, а также попросить, чтобы она черкнула ему в записной книжке крест, линию, что угодно. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то так, как он, не мог унять от волнения дрожь — его голос дрожал и обрывался. Должен признаться, что я знаю Грету уже около двадцати пяти лет, и хотя время наложило на нее свой жестокий отпечаток, ее магия все

еще здесь — невероятная тайна ее красоты, эта искра, этот смех, эта чувствительность, эта тонкая натура, сам аромат ее красоты… В ее внешности есть нечто театральное, и одновременно она — сама естественность: просто ее естественная тяга к игре не может не проявить себя, и поэтому, где бы она ни появилась, это не может остаться незамеченным».

* * *

Под конец их дня в Париже Гарбо ужасно расстроилась, что такси все нет и нет, и начала жаловаться, капризно заявляя, что наверняка слишком устанет и не сможет на следующий день ехать в Англию. И пока бедный Сесиль пытался поймать такси, Гарбо прокомментировала: «Вот видишь, я уже на грани полнейшего упадка сил, вот почему без мадемуазели Сесили никак не обойтись: у нее всегда своя машина и шофер».

Сесилю ничего не оставалось, как и дальше переживать относительно их завтрашнего путешествия, и его наихудшие опасения едва не сбылись. Гарбо выглядела усталой и раздраженной. Она заявила, что ей еще надо вымыть голову, а затем принялась упаковывать вещи. Их отъезд из отеля обернулся сущим кошмаром: на тротуаре столпились зеваки, и Сесиль был вынужден дожидаться, когда же вынесут их чемоданы. Затем они с Гарбо направились в аэропорт: чтобы лишний раз не попадаться на глаза репортерам, решили совершить осеннюю прогулку по близлежащим полям среди тюльпанов и гладиолусов. Солнце и свежий воздух сотворили с Гарбо чудеса — по мнению Сесиля, она вновь стала «юной и гибкой», как в день их первой встречи. В аэропорту все, к счастью, сошло гладко. Ее не заметил никто из окружающих — не было ни единого репортера.

«Мои чувства на протяжении всего путешествия оставались весьма противоречивыми — с одной стороны, я надеялся, что все будет хорошо и ее не станут понапрасну донимать репортеры, с другой — я подозревал, что все это ее не так уж и раздражает, что в душе она, пожалуй, даже рада этому, тешащему ее самолюбие, натиску. Мне казалось, что я умно поступил, организовав наш отъезд так, чтобы он не бросался в глаза. В этот субботний вечерний час представителей прессы можно было пересчитать по пальцам, и как только поблизости появлялись зрители, нам тотчас удавалось улизнуть. Вообще сама затея — перевезти Гарбо из Парижа в Лондон, умудрившись при этом не попасться на глаза прессе — напоминала собой волнующую мистерию. Когда наконец я шагнул к себе домой вместе с Гарбо, чтобы выпить

чашку чая, мне уже было не до слов. Я посмотрел на себя в зеркало и увидел запавшие глаза, свидетельствующие о полном нервном истощении. Она же во многих отношениях скорее напоминает мужчину. Она позвонила мне, чтобы сказать: «По-моему, сегодня в полседьмого мы могли бы испробовать один экспериментик». Однако поскольку она говорила по-французски, то поначалу было трудно взять в толк, что она имеет в виду; но вскоре я разгадал ее намеки, хотя и притворился, что не понимаю. Она была в явном замешательстве — толика чопорности с моей стороны была вызвана возмущением в душе ее откровенностью и прямолинейностью, хотя, казалось бы, именно эти качества должны были вызвать у меня уважение».

* * *

В Англии повторилась «старая песня». Даже спустя много лет Сесиль все еще ходил перед Гарбо на цыпочках, в то время как она нередко обращалась с ним как с прислугой, и если в их планах ее не устраивала даже самая мелочь, она обрушивалась на Сесиля с беспощадной критикой, хотя и продолжала по-прежнему считать его своим любовником. Вполне возможно, что прессы в аэропорту не оказалось, однако вскоре досужие репортеры все же вышли на след Гарбо. 17 октября ее заметили в гостях на Даунинг-стрит, а 18 октября ее присутствие — в отеле «Клэридж». Гарбо посетила балет «Ромео и Джульетта» и пообедала с Сесилем в его лондонском доме. Согласно заявлению газеты «Ньюс Кроникл», к Сесилю домой на сеанс фотосъемок приехала Галина Уланова и там неожиданно повстречалась со своей героиней — Гарбо. В тот вечер состоялись два равных по значимости обеда. На одной стороне Пелхэм-стрит Оливер Мессель принимал у себя в гостях Уланову, а на другой — Сесиль Битон развлекал Гарбо, Сесиль де Ротшильд и Хэла Бертона. Сесиль подробно остановился на всех деталях этого визита в письме Мерседес, и хотя он настоятельно просил порвать это послание. Мерседес, верная привычкам, его сохранила:

«Я только и занимался тем, что пытался оградить Грету от этих кошмарных газетных небылиц. Нельзя сказать, чтобы газеты ее особо интересовали. Они чаще всего как раз и критикуют ее за ее неразговорчивость, и поэтому делают вид, будто она их больше не интересует. Однако она навсегда останется на редкость притягательной личностью, способной погружать людей в транс или экстаз (sic!) всякий раз, когда ей придет в голову околдовать их. Весь этот уик-энд она вела себя как ребенок — такая

счастливая и смешная, искрящаяся остроумием. Безусловно, она гений в том, что касается ее умения осложнять собственную жизнь и жизнь окружающих, однако трудности этого уик-энда носили самый что ни на есть поверхностный характер и скорее напоминали дружеское поддразнивание. Сегодня мы вместе с Сесилью де Ротшильд отправились в Оксфорд. По-моему, лучшей спутницы ей не сыскать: Сесиль целостная, уравновешенная натура, без капли вульгарности, человек с твердыми жизненными ценностями и убеждениями. Несомненно, это уже шаг вперед по сравнению с дурацким детским сюсюканьем и жаргоном антикварных лавок Второй авеню. Сесиль только тем и занята, что пытается облегчить Грете жизнь, тем более что той, как никогда, нужен кто-то, кто бы о ней заботился. Какая она, однако, притягательная натура! Воистину, Грета величайшая чародейка нашего времени, и как замечательно, что я ее знаю, — и опять-таки, как печально, что именно эта ее натура мешает ей вести простую человеческую жизнь, такую, какую ведут менее прославленные представители человеческого рода. Мне совершенно не известно, как долго она еще намерена здесь оставаться — или же ей снова вздумается вернуться во Францию».

В своем дневнике Сесиль зафиксировал каждое слово, каждый шаг Гарбо. По его мнению, она страдала все той же нерешительностью: ей то хотелось побыть наедине с собой, и поэтому она настоятельно советовала Сесилю проводить время с его друзьями и забыть о ней, то принималась рассуждать о том, какая вкусная пища, а затем жаловалась, что, дескать, Сесиль заставляет ее переедать. Однажды она печально посмотрела на себя в зеркало и пришла в полное отчаяние от увиденного.

«Бедная крошка Гарбо — ну и вид у меня! Чего стоят только эти морщины (мор-р-р-щины)… и шея дряблая… слишком поздно… слишком поздно — какое счастье, что я вовремя ушла из кино. Ты только представь себе, как можно стоять перед камерами в таком виде. Ведь как ужасно, когда Барримор ничего не осталось, как ремешком подстегивать подбородок и фотографироваться только с одной стороны. Как, однако, жестоко, что с каждым годом мы становимся все безобразнее. Для женщин нет ничего страшнее — для мужчин это все равно — выглядеть с годами потрепанной жизнью. Мужчина от этого кажется еще только более мужественным. Боже, но какой же у меня вид! Вот почему я не хочу попадаться на глаза фотографам. И ничего с этим не поделаешь, бесполезна всякая пудра — от нее все эти морщины заметны еще сильнее. Как, однако, печальны эти борозды — а появляются они от того, что всю жизнь живешь в напряжении…»

* * *

Как и Гейлорд Хаузер до него, Сесиль, живя с Гарбо, страдал от скуки и уже в десять часов отправлялся спать. Она не позволяла ему ни рисовать ее, ни фотографировать. К тому же она не проявляла к нему ровно никакого участия. Она скорее могла заинтересоваться судьбой какого-нибудь совершенно постороннего человека — например, туриста, чей чемодан открыли таможенники, — и в то же время оставаться безучастной к тому, как чувствует себя Сесиль. Когда они вместе ехали в машине, она поначалу жаловалась, что, мол, слишком жарко и душно, а спустя минут десять начинала утверждать, что наверняка простудится. И в завершение находила это противоречие весьма забавным. Каждую осень она подхватывала простуду, каждая зима подрывала ее последние силы и остатки здоровья. Тем не менее она никогда не отказывалась от рюмки и говорила Сесилю:

«Обожаю пропустить глоток-другой виски. Я всегда думаю о том, когда же я, наконец, выпью. Я знаю, что это нехорошо, но не могу устоять — сразу чувствуешь себя другим человеком».

Сесиль записывал ее странные обороты речи: «Запас слов у нее невелик: «Простите, но могу ли напомнить вам, что я не глухая», «Тот, кто умней меня, наверняка знает». Однако ей присуще чувство собственной важности. Она видит себя среди богинь. А еще она большая любительница критиковать манеры и неотесанность других людей, хотя сама весьма скромного происхождения. «Так нельзя». А затем широко улыбается. «Я бы ни за что не позволила себе ничего подобного. Уж если этого нет, что тогда остается?»

Во время этого визита Сесиль пригласил Гарбо в гости к сэру и леди Энтони Иден в их резиденцию на Даунинг-стрит. Гарбо проявляла участие в жизни Клариссы с того самого дня, когда они впервые встретились в Бродчолке, осенью 1951 года, и поэтому, когда Сесиль по телефону предложил сходить к ней в гости, идея была встречена с энтузиазмом. Кларисса призналась: «Как жаль, что я не могу проявить большего гостеприимства, однако приходите на рюмочку в среду». Она даже позвонила еще раз, чтобы поинтересоваться, не предпочтет ли Гарбо боковой вход из сада. По пути на Даунинг-стрит Сесиль показал Гарбо гвардейцев у Букингемского дворца, в те дни все еще стоявших в часовых будках по эту сторону ворот. Гарбо была ими просто зачарована и с детской непосредственностью принялась повторять их движения. Гарбо была ужасно возбуждена и немного нервничала, ожидая увидеть Клариссу в новой роли супруги премьер-

министра. В сером платье от Диора, с челкой, Гарбо, по мнению Сесиля, чем-то напоминала Трильби. Им удалось войти незамеченными в парадную дверь. Затем они шли длинными коридорами, со стен которых на них взирали портреты бывших премьер-министров, увидели секретарей, разбиравших бумаги в зале заседаний Кабинета, заглянули в комнату для приемов, всю уставленную цветами от Констанс Спрай по случаю обеда с президентом Коста-Рики. Описывая это событие, Сесиль не скупился на подробности:

«Кларисса сильно похудела, в твидовом костюме и с растрепанными волосами, полна сил и энергии. Входит Грета. Поцелуи.

«Ну, ну-ну. Подумать только, я на Даунинг-стрит». Грета очень даже хороша. «Странная штука жизнь — хей-хо!» Кларисса начала икать от хохота. «Но это же просто прелесть (у столика с напитками) — ведерко со льдом на полу. Ведро на полу — но это же совсем как дома!» Мы сидели, потягивая водку со льдом. Кларисса в полном восторге от Гретиной фантазии и воображения. Грета неожиданно начала подшучивать над ее многочисленными жалобами. Она принялась рассуждать о том, как гостиничный шум не дает ей по ночам спать;

«Ты когда-нибудь слышала, как перемалывают мусор? А теперь представь, что это делают ночь напролет!» А так как Кларисса сама нередко страдала бессонницей, то поспешила выразить Гарбо свое сочувствие и порекомендовала беруши: «Энтони замучила бессонница, и он буквально глаз не может сомкнуть от этих мотороллеров: стоит пронестись хотя бы одному — сон как рукой смахнуло». Грета заметила, что навстречу ей по коридору идет сам Энтони.

— О Господи! — воскликнула она.

— Ему никак не сидится без нее! — пробормотала Кларисса.

Премьер держался по-мальчишески бодро и подтянуто и легкой походкой вбежал в комнату, словно резвый жеребенок. Глаза сверкали, ресницы подрагивали, однако улыбка довольно сдержанная.

«Какой замечательный момент! Мне всегда хотелось познакомиться с вами. Я восхищен вами с тех самых пор, как впервые увидел еще в немом кино, в роли Анны Карениной. Если не ошибаюсь, фильм назывался «Любовь». Грета, не выпуская изо рта мундштук, широко улыбнулась, явно нервничая.

«Наверное, вы мысленно переноситесь совсем в другой мир. Не находите ли вы подчас странным, что вы и есть та самая женщина?». Грета молча улыбнулась в ответ.

«Ведь вы все помните? Вам нравится чувствовать себя

великой звездой?».

И Грета ответила: «Боюсь, что я больше не думаю о тех днях, когда снималась в кино. Оно больше для меня ничего не значит, и я, как правило, не вспоминаю о нем». — «В таком случае, я повел себя в высшей степени недипломатично, затронув эту тему». И тогда премьер-министр завел разговор о Швеции — еще одна тема, от которой Грета была далеко не в восторге. Тем не менее встреча удалась. Энтони, откинувшись на спинку дивана, по-домашнему вытянул ноги и объявил, что те, кому он сейчас нужен, могут подождать.

Грета удостоилась чести осмотреть частные апартаменты премьер-министра, а затем даже была представлена кое-кому из членов кабинета, включая лорда Килмьюера, лорда Канулери и Гарольда Макмиллана, канцлера казначейства. К сожалению, при выходе из резиденции какому-то фотографу удалось сделать снимок и Гарбо сильно расстроилась. Лондонская пресса оказалась настырной до невозможности — репортеры, преследуя Гарбо буквально по пятам, отравляли ей жизнь. В тот вечер, когда она, согласно слухам, обедала вместе с Улановой, на улице собралась целая толпа репортеров, и друзья Гарбо наполовину в шутку, наполовину всерьез рассуждали о том, а не следует ли ей искать путь к бегству через стену сада на заднем дворе дома. Хэл Бертон вызвал такси, надеясь, что репортерам надоест стоять под окнами, но эта хитрость не сработала. В конце концов Гарбо вместе с Сесилью де Ротшильд бросилась вон из дома. Битон вспоминал:

«Эффект можно сравнить со взрывом атомной бомбы. Около двадцати вспышек одновременно. Странно, однако, но ужасно расстроился. Мой желудок буквально выворачивался наизнанку — я даже не мог уснуть. Грета была непробиваема — правда, не исключено, что у нее возникли подозрения, будто я так или иначе причастен к этой сцене. «Мальчишки слишком болтливы; может, это вполне нормально, но они и впрямь много болтают — не то, что я. Возможно, что это я ненормальная, однако мне стоит на несколько дней воздержаться от встреч с мистером Битоном». Я пришел в неописуемый ужас. Мне не давал покоя вопрос: испортит или нет нашу поездку в деревню присутствие вездесущих репортеров. Я позвонил Грете и сказал, что не могу гарантировать ей, что где-нибудь поблизости не окажется досужей прессы, и если у нее нет настроения рисковать, я отнесусь к этому с пониманием, хотя, конечно, и наверняка не обрадуюсь. Грета была готова рискнуть, и у меня, можно сказать, от сердца отлегло, когда, выглянув из окна в страхе, что сейчас увижу фотовспышку, я замечал лишь какого-нибудь старого

крестьянина, бредущего за бидончиком молока.

Уик-энд в деревне обернулся полной идиллией. Гарбо, в черных брюках и свитере с розовым шарфом, пребывала в добром здравии и отличном настроении. Она передразнивала окружающих и отпускала смелые остроты, глядя по телевизору выступление балета Большого Театра. «Большей частью эти шутки носили откровенно сексуальный характер и были направлены против меня, — писал Сесиль. — Однако они звучали довольно невинно и произносились с великим шармом».

Вместе они совершили вылазку по окрестностям, навестив Эшкомб и собор в Солсбери. Сесиль де Ротшильд тоже была с ними, и Битон анализировал свое отношение к новой компаньонке Гарбо; «Мы все трое отлично ладили, хотя, как мне кажется, Сесиль — так же, как и я, как каждый из нас — не прочь подчинить Грету себе, всю целиком, заставить ее отказаться от всякой независимости».

Они отобедали с Джулиет Дафф, которая объявила: «Трудно поверить, что прошло четыре года с тех пор, как мисс Гарбо была у нас в последний раз!» Тем не менее Гарбо резко ограничила общение с внешним миром и даже отклонила приглашение Иденов посетить Чекерс. Как-то раз Гарбо вместе с Сесилью де Ротшильд отправилась в Кембридж навестить Виктора Ротшильда. В тот вечер у Гарбо разболелась голова, тем не менее она трещала без умолку. У Сесили, наоборот, на лице читалась крайняя озабоченность. В самом начале вечера Гарбо выдвинула идею, что, возможно, скоро она «сделает ноги». Ближе к ночи она подтвердила свою готовность. Они вместе с Сесилью отправятся в Париж, а затем в Америку. «Самочувствие у нее неважное, все поставлено «с ног на голову», и вообще она не в состоянии вести такой суматошный образ жизни — ведь ей уже в семь часов пора в постель. Я чувствовал себя оплеванным. Я ведь надеялся, что она приехала погостить у меня как можно дольше, что не исключено, что мы, того и гляди, с ней поженимся. Я напомнил ей, как совсем недавно она упрекнула меня в том, что я никак не решусь взять ее за шиворот и притащить к алтарю. Но как теперь я мог удержать ее от очередной ошибки? «Ой, а я без них просто не могу». Она вытряхнула из коробка спички и принялась вытаскивать их, подобно тому, как влюбленные тянут лепестки из ромашки. «Уедет — не уедет». Я пребывал в убеждении, что получится так, что она «не уедет», однако, торжествующе усмехнувшись, Гарбо сказала, что вышло «уедет» — и она уезжает завтра. Мне стало дурно. У нас ведь почти не было времени побыть наедине — сначала эти Гюнтеры, затем Сесиль, и вот теперь ее, можно сказать, передают в цепкие руки

ротшильдовскому клану. Снова наезженная колея ее смехотворного существования в Нью-Йорке! А ведь эта жизнь не для нее, кто так близок к земле и природе. Мы оба устали и слегка были раздражены, поэтому любой спор не привел бы ни к чему хорошему. Я отвез Грету назад в отель, а сам в полном отчаянии улегся дома в постель. На следующий день мы встретились, чтобы сделать кое-какие покупки и упаковать вещи, и слегка приутихли перед самым отъездом. Грета сказала, что все хорошенько взвесила: если бы она осталась, то при ней бы уже не было Сесили, которая бы водила ее за покупками: я же слишком занят, чтобы постоянно ее сопровождать, а одна она никак не может. «Но у меня ведь еще целый месяц не будет никаких дел! Я специально оставил этот месяц ради тебя. Ты должна поехать в деревню, тебя ждут неспешные прогулки — ты почувствуешь себя другим человеком, у тебя будет шанс воспрянуть духом. Ну, а в случае чего — всегда можно вызвать доктора Готтфрида». Но она запаниковала и, испугавшись непонятно чего, вернулась к старым привычкам — и вот теперь в первом часу дня ее уже снедали сомнения. «Возможно, я совершаю ошибку? Может, мне распаковать вещи? О Господи, я всегда все делаю не так». И, полные сожалений, мы расстались у входа в отель. Я был на грани слез, у нее тоже был потерянный вид — из окна автомобиля на меня взглянуло бледное лицо. Взмах рукой — и машина, с нагруженным на крышу багажом, скрылась из вида. А вместе с машиной — и мои надежды на ближайшие четыре года, хотя, кто знает, может, вообще смешно думать о женитьбе, о том, что она, согласится связать свою жизнь с другим человеком. Все это было весьма печально, ведь хотя характер у нее и не сахар, только с ней я чувствую себя уверенно и спокойно, только с ней мне не надо ни в чем притворяться, и все между нами было простым, восхитительным и неизбежным».

Гарбо вернулась в Нью-Йорк в конце января. Сесиль же занимался житейскими делами. Вот что он писал:

«Единственно приемлемые шерстяные рейтузы бледно-голубого цвета в магазине «Лилиуайтс» мне по щиколотку. Те же, что по колено, — или темно-синие, или ярко-алые, или вообще канареечные. Что же мне выбрать? Жду твоего ответа».

На это письмо Гарбо ответила без промедления. Оказывается, она неправильно назвала ему магазин. За рейтузами надо идти в «Хэрродс». Если он не помнит размер, у нее точно такой же, как и у леди Элизабет фон Хофманншталь (Гарбо галантно постаралась правильно написать имя). Талия ее, увы, теперь всего 29 дюймов. Никаких нью-йоркских новостей она пока не знает.

Глава 13
Лекарства и диета

В канун нового 1957 года Сесилю было присвоено почетное звание Кавалера Ордена Британской Империи. Это был прощальный дар от Клариссы, последовавший за отъездом Энтони Идена с Даунинг-стрит. Вскоре после Нового Года Сесиль вместе с Труменом Кэпотом предпринял путешествие в Японию и на Дальний Восток. По возвращении он снова с головой ушел в работу над своими книгами, фотографиями, а также над фильмом-мюзиклом «Жижи». В марте его мать, которой к той поре уже исполнилось восемьдесят четыре, неожиданно слегла, и Сесиль бросил все, чтобы только побыть с ней. Мерседес письмом выразила ему свое сочувствие, но, разумеется, «ни словечка от моего дражайшего друга Греты». Гарбо оставалась верна себе, и поэтому все новости о ней Сесиль получал от Мерседес. В одной из лондонских газет проскочила пара туманных фраз, отчего такой поклонник Гарбо, как Рам Гопал, ошибочно предположил, что Гарбо снова гостит у Сесиля в деревне. Рам умолял Мерседес организовать ему встречу с его кумиром:

«Как жаль, что вас здесь нет, чтобы помочь мне встретиться с ней, но поскольку наша затворница сейчас гостит у Битона и поскольку этот ее визит в Англию до сих пор держат в тайне (если не считать крошечного, почти ничего не значащего абзаца в одной из газет, в котором говорилось, что Гарбо сейчас гостит в загородном доме неподалеку от Солсбери), то я вспомнил, как вы говорили раньше, что этот мистер Битон (который теперь стал не менее царственным, чем сама королева Англии, таким же затворником, как и Гарбо, и таким же ханжой, как какой-нибудь чистоплюй-эдвардианец!) как-то раз заметил в ответ на ваше предложение, что согласен пойти навстречу Раму и окажет ему высочайшую честь, организовав встречу с мисс Гарбо. Возможно, он сделает это? И если все это действительно возможно, я бы с удовольствием встретился с нашей героиней. Однако, если возникнут трудности, или если она захочет, чтобы этот Битон по-прежнему держал все под покровом тайны, то, прошу вас, не стоит беспокоиться, забудьте о моей просьбе…»

И действительно, из этого ничего не вышло, поскольку Гарбо в это время даже не было в Лондоне. Она находилась в Нью-Йорке, где страдала от болей в ноге. Летом 1957 года Гарбо и Шлее побывали в Кап д'Эле. В июле Ноэль Кауэрд провел в ее обществе целый вечер и остался в неописуемом восторге. Кауэрд

писал, что заехал за ней на прекрасно расположенную, но уродливую виллу и затем повез ее в ресторан в близлежащий порт Вилльфранш. По мнению Кауэрда, Гарбо «сияла как медная пуговица» и, разумеется, была потрясающе красива.

Вдвоем они осмотрели небольшую часовню, в украшении которой слегка переусердствовал Жан Кокто, и Кауэрд не удержался от язвительного замечания: «Вот уж не думал, что все апостолы так ужасно похожи на Жана Марэ». В августе Гарбо и Шлее присоединились к Онассису на борту его яхты «Кристина». Их маршрут вдоль побережья Франции включал заход на виллу Королевы Жанны, летнюю резиденцию коменданта Поля-Луи Вейлера. Гарбо как-то раз тоже заглянула туда в компании Шлее и миссис Онассис и немного посидела на террасе с гостями Вейлера. Дэвид Найвен, снимавший на соседней вилле свой фильм «Bonjour Tristess»[12] с участием Деборы Керр и Жана Себерга, а также Дугласа Фэрбенкса-младшего, гостивший в те дни у Вейлера, с радостью встретил появление знаменитости.

Отношения между Мерседес и Гарбо по-прежнему оставались сложными, и вот что писал Сесиль той зимой в своем дневнике:

«Грета много болела, и хотя она не говорит, что с ней такое, почки у нее явно не в порядке, а кроме того, она ужасно страдает от болезней женских органов. Она мечется от одного врача к другому. Неожиданно, после того, как один лекарь прописал ей инъекции инсулина, она почувствовала себя лучше.

«Но я же не могу приходить к вам каждый день и ждать в очереди, — заявила она. — Ведь у меня (в этом месте она издала смешок) слишком много дел». (Можно подумать, она и впрямь загружена делами!)

Доктор ответил ей: «Но вы можете войти в боковую дверь — я всегда впущу вас. Однако ни в коем случае нельзя пропустить и дня, даже в воскресенье!»

И вот в воскресенье Грета отправилась к врачу и застала его в халате.

«Извините, что я не одет и не брит. Если бы вы знали, как приятно расслабиться и хотя бы раз в неделю позволить себе походить грязнулей». Грета выразила ему свое сочувствие, получила причитающийся ей укол и удалилась. На следующий день придя на укол, она в первую очередь объяснила лифтеру, что идет к врачу.

«Нет тут больше никакого врача. Он умер прошлой ночью». Грета едва не упала в обморок. «Вы не станете возражать, если я на минуту присяду?» После этого случая она еще целую неделю не могла прийти в себя, пребывая в полной растерянности. Правда, смерть этого врача обернулась для нее благом, потому

что друзья позднее рассказали мне, что этот «светило от медицины» доводил своих пациентов до полного нервного истощения, прописывая им такие лошадиные дозы лекарств, что несчастные впадали в состояние, именуемое «трясучкой». Тем не менее Гарбо не знала, к кому ей теперь обратиться. Неожиданно она возобновила дружбу с Мерседес, после того как больше года не разговаривала с ней. Если ей случалось встретить Мерседес, прогуливаясь с Эриком (Ротшильдом), то обычно она ограничивалась едва заметным кивком. И вдруг, совершенно неожиданно, Грета ей звонит, а затем является собственной персоной и разражается потоками слез.

— За мной некому ухаживать!

— Но ты ведь не хочешь, чтобы я присматривала за тобой.

— Я боюсь, я чувствую себя совершенно потерянной!

Мерседес, ее самый преданный друг, в течение тридцати лет не отходила от нее ни на шаг, готовая посвятить ей всю свою жизнь. И вновь она пришла ей на помощь. Она даже убедила невысокого доктора-итальянца нарушить правило никогда не заводить себе частных клиентов, и бедняга был вынужден ежедневно мотаться из Рочестера в Нью-Йорк, чтобы следить за здоровьем Греты. «Но откуда мне знать, что вы со мной делаете? Кто знает, а вдруг вы меня убиваете?» Коротышка, итальянец до мозга костей, галантно расцеловал ее в щеки, сказав при этом:

— По-моему, вы самое чудное создание из тех, кого я знаю.

Однако, когда он спросил номер ее телефона, она отказалась его ему дать.

— Прекрасно, но в таком случае я отказываюсь дальше следить за вашим здоровьем. Я за всю свою жизнь не слышал подобного вздора. Уж если ваш врач лишен возможности позвонить вам, чтобы узнать, как проходит лечение, то какой смысл его вообще продолжать?

— Хорошо, но тогда прошу вас, не давайте мой номер Мерседес.

— То есть вы хотите сказать, что вы не дали свой номер человеку, который умолял меня присмотреть за вами?

— Я дам его ей позже.

Врач позвонил Мерседес.

— Вы не возражаете, если я задам вам один весьма деликатный вопрос? Известен вам или нет номер телефона мисс Гарбо?

— Нет.

«Я был в шоке. Это самый эгоистичный поступок, с которым я когда-либо сталкивался. Совершенно бесчеловечный».

Несмотря на это, Мерседес продолжала делать для Греты все,

что было в ее силах. Г. неожиданно явилась к ней домой, вся в расстроенных чувствах. Оказывается, она посетила магазин «Здорового Питания», и владелица заведения сказала ей:

«Ой, мисс Гарбо, что-то вы не совсем хорошо выглядите».

Г. была вся в слезах: «Неужели я так изменилась? Неужели я постарела?»

Мерседес тайком от нее побежала в тот магазин и строго-настрого приказала его владелице:

«Только посмейте еще раз сказать мисс Гарбо, что она плохо выглядит! Как бы ужасно она, по-вашему, ни выглядела, говорите ей, что она неотразима».

Женщина ужасно расстроилась и рассыпалась в извинениях».

Собственное здоровье Мерседес тоже пошатнулось, и она впала в глубокую депрессию. А после того, как в 1957 году она перенесла серьезную инфекцию правого глаза, то начала носить черную повязку, которая придавала ее внешности отъявленно пиратский вид. Ее страдания ничуть не уменьшились после того, как она была вынуждена переехать с Парк-авеню на квартирку на Шестьдесят Восьмой Восточной улице. Уайлдер Люк Бернэн, ее верный друг, вспоминает, как его не раз прогоняли прочь, едва только на горизонте начинала маячить фигура Гарбо. Он частенько видел ее с расстояния, но ни разу не встречался с ней лично. Когда Мерседес, погруженная в депрессию, сидела на инъекциях кортизона, она не раз угрожала самоубийством, уверяя Уайлдера, что у нее для этого действительно имеется пистолет. Однажды она попросила его отнести записку Гарбо на Пятьдесят Вторую Восточную улицу. Тем временем ей пришла взбодрившая ее телеграмма, которая начиналась следующими словами; «Милый парнишка!». Мерседес отложила пистолет. Затем написала Раму Гопалу, детально расписав ему свое самочувствие, не забыв при этом упомянуть, что Гарбо совершенно разочарована в нью-йоркских врачах. Индиец писал в ответ;

«Тебе просто следует постараться вытащить себя из наезженной колеи всех этих хворей и нервов и того разрушительного эффекта, который оказали на тебя все эти ужасные снадобья; я знаю, что единственный для тебя способ восстановить душевное и физическое здоровье — это целлюлярная терапия. Ты обязательно должна пройти курс, и хватит слушаться этих нью-йоркских идиотов с их дурацкими советами, сами они ничего не смыслят в методике анти-Ниханс, а только вытягивают из тебя и Греты последние деньги».

Затем прошел слух, будто Гарбо собралась в Швейцарию к местным докторам и что якобы сопровождать ее туда будет Мерседес.

Сесиль также написал Гарбо; «Постарайся хоть немного поправиться. Нам бы не хотелось, чтобы ты сделала из себя факира, даже если твои религиозные устремления неожиданно обратятся к Востоку. Я страшно расстроился, когда узнал, что тебе так ужасно не повезло с докторами, и едва ли осмеливаюсь надеяться, что твое самочувствие улучшилось, что к тому времени, как мне возвращаться в Нью-Йорк, к тебе снова вернется игривое настроение. Как было бы здорово, сумей мы вдвоем отправиться в какое-нибудь маленькое романтическое путешествие! Ведь вокруг столько замечательных, романтических уголков — пара часов на самолете, и все! Право, просто глупо обходить вниманием менее знаменитые места. Выше нос, главное — набраться храбрости и терпения! Я сильно тебя люблю и надеюсь, что ты испытываешь те же самые чувства к твоему старому другу Битону…»

Сесилю подвернулась возможность снова хорошенько рассмотреть Гарбо, когда в конце 1957 года он, как обычно, наведался в Нью-Йорк. И снова он услышал старую песню о том, как, с одной стороны, плохи доктора и, с другой, как жестока и бессердечна Мерседес.

«Итальянского доктора сменил диетолог из Калифорнии. Грета улетела к нему самолетом на три дня. Там она остановится у какой-то женщины и ее мужа в Санта-Монике. Затем она не знает, куда ей направить свои стопы и под каким вымышленным именем. Возможно, она изберет местом своего пребывания какой-то монастырь 16 века. Однако она улетала в такой спешке, что забыла даже на прощанье позвонить мне, а только попросила Мерседес передать мне ее «au revoir», но и то не раньше, чем перед моим отъездом. «А не то Битон отправится куда-нибудь на обед и скажет кому-нибудь, что я лечу этим самолетом, и тогда все эти репортеры сбегутся ко мне со своими камерами».

Мерседес пошутила:

— Не волнуйся, как только тебя не будет, я тотчас позвоню Луэлле Парсонс.

На что Гарбо ответила:

— Ну и совсем не смешно…

Мерседес ужасно страдает от бездушия Гарбо и после всех этих лет так и не научилась спокойно воспринимать ее выходки. Тем не менее иногда она посмеивается над Гретой и ее выходками и вместо того, чтобы рассердиться (как это часто делаю я), начинает хихикать:

«Нет, действительно приходится признать, что с ней не соскучишься — если, конечно ее не заносит слишком далеко». Грета по-прежнему прячется от всех, главным образом из-за своей

скрытности, а не потому, что ее кто-то преследует. Как мне кажется, то, как бесцеремонно копались в ее личной жизни в годы молодости, отложило отпечаток на всю ее последующую судьбу. Она вот уже целый год как не была в театре, несколько раз выбралась за покупками с Эриком (Ротшильдом), и даже Шлее видел ее реже, чем обычно. По приезде я позвонил ей, и мне даже показалось, что она обрадовалась, что ее одиночество наконец-то кем-то нарушено. Она заглянула ко мне в тот же день — вошла и встала в дверях, как какой-нибудь неприкаянный беспризорник, вытаращив глаза и приоткрыв рот, словно приготовилась к пытке. Мы с ней расхохотались, выпили немного водки, хотя она, вроде бы, завязала с этим делом, и даже была согласна остаться на обед, если бы уже не пообещала кому-то другому.

— Обычная история — если бы ты только не была занята чем-нибудь более привлекательным.

— Но если бы я оставила этот вечер свободным, то наверняка бы в конечном итоге оказалась одна, причем в самый последний момент.

Правда, нельзя сказать, чтобы я особо переживал, — ровно никаких страданий, никаких расстроенных чувств. Я уже давно научился воспринимать все совершенно спокойно, и все же почти все время испытывал к ней какую-то необъяснимую нежность — и почти никаких обид. Мое сердце неравнодушно к ней, мне нравится по нескольку раз на день названивать ей по телефону, чтобы узнать, как там ее здоровье, главное — поддерживать связь, еще раз напомнить о себе, даже если; мне было прекрасно известно, что разговаривать нам особенно не о чем. Иногда она была погружена в депрессию и вздыхала. Иногда ничего не говорила, кроме своего шепелявого «уес», «уес». Как-то раз она чувствовала себя особенно неважно, и я слышал от нее только какое-то птичье попискивание и меканье. По ее собственному предложению мы отправились к Мерседес на чай — и там она снова уселась у окна, на самом сквозняке и, конечно, подхватила простуду, которая не отпускала ее целый месяц.

— Ты совсем отощала. Ты недоедаешь. В тебе не осталось жизненных сил, чтобы бороться с микробами. Твой позвоночник выпирает у тебя из спины, как какой-нибудь питон.

— А откуда тебе это известно?

— Я видел, когда у тебя задрался свитер, ты наклонилась, чтобы завязать шнурок.

Однажды вечером я предложил сходить втроем, вместе с Мерседес, куда-нибудь пообедать. Свершилось чудо: она не только согласилась пойти, но и вообще все прошло без сучка, без задоринки. В Колониальном царила милая домашняя атмосфера,

поданный обед оказался отменным, и Грета была в восторге.

— Еще ни разу в жизни я не ела таких вкусных бараньих отбивных.

Она призналась, что осталась ужасно довольна и, вернувшись к себе домой, позвонила мне, чтобы сказать, что вечер удался на славу. Она щебетала, как пташка, а внешне напоминала необузданную, но прекрасную цыганку — черный свитер по самое горло, всклокоченные волосы. В такси по дороге домой она положила мне на лицо ладонь и что есть силы сжала. Я сквозь ее же пальцы показал ей язык. Она ответила мне тем же. Как-то раз Грета совсем рано заглянула ко мне на стаканчик-другой. И застала меня спящим. Она немного расстроилась, что я не приготовил ни печенья, ни выпить и вообще был не готов к встрече с ней.

«Я ожидала хоть чуточку шарма».

Потом, когда ее обиды испарились, я позволил себе немного подшутить над ней. Однажды она сказала:

— Господи, чего бы я не дала, чтобы вернуть последние десять лет! Я бы вела себя совершенно по-иному. Если бы только я не упустила свой поезд!

Она несколько раз намекала на то, что я не могу говорить иначе, как «наш странный брак». Я знал, что в настоящий момент просто неразумно заводить разговор на эту тему. Мне бы в любом случае пришлось взять на себя самую невыносимо трудную работу, но сейчас уже невозможно прийти ни к какому решению. Она была то слишком больна, то растеряна, то слишком несчастна и слишком втянулась в свою тоскливую колею, чтобы вдруг ни с того ни с сего потерять голову и ответить мне согласием. Теперь ничего другого не остается, как и дальше брести по воде, ловя момент, дабы не упустить скромных радостей, и только надеяться, что будущее, возможно, принесет перемены к лучшему».

В 1958 году Сесиль удостоился своего первого Оскара за фильм «Жижи», а также внес последние изменения в постановку спектакля «Моя прекрасная леди» в театре «Друри-Лейн». Гарбо провела какое-то время в Лос-Анджелесе, ухаживая за своим другом Гарри Крокером, который находился при смерти. Сесиль написал ей туда в мае: «Теперь все несколько поутихло. Моя мать уже совсем стара, и поэтому переехала жить к моей сестре. Я впервые оказался совсем один. Именно в такие моменты мне ужасно не хватает тебя — почему ты где-то, а не со мной, тем более что до меня дошли сведения, что тебе нездоровится. Как обидно, что ты не можешь вырваться в эту часть мира, где вокруг зелено, целебный воздух полон ароматов и вся обстановка — не

говоря уже о докторе Готтфриде — пошла бы тебе на пользу. Ведь ты все равно строишь какие-то планы, и если тебе хочется ко мне, если у тебя нет желания провести очередное лето в Ривьере с ее голыми скалами, то тебя с распростертыми объятьями ждут здесь у нас».

Незадолго до этого у Сесиля появилась работа в Голливуде, а успех спектакля «Моя прекрасная леди» укрепил его довольно шаткое материальное благополучие, отчего у него появилась возможность возобновить работу над собственной злополучной пьесой «Дочери Гейнсборо».

Тем летом Гарбо, как обычно, отправилась на юг Франции и, как ни странно, была настроена весьма общительно. В конце августа в газетах промелькнули сообщения о том, что сэр Уинстон Черчилль, которому в ту пору уже исполнилось восемьдесят три, а потому здоровье его оставляло желать лучшего, как-то раз засиделся после полуночи, обедая в компании Гарбо и Онассиса, в одном из знаменитых ресторанов Ривьеры — по всей вероятности, это был «Шато де Мадрид».

«Эту троицу можно видеть вместе все чаще и чаще», — писала «Нью-Йорк Таймс».

Сэр Уинстон, который выздоравливал после двухмесячной пневмонии, гостил на вилле у лорда Бивербрука, также в Кап д'Эле. Он пригласил Гарбо и Онассиса в качестве почетных гостей на празднование его золотой свадьбы, которое должно было состояться 12 сентября.

Местный префект устроил по этому поводу обед, а поздравления прислали такие именитые личности, как королева Елизавета, президент Эйзенхауер, Гарольд Макмиллан, президент фирмы «Коти» и генерал де Голль. Из «Шато де Мадрид» прибыли пятилитровая бутыль коньяку стодевятнадцатилетней выдержки и бесчисленные букеты цветов. Сам сэр Уинстон стоял на террасе в белом летнем костюме, попыхивая сигарой, в то время как его восьмилетняя внучка Арабелла безупречно прочитала стихотворение о розах.

Когда несколькими днями позже, 18 сентября, Гарбо праздновала свой собственный день рожденья, она пригласила всех своих именитых соседей по Ривьере, однако закончила вечер в компании одного-единственного Шлее. Говорили, что она не употребляет ничего, кроме фруктов, йогурта и чая со льдом. Тем временем они отправились в Афины, а затем, в начале октября, в Рим, где Гарбо заметили разгуливающей по Виа-Венето без шляпы и в довольно легкомысленном наряде. Гарбо вернулась в Нью-Йорк, так и не встретившись с Сесилем.

В ноябре Битон писал Мерседес:

«Я рад, что ты вытащила Грету в кино. Боюсь, что следующий шаг для нее — это оказаться навсегда прикованной к постели… Как это, однако, грустно — у меня перед глазами печальный пример соседа, Стивена Тенанта. Он стал совершенно невыносимым и капризным. Врачи в полном отчаянии. При мысли об этом мне становится не по себе. В Париже было много пересудов о том, как нынче вел себя Шлее на борту яхты Онассиса. Похоже на то, что вторичного приглашения ему не видать. Диву даюсь, как вообще его терпели так долго. Правда, по-видимому, там не умеют с первого взгляда отличать хорошее от дурного…»

В начале 1959 года Сесиль прибыл в Нью-Йорк, чтобы работать над постановкой Ноэля Кауэрда «Позаботься о Лулу». Вскоре по приезде он позвонил Гарбо и она заглянула к нему на рюмочку. Сесиль вспоминает:

«Я наблюдал за Гретой с любовью и состраданием. За последние двадцать лет, что я был особенно близок с ней, она, увы, настолько постарела, что просто глазам не верится. Мне ни разу не доводилось видеть нечто более ослепительное, чем ее небесно-голубые глаза, когда мы впервые гуляли с ней по Пятой авеню. Ее лицо было безупречно. А теперь на нем залегли глубокие морщины. И все равно, это — прекрасное, чувствительное лицо, которое постоянно меняет свое выражение, и поэтому наблюдать за ней, когда она рассказывает какую-нибудь историю, — одно удовольствие. Чего стоит только одно это нежное движение губ над безупречным рядом белоснежных зубов.

У меня день рожденья. Она пригласила меня пообедать в «Пасси» — поскольку там, выражаясь словами Арта Бухвальда, было слишком много тех, кого мы любим и кем восхищаемся «в новомодном ресторане «La Cote Basque». Там сегодня набилось больше друзей и знакомых, нежели в остальные дни. Со всех сторон нас окружали всякие там Фэрбэнксы, Меллоны и Берлины. Все те же старые шутки.

«Может, сегодня нам стоит поговорить о чем-нибудь серьезном? — спросил я. — Надеюсь, у тебя все в порядке?»

Как мне кажется, не совсем. Но как бы мне хотелось проникнуть чуть глубже, чем эти ничего не значащие фразы. Мы немного поговорили о Голливуде, о том, как она в последний раз ездила туда, как она ухаживала за Гарри Крокером до самой его смерти (он умер 23 мая 1958 года), о том, как из всех ее навестил один только глава «МГМ» — он шлет ей цветы и просит вернуться в кино.

— Я трезво смотрю на вещи. Они вполне готовы рискнуть

сделать со мной еще один фильм. Они утверждают, что сумеют снять меня так, что я буду смотреться с экрана, — и я им верю, хотя теперь газеты пишут, что я выгляжу просто ужасно. Я помню, как пришла в ужас от того, как обозначились морщинки возле рта — можно подумать, я о них не знаю, — я даже спрашивала Ласло, не поможет ли он мне от них избавиться (но он не может). Но теперь они видны и на фотографиях!

Какую же роль они дадут мне? Но они так ничего и не нашли. Был среди них один чокнутый с какой-то идеей — он все приставал ко мне. Но с какой стати мне навлекать на себя все эти мучения — чего ради?

Бывает, что мы ведем разговоры о прошлом, если вспоминаем что-нибудь интересное, но чаще всего мы проводим время, притворяясь как дети, благодаря чему я вскоре начинаю ощущать себя менее скованным. А еще мы часто предаемся глупым мечтаниям:

«Давай отправимся куда-нибудь, например, в Мексику или Флориду, или в Испанию. Или на конкурс «ча-ча-ча»!». Хотя мне прекрасно известно, что мы никуда не поедем. Меня так и подмывает спросить, почему она так привязана к Шлее. Мне хочется знать, почему в последнюю минуту она все-таки возвращается к нему. Я намеревался сказать ей, что уже давно серьезно подумываю о женитьбе и в конечном итоге решился. Должен сказать, что она отлично справилась с этой ситуацией.

— Я не замедлю положить этому конец. Я просто оторву ей голову.

— Ну и ну. Так ты и впрямь завел себе девицу? — и она вопросительно посмотрела на меня.

— У меня имеется лишь одно возражение, — произнес я.

Она предвосхитила меня.

— Ты ее не любишь?

— Я не влюблен в нее. Правда, она сущий ангел. Я знаю, мне ужасно повезет, если она согласится выйти за меня замуж. Она просто чудо — воплощение всего, что есть в этом мире прекрасного, смелого, благородного и привлекательного.

По-моему, самое печальное, когда на тебя не обращают внимания. Я чувствую себя глубоко несчастным, когда Грета словно не замечает моего существования. Но куда более печально и горько, когда ощущаешь, как начинают остывать чувства к тому, кто значил для тебя почти все на свете, когда приходишь к пониманию, что должен быть добр с теми, кого отвергаешь.

Наконец, мне ясно, что нам с Гретой уже поздно думать о браке. Увлечение первых дней прошло — и теперь нам просто не о чем говорить».

В конце января в отеле Сесиля произошел довольно неловкий эпизод с Гарбо и Виктором Ротшильдом.

«Ко мне заглянули Виктор с супругой, ужасно обрадовавшиеся встрече со мной, после того, как мы долго не видели друг друга. Приятная неожиданность и бурные восторги. Виктор, а он не любитель расшаркиваться, обратился к Гарбо в своей обычной грубоватой манере: «Зачем тебя понесло на яхту к Онассису? Что, скажи на милость, ты там забыла?»

Грета не знала, что ответить. Обычно она находчива и не лезет за словом в карман, однако напористый Виктор явно выбил почву у нее из-под ног. И тогда Виктор переключил внимание на меня. Он шутил и смеялся, и мы отлично провели время, наш разговор принял более-менее общий характер. Но Грета внезапно поднялась и ушла. Никакого сожаления со стороны Р. по поводу того, что она удалилась, — наоборот, он принялся отпускать все новые остроты. «Интересно, — подумал я, — с чего это она ушла так рано?» Вскоре после того, как Р. вышел, чтобы вызвать лифт, Г. позвонила;

«Только чтобы они не догадались, с кем ты разговариваешь, — если они еще у тебя. Что, собственно, произошло? Просто мне не понравилось. Их Величество даже не соизволили на меня взглянуть. Меня для него будто не существовало. Атмосфера была какая-то неприятная — мне было совершенно не по себе, и я вернулась домой совсем расстроенная. В такси я даже ужасно взгрустнула». Мне почти стало грустно от ее слов, и я счел нужным извиниться. Я сказал ей, что у всех Ротшильдов отвратительные манеры.

— Знаешь, когда человек столь чувствителен, как я, это не совсем приятно, особенно если редко выходишь из дому, и поэтому каждый раз надеешься, что тебя ради разнообразия ожидает что-то исключительное и веселое.

И тогда я сказал;

— Будь добра, выкинь это из головы. Поверь, я весьма сожалею.

И она сказала:

— Давай я попробую еще раз. Спокойной ночи, Битти.

У меня внутри все оборвалось».

До конца года Сесиль практически не встречался с Гарбо. Единственные новости пришли к нему от Мерседес;

«Грета позвонила буквально минуту назад, и мы с ней от души наболтались! Днем мы с ней отправились за покупками, и, как всегда случается, когда она рядом, я чувствовала себя как на крыльях. Почти на каждом углу ее кто-то узнавал, кое-кто из девчонок пытались идти за нами и даже сфотографировать.

Одному богу известно, как только они догадываются, кто она такая; ведь под самый нос замоталась шарфом, ее видавшее виды тюленье пальто волочится едва ли не по земле, а на ногах тяжелые ботинки. Она меньше всего походит на кинозвезду в привычном смысле, однако из-за шарфа выглядывает хорошенькое личико, и они наверняка его замечают.

«Барон» (Эрик Гольдшмидт-Ротшильд) вернулся в Нью-Йорк, но Грета с ним не встретилась. Интересно, что у них там такое произошло, ведь как, бывало, они любили совместные прогулки. Готова поспорить, что в жизни ему больше не видать столь полезного моциона!»

Глава 14
Обиды и раскаяния

Как-то раз зимним днем 1959/1960 года Гарбо, как обычно, рассматривала товары, выставленные на полках ее излюбленного магазинчика «Здорового Питания» на углу Восточной Пятьдесят Седьмой улицы и Лексингтон-авеню. Неожиданно в поле ее зрения показался остроносый башмак с серебряной пряжкой. Краешком глаза Гарбо заметила черный широкий плащ.

«Мы что, сегодня не разговариваем?» — спросила Мерседес. Гарбо не только не удостоила ее ответом, но даже не взглянула. Носок башмака исчез из поля зрения. Это была единственная встреча Гарбо и Мерседес той зимой. Гарбо считала, что у нее имеется достаточно причин злиться на Мерседес. Из-за неумелых действий присоветованного Мерседес врача, Макса Вольфа, она страдала от вывиха бедра.

Вскоре после этого Мерседес совершила настоящее преступление, опубликовав свои мемуары «Здесь покоится сердце». Их написанию Мерседес посвятила несколько лет и в 1960 году отправила один экземпляр Сесилю. Тот писал:

«Большое спасибо за книгу — наконец-то она вышла! Наверняка ты ужасно обрадована. Внешне она производит очень даже приятное впечатление и, как мне кажется, должна тебе чисто внешне понравиться. Скажи, а в журналах ты ее пробовала публиковать? Как мне кажется, это единственный способ хоть сколь-нибудь заработать. Мне будет весьма интересно узнать, какие на нее отклики. В книжке полным-полно любопытных вещей, и я с удовольствием прочел ее, особенно если учесть, что мне посчастливилось знавать многих из тех, о ком ты пишешь. Я дал почитать книгу моей соседке Джулиет Дафф, и она просто в восторге».

Другой читательницей стала Элис Токлас:

«После твоей книги я никак не могу перевести дыхание — я чувствую себя взволнованной и счастливой. Я преклоняюсь перед тобой за твой труд. Твоя душа такова, что ты у нас сама скромность. Прости меня за мое изумление. Например, твоя история Гарбо — не что иное, как классика, в конце ты сделала из нее величайшую героиню нашего времени, точно так же, как из Марлен Дитрих — душевную, но совершенно обыкновенную женщину».

«Здесь покоится сердце» стало одной из тех книг, что вышли явно не ко времени. И интерес к таким личностям, как Гарбо или

Дитрих, был в пятидесятые годы не столь велик, как то имело место позднее. Сама же Мерседес была настолько тяжелым в общении человеком, что многое из написанного ею не внушало доверия. Многие отказывались верить ее историям, а кто-то из знакомых с издевкой перефразировал название самой книги: «Здесь покоится лживое сердце…». Тем не менее, как это часто случается, рассказанные Мерседес истории выдержали проверку временем, и даже если кое-какие детали оказались в них перепутаны, даты взяты наугад, а кое-какие загадочные совпадения явно были плодом фантазии, однако суть повествования оставалась верной. Книга вышла одновременно в Нью-Йорке и Лондоне. Один из обозревателей писал, что нашел в ней «ум и сердце женщины, чья жизнь была посвящена мужественному поиску духовных ценностей и романтичных, а подчас даже экстравагантных приключений». Однако, несмотря на многочисленные отклики, самой Мерседес от этой публикации не досталось ни гроша. Тем не менее вовсе не публикация книги «Здесь покоится сердце» проложила пропасть между Мерседес и Гарбо. Просто Гарбо пришла в голову мысль, что Мерседес приносит ей одни несчастья. И когда эта мысль полностью завладела Гарбо, то бедной Мерседес уже не на что было рассчитывать. Она навсегда угодила у Гарбо в черные списки.

Как-то раз накануне Нового Года Мерседес позвонила бывшей подруге, но Гарбо повесила трубку, сказав коротко: «Я не хочу с тобой разговаривать».

Мерседес доложила об этом случае Сесилю. Тот ответил:

«Как это по-детски со стороны Греты: вот так запросто вешать трубку — меня это просто бесит».

Гарбо оставалась в Нью-Йорке, «понапрасну убивая время в этой ужасной квартире». Она тягалась по этим душным улицам за продуктами из магазина «Здорового Питания» до тех пор, пока не настала пора пуститься в ежегодные странствия на юг Франции, за которыми в этом году последовал месяц в Клостерсе с Залькой Фиртель, чтобы вылечить вывих бедра. Юг Франции оказался не столь воодушевляющим.

«Я никого не видела», — сообщала Гарбо Сесилю.

В конце ноября Гарбо осчастливила Сесиля визитом. Она приехала в Лондон в сопровождении Сидни Гиляроффа — одного из самых знаменитых голливудских парикмахеров. Сесиль, как обычно, скрупулезно зафиксировал этот визит в своем дневнике:

«Гилярофф, эмгеэмовский парикмахер — единственный, кстати, с кем я не мог нормально общаться в студии, когда работал над «Жижи», — позвонил, чтобы сказать мне, что мисс Гарриет Браун остановилась вместе с ним в небольшой квартирке

на Шепердс-Маркет. Все это показалось мне весьма странным и совсем не к месту, поскольку, мне кажется, сейчас не лучшее время для того, чтобы вернуться в Лондон после семилетнего (!) отсутствия.

И действительно, этот визит обернулся провалом. Гилярофф — третий сорт, не выше, и квартирка у него тесная и неудобная. Правда, Грета согласилась приехать ко мне в деревню на уик-энд. Эта поездка оказалась «скомканной» из-за какого-то обеда, который, как и следовало ожидать, конечно же, не состоялся, но, вопреки всем ожиданиям. Грета появилась у меня — в сопровождении Саймона Флита — в воскресенье утром. Вид у нее был вовсе не такой уж «зачуханный» (ее словечко), как я ожидал после девяти месяцев разлуки. Когда она вышла из вагона в сопровождении этого надутого Саймона, то разрывалась между двумя желаниями — с радостью броситься мне на шею и одновременно не привлекать к себе внимания посторонних. Она смеялась, полузакрыв глаза. Затем, убедившись, что поблизости нет никаких соглядатаев, она дала волю чувствам и радостно расцеловала Джулиет Дафф (та пришла встретить Саймона) и меня — в общем-то, нечто такое, чего она никогда не позволяла себе на людях. На ней был лыжный костюм и умопомрачительная шерстяная шляпа, вроде тех, что носят дети в Тироле. Длинные волосы перекрашены в рыже-каштановый цвет — да еще и с челкой. «Ну и ну, кто бы мог подумать!» Пока мы ехали по осенним проселкам в Бродчолк. Грета пребывала в лучшем своем настроении. Меня беспокоило только одно — как отнесется к ней моя матушка, неужели, как раньше, примет ее в штыки? Прошлый раз ей показалось, будто Грета задумала у нее отнять меня, так что ситуация была — не дай бог. Я пытался успокоить Грету, говоря ей, что матушка давно не испытывает к ней никакой ревности, но Грета все равно ужасно перепугалась, когда, перепутав комнаты, по ошибке заглянула к моей матушке. Та спала и ничего не слышала. Однако за этим расстройством последовало другое, когда Грета никак не могла найти свою сумочку. Может быть, она оставила ее в поезде? И почему это Саймон предавался болтовне, когда они прибыли в Солсбери (вот уж!). Я уже начал подумывать о том, не позвонить ли мне в полицию — правда, это повлекло бы за собой постороннее любопытство, — когда Грета обнаружила, что оставила сумочку в туалете. Однако два этих случая плюс сам ее визит окончательно выбили меня из колеи. С ней вечно что-то приключается. Интересно, за чем очередь?

К счастью, вторая половина дня прошла относительно гладко. Солнце продолжало светить. И после обильного обеда мы с ней

вдвоем насладились долгой и весьма познавательной прогулкой. Поначалу она было принялась жаловаться, что я вытащил ее в такую грязищу — не иначе как я не в своем уме, — но ведь ей самой захотелось посмотреть своих друзей, поросят и телят, а грязь была там, где прошли животные, — особенно в это время, когда Англию заливают дожди. Тем не менее мы пробродили по холмам — чистый пустынный пейзаж, легкие полны свежего воздуха, и от этого улучшается самочувствие. Мы сверху перелезли через ворота, а когда стало темнеть, вернулись по тропинке среди живой изгороди, заглянув по дороге на ферму Банди. И вот вам пятьдесят поросят, и недельные телята. Нас угостили яблочным вареньем и чаем, который приятно припахивал геранью. Мы почти все время, молчали. Грета уютно расположилась в гостиной так, как умеет делать только она. Когда она поудобнее устроилась на диване с пачкой сигарет, то невольно создалось впечатление, будто для нее ничего не существует в жизни, кроме настоящего момента. Это величайшее из ее достоинств, и я уверен, что именно по этой причине Джордж Шлее был готов мириться с любыми ее причудами.

Я хотел поставить для нее кое-что из комических пластинок — и надо сказать, что ее ужасно насмешило то, как высокоинтеллектуальная парочка Никольс и Мей слушали Баха. Однако мне ни разу не доводилось видеть, чтобы она смеялась так, когда услышала «Индейца» в исполнении Питера Селлерса. Она сказала, что в общем-то разучилась смеяться и поэтому ей даже стало больно — ей даже пришлось наклониться вперед, сморщив лицо от неудержимого веселья. Обед у Джулиет прошел довольно мило, так как на нем собрались старые друзья — Сидни (граф Пемброк), Майкл (сэр Майкл Дафф). Грета была, можно сказать, в ударе. Она словно преобразилась, и в ней не осталось ничего от той несуразной фигуры, что вышла к нам из вагона. Она все еще была в черных лыжных брюках и бордовом свитере, однако добавила в тон волосам бордовый шифоновый шарф. На лице ее читалось оживление, а ее улыбка наверняка бы обезоружила любого критика. Между прочим, критика прозвучала именно из ее уст и была направлена в мой адрес;

«Мистер Битон всегда бывает ужасно занят в Нью-Йорке, и ему там не до меня. Он постоянно в бегах, так что мне достается буквально пара минут. Безусловно, мистер Битон немного исправился — теперь он бегает кругами».

Всех остальных это ужасно позабавило, и, полагаю, раньше я был бы даже польщен тем, что Грета оказывает мне знаки внимания. Но я ощутил некое неясное раздражение оттого, что пусть даже намеками, но критика была высказана вслух. И

вообще, давно прошло то время, когда она звала меня в присутствии наших общих знакомых не иначе как «мистер Битон».

Давно пора оставить эту привычку, потому что сейчас это чистой воды идиотизм и к тому же печальное свидетельство ее нежелания связывать себя какими бы то ни было обязательствами. Настоящие друзья ей ни к чему. И хотя она не допускала резких суждений в его адрес, было ясно, что она раскаивается в том, что приехала в Лондон в компании этого парикмахера. Довольно. Вот мы и дома. Поцелуй и обмен любезностями в тепле гостиной. После чего расходимся по своим комнатам.

«Ох, я такой несчастный человек. Я слишком долго не видела жизни!»

Возвращение в Лондон показалось мне чересчур утомительным. Грета ничего не читает, по крайней мере, не захватила с собой очки и поэтому могла только бегло проглядеть заголовки в газете, которую я ей подсунул. Она несколько расстроилась оттого, что в купе, кроме нас, были посторонние люди (так как поезд был вообще переполнен). Она беспрестанно осыпала меня вопросами:

«Где я могу найти розовый ковер? А где можно достать хоть какую-нибудь приличную мебель?»

Любое из моих предложений абсолютно беспомощно, так как мне прекрасно известно, что она никогда не ходит по магазинам, а если и ходит, то ничего не покупает, а если покупает, то затем не знает, куда покупку поставить. Когда мы, наконец, прибыли в Лондон, я чувствовал себя вконец измученным, обессиленным и подавленным. Высадив ее на Шепердс-Маркет, я долго смотрел вслед на несуразную фигуру, торопливо семенившую к дому, и у меня кольнуло в сердце. Было нечто грустное в том, как она поспешно растворялась в тумане, и тем не менее я ничего не мог поделать — было бы просто безнадежно. Более того, она сама ни от кого не просит помощи — она независима и ни за что не протянет руки навстречу тому, кто жаждет поддержать ее. Гарбо и Гилярофф в тот вечер вместе с Хэлом заглянули на обед в Пелхэм-Плейс, и, по мнению Сесиля, все было слишком печально. Единственным добрым делом в тот вечер оказалась мудрость Хэла, когда мы проводили небольшой «post mortem». Он сказал, что это печально, но, увы, неизбежно, что чаша весов однажды падет, и когда это произойдет, то не следует принимать это близко к сердцу. Ведь Грета никогда не вела честную игру. Она всегда притворялась и никогда не станет связывать себя обязательствами. Более того, Хэл сказал, что заметил в ней некую

жестокость. То есть, она уже не казалась ему беспомощной неприкаянной душой, прекрасно знала, что стремится не к чему-то, а к предательству и что никто и пальцем не пошевелит, чтобы воспрепятствовать ей».

Терпение Сесиля по отношению к Гарбо постепенно истощалось. В 1961 году он снова приехал в Нью-Йорк, ему впервые предоставилась возможность поработать для «Метрополитен-Опера». Живя в Америке, Битон принялся наблюдать за развитием отношений Гарбо-Мерседес.

«Мне всегда казалось, что Грета закончит свои дни в обществе Мерседес — это лучшее, что можно придумать для двух одиноких людей. Но, увы, есть все основания предполагать, что Грета «завязала» с Мерседес — и вовсе не по той причине, как та думает: будто Грета не простила ее за то, что она рассказала о ней в своей книге (Грета и не думала читать эту книгу — да и вообще, как бы там ни было, эти нескромные откровения вышли с опозданием в двадцать лет!). Истинная же причина заключалась в том, что Мерседес не просто наскучила и надоела Грете, но и, по мнению последней, приносит ей одни лишь беды и несчастья. Это убеждение нашло свое подтверждение в злосчастном инциденте, когда Грете порекомендовали какого-то хиропрактора и тот, если верить ее утверждениям, смял в лепешку все ее кости, вывихнул ей бедро, а вдобавок из-за его действий у нее перекосило рот. Мерседес, последняя из преданных поклонниц, изо всех сил старается вернуть себе ее расположение, хотя прекрасно знает, как скверно Грета обращается с друзьями. Время от времени она делает попытки к примирению, но — увы. На это Рождество Мерседес заказала для Греты очаровательную сосну. Посыльный отметил, что Грета приняла подарок с восторгом — несмотря на то, что заметила, от кого он. Правда, отвечать на него она не стала. Тем не менее, когда Мерседес, окрыленная надеждой, послала ей корзинку, полную всяческих сюрпризов, игрушек, ветку омелы и, главное, бутылку превосходной водки, которую приберегла после поездки в Париж, — Грета через испуганного мальчишку-рассыльно-го вернула подарок практически нетронутым, за исключением бутылки водки, которую она взяла себе. Грета не собиралась изменять своим эгоистическим привычкам.

Ее эгоизм стал попросту невыносим. В Нью-Йорк как-то раз прибыл один ее старый друг из Швеции, надеясь немного развеяться после смерти жены. Грета попросила его и принцессу Бернадот пообедать вместе с ней где-нибудь в ресторане. И вот в половине седьмого она дает ему от ворот поворот — ей, видите ли, не хочется никуда вылезать, — принцесса пусть приезжает к

ней, и они пообедают дома вдвоем; приготовят себе каких-нибудь овощей. Возмущенная принцесса наотрез отказалась.

Я здесь уже около двух недель, и хотя предпринял несколько натужных попыток увидеться с ней, мы все еще так и не встретились. Зато у нас состоялось несколько дурацких разговоров по телефону. Правда, вчера она позволила себе на редкость широкий жест, признавшись, что будет обедать в «Каравелле». Когда она там появилась, то была не в духе оттого, что опоздала. Ей вообще не следовало приходить. «Известно ли тебе, я впервые выбралась пообедать в ресторане за бог знает какое время?» («Ну и что?» — меня так и подмывало ответить ей)».

В июне 1961 года Гарбо присутствовала на прощальном обеде у Валентины, который та устраивала в честь мужа, в их квартире на Пятьдесят Второй Восточной улице. Вскоре после этого, согласно устоявшейся традиции, Гарбо и Шлее должны были отбыть на лето на юг Франции, а Валентина — уехать в Венецию. Сесиль тоже приехал в Венецию (на бал Вольпи) и случайно встретил там Валентину. Вот что он сообщал Мерседес:

«В Венеции я встретил Валентину. Завтра я снова возвращаюсь туда, проведя несколько спокойных дней на острове Спетсай. Так вот, она сказала мне, что наша богиня, как обычно, находится в Кап д'Эле, где присоединится к Джорджу и Грете. Я молю бога, чтобы ты постаралась не обижаться на жестокость Греты, однако, если кто-то выбрал страдания, то не стоит говорить о них в шутку. К счастью, меня она уже не способна обидеть, и это по-своему тоже весьма прискорбно. Я с ужасом думаю о том, что вообще может произойти с нами в ближайшие десять лет, но для Греты перспективы складываются особенно мрачные, если, конечно, она не решит, что ей пора перевернуть новую страницу, избавиться от себялюбия, — а в это мне мало верится».

Сесиль опубликовал первый том своих дневников «Годы странствий» в июле 1961 года и тотчас послал экземпляр Мерседес. Он пришел в восторг от того, что книга ей понравилась.

«Я радуюсь при мысли, что тебе понравилась моя маленькая книженция, и я по достоинству ценю твою откровенность. Мне нелегко досталось это решение «опубликовать — и пусть все летит к черту», но я подумал, что нет смысла печатать разбавленную версию оригинальных дневников. Одному Богу известно, что может случиться, если я возьмусь осовременивать их! Грету со дня на день можно ждать в Париже — будет обычное шатание перед витринами и вздохи. А затем, ни с того ни с сего,

ей придет в голову сесть на ближайший самолет и вернуться в наезженную колею. Как ей вообще удается хоть чем-то интересоваться?»

И действительно, в октябре 1961 года Гарбо видели в парижских магазинах, где она в компании Риты Хейворт делала покупки. Затем Грета вернулась в Нью-Йорк, где Сесиль догнал ее, приехав туда по делам на десять дней. Ему предстояло оформить зал для благотворительного бала. Когда Сесиль позвонил Гарбо, она была рада его звонку. «Ну, ну. Я как раз вчера думала о тебе. Интересно, еще подумала я, а что сейчас делает Бит? Ты что, приехал сюда, чтобы в очередной раз сделать мне предложение?»

Гарбо заглянула к нему в отель, где Сесиль как раз работал над портретом их великосветской знакомой Никиты Астор. Гарбо призналась Битону, что ее жизнь теперь стала еще более замкнутой, чем прежде, что ее даже не тянет подняться несколькими этажами выше, чтобы пропустить со Шлее рюмку-другую водки. Бедро доставляло ей постоянное неудобство, да и желудок тоже. Тем не менее она каждый день отправляется на прогулку. Сесиль пришел к выводу, что такая жизнь просто угнетает, а вот ее знакомая, Никита Астор, заявила, что не встречала никого, кто был бы наделен такой глубокой красотой. Во время этого его пребывания в Нью-Йорке Сесиль и Гарбо обедали вместе в Пасси. Встретились они у входа — Гарбо, как всегда, была пунктуальна, в то время как Сесиль опоздал. Он заметил ее еще на расстоянии, одетую в синий цвет, с темным шифоновым платком на голове. Она приветливо улыбнулась ему, и Сесиль за несколько шагов внимательно посмотрел ей в лицо.

«В этом лице есть нечто такое, чего нет в любом другом лице в Нью-Йорке».

«Я просто свинья, что не могу до конца выпрямиться, что не могу разразиться слезами, но я не могу. За последние годы она не раз делала мне больно, и я не могу ей этого простить. А еще я не могу ей простить бессмысленность ее существования, постоянные вздохи, упущенные возможности и те, что так и не возникли. Все это печально, печально, печально — такое обаяние и такая безмерная жестокость, хотя она ни за что не признается, что это именно жестокость. Когда я сказал ей, что Мерседес, с которой она не желает мириться и которую никогда не увидит, возможно, скоро умрет (ей предстоит еще одна операция на мозге). Грета искренне, совсем искренне расстроилась. Однако свое суждение о ней она никогда не изменит.

И Сесиль, и Мерседес страшно удивились, когда Грета неожиданно вылетела в Швецию, чтобы встретить Рождество с

графом Иоханном Карлом Бернадоттом и его супругой. Она прибыла туда 9 декабря. Вот что писала Мерседес по этому поводу Сесилю:

«Как я предполагала. Рождество ты проведешь у себя в деревне, и это наверняка будет чудесно. Ты ведь знаешь, что у нас здесь в Нью-Йорке, в этой «торговой панике», как мне кажется, атмосфера с каждым годом становится все более гнетущей и печальной. Завидую тебе в твоей деревне. Тебе, надеюсь, известно, что Грета улетела в Швецию. Мне рассказал об этом Джон Гюнтер, и хотя эта новость была в газетах, прочитав, я ей не поверила, пока мне ее не подтвердили. Джон сказал, что они просто уехали на Рождество, но в газетах писали, что она вообще уехала из Америки — «навсегда и собирается продать квартиру». Должна честно признаться, что для меня это был удар в самое сердце, потому что я не могу представить себе Нью-Йорка без Греты. Вот почему у меня камень свалился с души, когда Джон сказал, что это неправда и что она вернется. Как я предполагаю, она уехала погостить у Вахтмейстеров — у них очаровательный домик в деревне и они удивительные люди. Я не видела их с тех самых пор, как мы с Гретой гостили у них в 1937 году, и, как мне кажется, она тоже с тех пор с ними не виделась. Может, ей даже пойдет на пользу снова побывать на родине, или, по крайней мере, в деревне — на воздухе и здоровой пище. А я точно помню расчудесные их угощения. Странно, однако, какой одинокой я ощущаю себя, зная, что сейчас ее нет в Нью-Йорке. И даже хотя мы с ней практически не встречаемся, у меня есть надежда случайно увидеть ее на улице, услышать о ней какие-то новости или даже то, что она возьмет да и позвонит. Я все ломала голову, не в силах прийти к окончательному решению, — посылать ей елку или нет. Обязательно сообщи мне, если узнаешь хоть что-нибудь о ее планах. Вполне возможно, что она напишет тебе, а может, даже приедет к тебе в Англию…»

На это Сесиль писал в ответ:

«Мне весьма жаль, что ты продолжаешь страдать из-за того, что она уехала. Но что еще об этом сказать — за исключением того, что она такая особенная, что, кто знает, может, это избавит тебя от ненужных душевных мук, если ты сумеешь посмотреть на нее с достаточного расстояния и хорошенько посмеяться над ее странностями. Да, она действительно крепкий орешек, но, как мне кажется, ей во что бы то ни стало хочется поступать себе же самой во вред, чтобы затем и повздыхать и пожалеть. Кто знает, может, она счастлива той жизнью, которую ведет, — она говорит, что ей никогда не бывает скучно, но одному богу известно, приходили ли ей в голову хоть какие-либо мысли. Она

отгородилась практически от всего на свете…»

На Рождество Сесилю пришлось пережить немало горестных минут, видя, как медленно угасает его престарелая мать. Она умерла вскорости, в Бродчолке, в феврале 1962 года, когда Сесиль уехал в Париж. Смерть той, к кому он на протяжении всей жизни относился с величайшим почтением, надолго погрузила его в уныние.

Новости о Гарбо и встречи с ней стали все более редкими.

«О Грете ничего не слышно, — писал он Мерседес в марте 1962 года. — Я слышал, что она была в Сент-Морице во дворце. Ну кто бы мог подумать. Правда, швейцарский снег куда лучше, чем слякоть Третьей авеню».

Затем в июле от Гарбо неожиданно пришло письмо. Оно было практически ни о чем и, как всегда, полно оправданий. Здоровье ее резко ухудшилось, и она ни с кем не видится. Она сказала Шлее, что в этом году не поедет с ним на Ривьеру, и тот расстроился. Ведь у него, кроме нее, никого нет. Если она приедет в Европу, то они с Сесилем вполне могут встретиться. Гарбо надеялась, хотя, возможно, тщетно, что Сесилю захочется приехать в Калифорнию — в таком случае она тоже могла бы туда приехать.

Сесиль докладывал об этом письме Мерседес: у него нет «никаких вестей от Греты за исключением написанного на машинке письма, датированного 17 июля, когда все ее планы были негативными — как обычно. Полагаю, что она все-таки вернулась к своему Шлее. Мы все встали в девять утра чтобы посмотреть фестиваль старых фильмов на пляже Лидо. «Анна Кристи» — величайшее удовольствие, ничуть не устарел, игра Греты в нем трогает до глубины души. Еще они там показывали отрывки из производившего удручающее впечатление фильма под названием «Вдохновение», в котором у Греты волосы торчат во все стороны, а сама она в каком-то вампирском наряде, но даже и в таком виде она куда утонченнее, что касается вкуса, такта, остроумия, красоты, чем эта безмозглая корова Дитрих, чей фильм «Марокко» и другие также стояли в программе. Горе этой Дитрих. Она еще довольно прилично выглядела крупным планом при верхнем свете, но в остальных ракурсах нам была отлично видна толстая немецкая «хаусфрау» и ее нос картошкой».

И снова последовало долгое молчание, причем не одно. В феврале 1963 года Сесиль на десять месяцев уехал в Голливуд для работы над фильмом «Моя прекрасная леди», за который он впоследствии удостоился двух «Оскаров». Это был для него конструктивный период, хотя и далеко не счастливый. Сесилю не нравилось, что его вынуждают оставаться в Голливуде, и он даже

поссорился с Джорджем Кьюкором, в июле он докладывал Мерседес о своих неладах с Гарбо, отправив письма из отеля «Бель-Эйр» в Лос-Анджелесе.

«Мне жаль, что у меня не нашлось времени повидаться с тобой в Нью-Йорке, но я был там всего лишь пару дней, и главным образом занимался тем, что всю субботу фотографировал одну богатую даму из Нью-Джерси. Я позвонил Грете — ее нет, ответила горничная, а затем в день моего отъезда позвонила секретарша(!), чтобы узнать, надолго ли я приехал. «Вы секретарша мисс Гарбо?» — спросил я, не веря своим ушам. Тем не менее, как обычно, я ее упустил, и с тех пор от нее ни словечка. Что за беда! Она терпеть не может Валентину — кстати, взаимно, — и поэтому особенно горько, что они вынуждены проводить так много времени в обществе друг друга. Там был также Нуриев, который сказал мне, что они с Гретой нашли общий язык. И вообще, они — два сапога пара. (Кстати, ты видела, как он танцует? Вот уж воистину гений!)

Глава 15
После Шлее

Джордж Шлее умер в Париже 3 октября 1964 года. Его смерть долго служила предметом многочисленных споров и домыслов.

Тем летом Гарбо, как обычно, отправилась в путешествие по Европе. Актер Брайен Ахерн с женой проводили ее до Швейцарии, где она встретилась с Ноэлем Кауэрдом. 4 июля он вылетел с ними в одном самолете в Рим, причем Гарбо в течение всего перелета «била мелкая дрожь». Гарбо путешествовала туристическим классом, по мнению Кауэрда, исключительно ради того, чтобы не быть узнанной.

«Она могла бы и не волноваться — никто не обратил на нее даже малейшего внимания».

Затем компания отправилась на яхте в морское путешествие. После этого Гарбо присоединилась к Шлее на Кап д'Эле. В начале октября она отправилась в Париж, планируя вылететь в Нью-Йорк в воскресенье, четвертого числа. Спустя год Сесиль де Ротшильд, которая откровенно недолюбливала Джорджа Шлее, рассказала Сесилю свою версию случившегося.

«Сесиль рассказала мне, что судьба распорядилась так, чтобы она приехала в Париж на день раньше намеченного. Она застала Грету и Шлее в Крильоне накануне их отлета в Нью-Йорк. Они поехали вместе. Грета со своим спутником ушла в половине двенадцатого — она спать, а он немного прогуляться, и с ним случился сердечный приступ. Он дошел до бистро и попросил владельца позвонить Грете — ему становилось все хуже, и по дороге в больницу он умер. Грете тем временем звонит незнакомый мужчина, которого она совершенно не понимает, так как он говорит по-французски. Она говорит ему, чтобы он позвонил Сесили — которая и получает известие…» Репортеры из «Таймс» не щадили перьев, и в результате их трудов на свет появилась противоречивая версия, которой редакторы, однако, не пожелали воспользоваться. Официальные представители отеля «Крильон» яростно отрицают, что Шлее умер прямо в гостинице, утверждая, что он мирно скончался на правом берегу в «Boute de Nuit». Но вся эта свистопляска нужна им лишь для того, чтобы благородное имя заведения с Площади Согласия и далее оставалось незапятнанным. Мы позвонили в американское посольство, представившись некими отдаленными родственниками, и нам сообщили, что Шлее действительно скончался в отеле «Крильон». Причина смерти — острая

сердечная недостаточность. Валентина прибыла в Париж в понедельник, а во вторник вылетела вместе с телом покойного в Лос-Анджелес. Нам не удалось выяснить, улетела Гарбо или же осталась в Париже».

«Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Шлее скончался в одной их парижских больниц, но, разумеется, как и следовало ожидать, вскоре пошли слухи, будто смерть настигла его в каком-то борделе, где он наслаждался любовью некой юной особы или же, как поговаривали, некоего молодого человека. Самой правдоподобной версией, однако, представляется та, что была изложена Битону Сесилью де Ротшильд. Валентина прилетела за телом в Париж в понедельник 5 октября; что же касается Гарбо, то она исчезла. Кстати, она укрылась неподалеку, в квартире Сесили де Ротшильд на Рю Фобур де Сент-Оноре. Похороны Шлее состоялись в Нью-Йорке в Погребальной Часовне на углу Пятьдесят Второй улицы и Лексингтон-авеню, причем за Валентиной шли еще около восьмидесяти скорбящих. Прозвучало стихотворение Пушкина «Памятник», сначала по-русски, затем по-английски. Два православных священника провели службу по русскому обряду, нараспев читая молитвы и зажигая свечи. И хотя отсутствие Гарбо на похоронах бросалось в глаза, она все так же продолжала проживать в доме № 450 по Восточной Пятьдесят Второй улице. Валентина, которая долгие годы терпела этот «menage», заявила, что больше не желает видеть эту Гарбо. Причиной тому якобы послужил тот факт, что Гарбо бросила ее мужа в час смерти на произвол судьбы, однако правдоподобнее предположить, что виной всему — накопившиеся обиды. Репортеры «Таймс» посылали все новую и новую информацию, энергично отыскивая все новые и новые источники, однако история опять осталась неопубликованной. Один из четырех весьма надежных источников (а именно — близкий друг Гарбо) сообщает нам, что Валентина сквозь пальцы смотрела на этот свободный союз.

«Она была не только одной из бывших подруг Гарбо, — заявляет наш источник, — но кроме того, сама каждое лето заводила себе в Вене новых дружков».

Трудно было ожидать, что обстоятельства сложатся лучше, чем это было на протяжении последних пятнадцати лет. Джордж с Гретой на Лазурном Берегу, Валентина заигрывает со своими графами и герцогами на верхних этажах отеля «Ройял Даниелс». Кем он был для нее — деловым партнером или чем-то большим? Несомненно одно — он делал все, что мог, ради Гарбо, он посвятил всю свою жизнь, чтобы поддерживать огонь в тлеющем, угасающем мифе. По сути дела, он был мистером Гарбо и

наслаждался этой ролью. Однако все прекрасно знали, что он был бессилен сделать все для той, кого защищал. Их отношения были сугубо платоническими.

* * *

И вот теперь, когда Шлее умер, Валентина дала выход накопившемуся гневу. Она пригласила священника, чтобы тот очистил квартиру от недобрых сил, и главным образом, от каких-либо следов, оставленных Гарбо, чтобы здесь ее духу не было. Священнику было велено обратить особое внимание на холодильник, куда Гарбо имела привычку заглядывать за баночкой пива. Валентина наложила лапу на виллу Кап д'Эль и уже на следующее лето сдала ее Диане Врилэнд, сказав при этом: «Я ее освятила. Там даже духу не осталось этой женщины!»

Однако, как заметила миссис Врилэнд: «Там нельзя было и шагу ступить, чтобы не наткнуться на очередное привидение».

Валентина продолжала жить у себя на четырнадцатом этаже, Гарбо — на девятом. Их нелегкая близость друг к другу продолжалась еще четверть века.

Сесиль и Гарбо в течение этого времени практически не общались, хотя каждое Рождество он поздравлял ее открыткой. Она телеграммой посылала ему большой привет и огромное спасибо. Когда Сесиль жил в США, работая над фильмом «Моя прекрасная леди», он познакомился с неким молодым калифорнийским учителем по имени Кин. В июне 1964 года молодой человек прилетел в Лондон и прожил у Сесиля почти год. Это был странный для них обоих период. В августе 1965 года Кин признал, что у их отношений нет будущего, и вернулся к себе в Сан-Франциско. В тот самый день, когда Кин улетел, а Сесиль отправился в Афины, чтобы принять участие в круизе, одним из пассажиров была Гарбо. Хозяйкой круиза была Сесиль де Ротшильд. Она на две недели привезла Гарбо в Сардинию, а затем они подобрали Сесиля в Вульямени, возле Афин. Имея богатый опыт в том, что касается ее умения заставить других заботиться о ней, Гарбо превратила Сесиль, выражаясь словами Ивлина Во, в «девочку на побегушках» — так он обычно называл услужливых до противности друзей.

По словам Битона: «Сесиль в жизни Гарбо исполняет роль Шлее, вернее Шлее и Мерседес вместе взятых, потому что я уверен, что Грета никогда не обращалась со Шлее так дурно, как она обращается с Сесилью».

Битон оставил в своем дневнике подробный отчет об этом

плавании:

«Сесиль — сама серьезность, по-ротшильдовски грузная и слегка обеспокоенная тем, что ее гости — Фредерик Ледебур и княгиня де Брольи — вдруг не появятся в назначенный день. Но они появились — и вскоре мы зажили корабельной жизнью. Сесиль — добродушная, отзывчивая женщина, которая не позволила взять над собой верх своим несметным богатствам. Диву даешься, как она успевает делать столько интересных, непривычных дел, проявлять столько энтузиазма и воображения. Она ужасно счастлива тем, что Грета вместе с ней на яхте, — она совсем помешалась. Она подшучивает над всем, что делает Грета, — даже если это в конечном итоге аукнется ей же самой. Сесиль с Гретой недавно провели две недели на Сардинии. Грета там хорошо спала и примерно себя вела, и даже общалась с большой компанией посторонних людей, но поскольку «Сиета» судно маленькое и все звуки по ночам отдаются здесь громким эхом, то Грета совершенно не может уснуть у себя в каюте. В довершение ко всему у нее расстроился желудок, и мой энтеровелаформ пришелся весьма кстати и вовремя спас ее — ведь если бы Грета не поправилась, то Сесили пришлось бы отвезти ее домой, а об этом уже поговаривали. Грета вела себя по отношению к ней на редкость жестоко — я был в ужасе. Как-то ночью Грета подошла к дверям ее каюты и заявила: «У меня температура. Ведь правда же, это страшно! Ты же видишь, что мне ни в коем случае нельзя путешествовать!» Или еще: Сесиль приносит в каюту Греты верхнюю часть какого-то наряда:

— Вот лифчик от твоего купального костюма.

— Я и сама это вижу, но где я теперь, по-твоему, найду нижнюю часть?

Или:

— Мои туфли — они ужасно грязные. Я их мою.

Сесиль;

— А почему тебе просто не положить их в воду?

— Нет, сначала туда, а затем обратно в каюту?

Сесиль;

— Но давай их за тебя помою я. Мне это ничуть не в тягость, но только после ленча, — так как ленч уже подан.

Г.: «Нет!»

С.: «Ленч подан».

Г.: «Ты что хочешь сказать, что ленч действительно подан?»

Сесиль (сама вежливость): — Но я же говорила, что ленч всегда подают в час или час пятнадцать.

— Тогда почему ты сразу не отвечаешь на мой вопрос? Который сейчас час?

— Час.

— Значит, я их сейчас мигом помою…

Прожив в одиночестве все эти годы, Гарбо так и не научилась правильно говорить по-английски. В результате своим прекрасным выразительным голосом она выдает словечки, которые услышишь разве что от голливудских электриков. Временами ее вообще невозможно понять, а поскольку я единственный из всех гостей, кто не боится ее «подкалывать», то как-то спросил ее: «Будь добра, переведи последнее предложение на шведский».

Когда мы бросали якорь в одной чудесной зеленой бухточке, окруженной поросшими лесом холмами, Сесиль заметила, как, должно быть, прекрасно каждый день просыпаться под перезвон колокольчиков овечьего стада и крики пастуха. И тут появилась Гарбо:

— Я глаз не сомкнула! Вы слышали, как орал этот чертов пастух! Подумать только, проснуться из-за какого-то пастуха!

Под этими безжалостными палящими солнечными лучами на палубе резко выделяется каждая морщинка, каждая складочка. Я, словно беркут, наблюдал за ней при любом освещении, даже тогда, когда она была ненакрашена — а это жестокий экзамен, и она не любит показываться на глаза без этой защитной «брони», — за исключением тех моментов, когда она с утра пораньше купается до всех нас или же идет спать, а затем возвращается, чтобы пожаловаться на шум. И все-таки в иные моменты — при благоприятных условиях, — она все еще способна предстать на редкость прекрасной. Ее профиль по-прежнему украшает дерзко торчащий нос. Этот нос природа украсила высокой переносицей, а глаза посажены столь глубоко, что над верхним веком залегла глубокая тень. С годами высокие скулы очерчены еще более смело и резко, а зубы, хотя и утратили свою ослепительную белизну (главным образом, из-за беспрестанного курения), по-прежнему крупные и ровные, и своим небольшим наклоном внутрь как бы подчеркивают дерзкие очертания носа (и к тому же когда-то удивительным образом отражали блеск софитов в студии). В нежно-абрикосовом вечернем свете она все еще выглядит потрясающе, и если ее правильно фотографировать, то она получится на снимке ничуть не хуже, чем в фильмах. Но ослепительна не только ее красота. Сама присущая ей атмосфера загадочности делает ее еще более притягательной, в особенности, когда она проявляет участие или же восхищается детьми, или же сама реагирует на какую-нибудь ситуацию с присущими детству изумлением и восторгом».

Сесиль продолжает свой отчет после того, как они причалили

к Скиатосу.

«Сейчас восемь утра — все остальные сошли на берег купить медовых пирожков, пока корабль заправляется горючим. Грета высунула голову из каюты и сказала:

«Подождите меня», — поэтому, как я полагаю, остальные тоже ждали — ведь Сесиль и шагу не сделает без Греты. Я же упрямо дни напролет просиживал в своей каюте, чтобы дочитать до конца томик Пруста, и вот теперь я оставил желтеющие деревья на Авеню Акаций и, взявшись за перо, пробовал воссоздать атмосферу этого путешествия. Надо сказать, это весьма изменчивая и странная атмосфера, по крайней мере, на поверхности, ведь поскольку мы все тут существа воспитанные, то и атмосфера царит дружеская и «непринужденная» — все эмоции держатся под контролем, — но, как мне кажется, я не единственный, кто ощущает волны зависти, ревности и недружелюбия, которые прокатываются над спокойной поверхностью. Прошлым вечером после обеда на Набережной, когда остальные покинули злосчастную таверну, чтобы выпить кофе, Жанна-Мари де Брольи и я сидели, лакомясь в кондитерской баклавой; мы впервые позволили себе перемыть косточки остальным путешественникам. На всем свете не найдешь более сдержанное, участливое, доброжелательное создание, чем Жанна-Мари. Она словно сошла с картины Энгра и поэтому, глядя на нее, трудно себе представить, что это мать двух взрослых детей, а к тому же большой знаток произведений искусства; такая она милая и открытая, что просто иногда диву даешься, что она способна выражать мнение — причем не всегда положительное, — о тех, кого любит. Жанна-Мари, скорее, анализировала, нежели перемывала косточки нашей хозяйке, с которой она делит каюту. Из-за чего она не в состоянии прочитать больше одной страницы — ее беспрестанно прерывают. Нервозность у Сесили переросла в настоящую неврастению, и она просто не может оставаться одна, даже на пару секунд, а еще она не в состоянии придерживаться какой-то одной темы — если, конечно, речь идет не о Грете, на которой она просто помешана. С Гретой Сесиль напоминает ребенка, завороженного коброй. Она готова стать ее рабыней, она добровольно готова подвергать себя всяческим унижениям, она будет только рада, если Грета будет ею помыкать. Но ведь это далеко не лучший способ провести оставшиеся годы, особенно сейчас, когда она особенно остро ощущает отсутствие мужчины в своей жизни.

* * *

Грета идет по берегу в капризном настроении. В десяти ярдах позади нее плетется Сесиль. Лишь только тогда, когда путь ей преграждает груда камней, Грета поворачивает голову, удостаивая Сесиль своим вниманием. Жанна-Мари заметила, что она глаз не могла оторвать от «королевы» — ведь в купальной шапочке та все еще хороша собой (этот знаменитый четко очерченный профиль), а еще она подчас бывает ужасно забавной, и как комично она кривляется. Но Мари также настроена критично: «Ты заметил, когда Сесиль поинтересовалась у нее (Греты), не желает ли она яичницу с ветчиной, та ей ответила: «Тебе ничего не надо заказывать, потому что яичница остынет или же мне придется появиться, когда я еще не готова. Я приду, когда буду готова, вот тогда ты и закажешь, и яичница будет горячей». За обедом она замечает: «Как прекрасен этот плод. Но он гнилой и незрелый — твердый, несъедобный». Даже Фредерик Ледебур — а он величайший джентльмен, такой мудрый, понимающий, терпимый — и тот не удержался и высказал замечание, что Грете ничем не угодишь. Однако на самом деле никто не настроен так критически, как я. И не потому, что я озлоблен или же смотрю на вещи предвзято, — просто потому, что я ее так любил, для меня сейчас стало сущим кошмаром видеть, куда завели ее эгоизм и пренебрежительное отношение ко всему на свете. Вчерашний день был для Греты не самым худшим. Она чувствовала себя очень даже неплохо — тем не менее весь день на что-то злилась. Когда я делал записи в дневнике, сидя рядом с ней на палубе, весь ее вид выдавал беспокойство и скуку. Когда мы купались — она оставалась на берегу. Когда же мы собрались уходить — ей понадобилось купаться. За обедом она то и дело переставляла тарелки или же вертела в руках зажигалку, ей вечно было что-то нужно, она то и дело, как ребенок, отпускала придирчивые замечания по поводу поданных блюд:

«Можно мне половинку лимона? Из этих ломтиков даже не выжмешь сока… ну и вкуснятина… а может, мне выпить кофе?»

Однако она не участвовала в общем разговоре, я же вознамерился во что бы то ни стало обсудить за обедом кое-какие темы и поэтому старался что было сил, несмотря на то, что Сесиль и Грета меня постоянно прерывали. Мы говорили о сегодняшнем кино; Грета отмалчивалась. Она даже не знала, что Жанна Моро сделала фильм о Мате Хари, а еще она слыхом не слыхивала об Антониони, Феллини, Ричардсоне и прочих. Она упорно хранила молчание, когда мы обсуждали сильные и слабые стороны Дитрих. Она отказалась принимать участие в обсуждении творчества экспрессионистов. Когда Жанна-Мари спросила у нее, когда жил император Август, Грета ответила: «Я

ничего не знаю». Нетрудно заметить, что эти бесконечные дни и вечера сплошного безделья в результате вылились в безразличие ко всему на свете. За последние двадцать лет ничто — ни новые впечатления, ни чье-либо влияние — не оставило в ее душе какой-либо след. А те забавные истории о Чаплине, что она рассказывала мне, я слышал от нее еще в день нашей первой встречи. Она не утруждает себя запоминать имена даже тех людей, с которыми волею обстоятельств ей приходилось встречаться. Я сомневаюсь даже, что она запомнила, как зовут Жанну-Мари, и постоянно называет ее «эта дама». Что за зрелище — этот вечерний свет, то угасающий, то вспыхивающий всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками! Но Грета, казалось, не замечала этой волшебной игры красок. В бело-розовых полосатых брюках она сливается с красками этих феерических всполохов, прекрасная, как легенда. Но, увы, эта легенда больше не существует в действительности. Обладай она настоящим характером, она бы давно отбросила эту легенду, обрела бы для себя новую жизнь — новые интересы, новые знания. На самом деле она ничуть не изменилась за прошедшие тридцать лет — разве только внешне, — и теперь и она сама, и ее манеры кажутся устаревшими. Бедная старушка Марлен Дитрих, с ее крашеными волосами, пластическими операциями и новой карьерой певицы, со всей прочей дребеденью — она все еще человек из плоти и крови: не гнушается готовить собственным внукам и постоянно чем-то занята. По-моему, это куда предпочтительнее, чем этот другой, холодный и бездушный фантом из прошлого.

В этом круизе произошел еще один забавный случай. Сесиль, Гарбо и Фредерик Ледебур обнаружили удобную для купания уединенную бухточку. Не успели мы там появиться, раздеться догола и устроиться на солнышке, как откуда-то издалека в нашу сторону с ревом устремилась моторная лодка. Сцена была прекомичнейшая. Грета попыталась спиной назад выползти на берег, я же, сверкая голым задом, вышел навстречу. Бедный Фредерик остался стоять как вкопанный, смущенно выставив на всеобщее обозрение незагорелые участки кожи и огромную обвислую мошонку — зрелище, какое не часто увидишь».

Гарбо поговаривала о возможности отправиться после круиза вместе с Сесилем в Лондон, но в конечном итоге предпочла вернуться в Нью-Йорк. 18 сентября ей исполнилось шестьдесят. Это событие было отпраздновано прессой, причем Холлис Алперт, автор «Барриморов», опубликовал обширную статью. Он накропал это свое произведение, когда Гарбо путешествовала по Европе. Алперт писал, что «сотни нью-йоркцев удостоились чести видеть это незабываемое лицо, когда она прогуливается по Пятидесятым

и Шестидесятым улицам, а иногда, случается, доходит даже до Шестой авеню. Написать что-либо правдоподобное о ее частной жизни оказалось нелегким делом: «Ее настолько пугает и беспокоит всякое, даже самое малое, вторжение в ее замкнутое существование что ее друзья, стоит только обратиться к ним с просьбой рассказать о ней, даже вознести хвалу в ее адрес, разлетаются прочь, словно испуганные голуби».

Тем не менее Алперту удалось раскопать кое-какую информацию. Ему удалось выяснить, что удачно вложенные капиталы начиная с 1952 года приносят ей ежегодный доход в 100 тыс. долларов, что она частенько бывает в гостях у графини Бернадотт, а Ричард Гриффит, сотрудник музея Современного Искусства, будучи ее другом, частенько крутил для нее фильмы с ее участием. После того как ее заметили на Выставке искусства мексиканских индейцев, она прекратила посещать экспозиции — ведь в тот последний раз она была вынуждена искать спасения, свернувшись калачиком в тускло освещенном макете индейской пещеры. Иногда она проводит уик-энды с Юстасом Селигманом в местечке Гринвич, штат Коннектикут; она отдыхала с Годдаром Либерзоном на Барбадосе, где от души лакомилась коктейлем с ромом. Джейн Гюнтер была вынуждена признать: «Она наделена некой поэтической магией, которую просто невозможно передать», — однако затем, как и все остальные, погрузилась в осмотрительное молчание.

В день ее рождения Гарбо так и не увидели ни в одном из ее излюбленных мест Нью-Йорка. Аллану Элсперу, владельцу «Шведского Книжного Уголка» на Восемьдесят Первой улице, был задан вопрос, не слышно ли о Гарбо чего-нибудь новенького. Тот ответил, что не видел ее уже несколько месяцев, добавив при этом: «Но когда я видел ее в последний раз, она выглядела отлично». — «Но выглядела ли она счастливой?» — «Счастливой, как всегда». — «Она одинока?» — «Ничего не могу вам сказать».

Приемов по поводу этого события не устраивали. Генеральный консул Швеции прислал цветы. Так что американской публике пришлось довольствоваться вот такими жалкими крохами. Сесиль вернулся в Англию, чтобы попытаться снова серьезно заняться живописью. В декабре он получил от Гарбо отпечатанное на машинке письмо, в котором та говорила, что вернулась к себе на Манхэттен, а также извинялась, что таки не выбралась в Англию, желала ему счастливого Рождества и заверяла, что вскоре напишет снова. Увы, новых писем от нее не последовало. И вскоре их дружба сошла на нет.

Глава 16
Мерседес: «Я сижу здесь в полном одиночестве»

В последние годы Мерседес одолевали разные хвори. Весной 1961 года она перенесла серьезную операцию на мозге, после чего чувствовала себя как угодно, но только не хорошо. Чтобы заплатить за медицинские расходы, она была вынуждена продать свои бриллианты. Ее последним пристанищем стала двухкомнатная квартира в доме № 315 по Шестьдесят Восьмой Восточной улице, кухня в которой располагалась в алькове в дальнем конце гостиной. В этой квартире она жила с кошкой Линдой, принадлежавшей Поппи Кирк. В этот период Мерседес подружилась с Уильямом Маккарти, куратором розенбаховского музея в Филадельфии, которому завещала свой архив. Однажды некий делец предложил ей десять тысяч долларов за письмо Гарбо, но, несмотря на финансовые трудности. Мерседес отклонила это предложение, распорядившись, чтобы эти письма в запечатанном виде хранились в Розенбахе еще десять лет после смерти самой Гарбо.

Когда в апреле 1961 года в городке Олд-Лайм, штат Коннектикут, скончался Абрам Пуль, ее доходы с его собственности были временно заморожены, и Мерседес была вынуждена попросить у Уильяма Маккарти небольшой аванс за передаваемые ему бумаги. Однако, когда Маккарти заболел, она вернула ему чек, так как была уверена, что он в нем сейчас нуждается больше, чем она.

В то время, в сентябре 1961 года, она увлеклась одной молодой актрисой, страдавшей от туберкулеза, которая никак не могла подыскать себе приличную работу, потому что была англичанкой и поэтому была вынуждена подрабатывать в кофейне под названием «Ореховый Шоколад» всего за тридцать восемь долларов в неделю. Друзья Мерседес считали эту девицу недостойной ее внимания. Сесиль оставался настроен дружески, регулярно слал ей письма, в которых интересовался ее здоровьем. В жизни Мерседес постоянно случались то взлеты, то падения. В декабре 1961 года она писала: «Я вижу, как многие люди вокруг меня ужасно постарели и то и дело хворают. Все это наводит меня на мысль, что самым мудрым решением было бы умереть в 45 лет, и как жаль, что я так не поступила. Только Анита Лоос все еще держится молодцом да еще Глория Свенсон — такое

впечатление, будто им дарована вечная молодость!»

В начале 1963 года Мерседес опять слегла, а через год ей пришлось перенести болезненную операцию на ноге, после чего у нее долго держалась температура. В письме Уильяму Маккарти она разъяснила свои намерения относительно переданных в музей документов. Письма Гарбо передаются в дар, но читать их не позволено никому, включая самого Маккарти.

Мерседес очень переживала из-за писем Марлен: «Марлен теперь становится мировой знаменитостью…» Мерседес объясняла, что ей крайне неприятно расставаться с этими письмами, но, по ее признанию, она не нашла в себе мужества их сжечь. Мерседес далее продолжала: «Когда вы согласились принять их, это был для меня благословенный момент. Мне только остается надеяться, что спустя долгие годы, когда вас уже здесь не будет, к ним сохранится прежнее уважительное отношение».

Одним из наиболее преданных ее друзей в эти годы была скульптор Мальвина Хоффман. Они вдвоем вели, если можно так выразиться, борьбу за существование, пытаясь свести концы с концами, и помогали в этом другим. Кроме того. Мерседес во многом полагалась на Уильяма Маккарти, причем не только в том, что касалось дружбы, но и материальной поддержки.

«Безусловно, по мере того как мы стареем, жизнь становится все более печальной и трудной. В молодости я об этом совершенно не задумывалась. Не то, что теперь. Я на примере собственной жизни вижу, сколь многое изменилось за последние годы. Сколько друзей потеряно — кого-то унесла смерть, кто-то ушел сам. Вот почему я так ценю вашу дружбу, а также дружбу Мальвины, которая в течение нескольких лет делит со мной все трудности».

Маккарти в 1965 году покончил жизнь самоубийством, Мальвина Хоффман умерла в 1966. Неисправимая искательница приключений. Мерседес познакомилась с Энди Уорхолом и регулярно отмечала День Благодарения вместе с ним и его друзьями. Однажды Уорхол, находясь на пикнике вместе с Мерседес, встретил Гарбо, которой преподнес свой набросок бабочки. Та небрежно скомкала подарок, но он успел его выхватить и позднее попросил свою мать написать на нем: «Скомканная бабочка — произведение Греты Гарбо». Благодаря Мерседес Энди Уорхол познакомился с английской актрисой Изабель Джикс, которую, кстати, обожал Битон. Изабель Джикс, которой уже стукнуло семьдесят, писала Мерседес:

«Ваш друг Энди Уорхол прислал мне несколько записей «Твиста». Это поистине вещь! Как, однако, это мило и трогательно

с его стороны. Их ужасно забавно слушать, причем это не только мое мнение. Не иначе как весь мир сошел с ума».

Еще одним ее другом стал Киран Танни, актер и драматург, позволявший таким актрисам, как Дейли Сибил Торкдайл, звонить ему посреди ночи; он, вполне естественно, вписался в круг друзей Мерседес. Он ей искренне сочувствовал, понимая, что она оказалась забытой теми, кто когда-то ее знал, и теперь искала опору в молодых актрисах, которые заводили с ней дружбу исключительно ради того, чтобы познакомиться с Гарбо. Так что Танни стал ей чем-то вроде поводыря. Она звонила ему днем и ночью, он приглашал ее с собой на вечеринки. В свою очередь, она брала его в гости к старым верным друзьям и кое-кому из молодых актрис — они, как правило, сущее мучение: «претенциозные, скованные, хотя и с богемными замашками». Но в конечном итоге даже такой терпимый человек как Танни не вынес свалившихся на него испытаний. По его признанию, Мерседес явно «злоупотребляла» его дружбой. Она постоянно жаловалась, что ее все позабыли. И Танни недоумевал, как ей вообще удавалось дружить с кем-либо более-менее продолжительное время. Если к ней не идет сон, то ей ничего не стоит позвонить вам в час, два, три часа ночи и пуститься в рассуждения о смысле бытия, сна и бодрствования, или же вообще о сути какой-нибудь дальневосточной религии, которая, по ее мнению, способна коренным образом изменить наши жизни. Или, например, если кто-то приглашен на уик-энд в Саутгемптон или Бриджгемптон, то Мерседес считает, что она тоже обязана удостоиться приглашения, даже если хозяева о ней и слыхом не слыхивали или ни разу ее не видели в глаза. И если вам все-таки удалось справиться с этой неловкой задачей, вполне можно ожидать, что она будет дуться на протяжении всего уик-энда, если только хозяева не сумеют обеспечить ей соответствующую диету, которой она, как назло, придерживается в это время. В конечном итоге Танни ради «сохранения ясности ума» сократил свои встречи с Мерседес до минимума. Более молодой по возрасту друг, Уайдлер Люк Бернэн, сохранял преданность Мерседес, а его мать в последний год ее жизни навещала ее практически ежедневно. Бернэн обожал Мерседес, несмотря на ее привычку время от времени впадать в дурное настроение. Она поведала ему множество историй из своей жизни, а однажды он спросил ее:

«Мерседес, в чем ваш секрет?»

На что она ответила:

«По-моему, у меня нет никаких секретов, потому что я сижу здесь в полном одиночестве».

В апреле 1966 года Сесиль, позвонив Мерседес, застал ее «медленно угасающей». Она пробормотала, что, по всей видимости, умирает, но исключительно из вредности «еще как-то пытается цепляться за жизнь». Прекрасно понимая, что конец не за горами, Сесиль умолял Гарбо послать Мерседес, по крайней мере, открытку и наткнулся на совершенно враждебную реакцию: «С какой стати ты поднимаешь эту тему? Мне и без того хватает забот. Я не могу сказать тебе, в чем дело. Но с меня достаточно. Я больше не хочу никакого беспокойства».

Мерседес протянула до 9 мая 1968 года и скончалась после длительной болезни у себя в постели в доме № 315 по Шестьдесят Восьмой Восточной улице. В некрологе о ней писали как о «поэте, драматурге и сценаристе», там говорилось также, что это была «царственного вида женщина испанского происхождения», «близкий друг Греты Гарбо и Марлен Дитрих», «феминистка». На похоронах присутствовали лишь самые близкие. Сесиль у себя в дневнике записал свой вариант эпитафии: «Итак, такая трагичная фигура как Мерседес наконец-то покинула этот мир. Около десяти лет она была прикована к постели болезнью, однако уже на пороге смерти поклялась, что не станет сдаваться. Ее врожденное упрямство помогло ей вынести долгие годы мучений, болезней и душевных страданий. Мне искренне жаль, что боль, и расходы, и мужество затянулись слишком надолго. Мне не жаль, что она умерла. Мне жаль, однако, что она так и не раскрылась до конца как личность. В юности она проявляла пыл и оригинальность. Мерседес принадлежала к самым оголтелым и бунтарски настроенным лесбиянкам. Ее мужем стал милый человек и плохой художник (Абрам Пуль), однако даже выйти замуж она не желала, чтобы ее не называли «миссис». Она всегда оставалась Мерседес де Акоста (и никогда не именовалась «Мисс»). Ей удавалось не только с ходу заводить знакомства со всеми интересующими ее женщинами, но и завязывать с ними интимную дружбу. Она — хотя я в этом не совсем уверен — сообщила Мод Адамс, что ее дом объят пламенем, и впоследствии неотъемлемой частью вошла в ее жизнь — так же, как и в жизнь Айседоры Дункан, Мари Доро, Аллы Назимовой и многих других. Она обладала безупречным испанским вкусом во всем, что касалось внутреннего убранства ее дома и одежды, — пользовалась только черным и белым. И за всю свою жизнь ни разу не уступила вульгарности многих американских привычек. «Неамериканский» ее характер моментально бросался в глаза — черная треуголка, башмаки с пряжками, плащ-накидка и крашеные волосы цвета воронова крыла. Она постоянно вынашивала какие-то планы — то написать пьесу для Эвы Ле

Галльен, то разродиться романом или же диссертацией на тему индийской философии, но ее единственная публикация — а именно, автобиография — явилась для многих огромным разочарованием. Она (Мерседес) превратилась в довольно идиотичную, мелочную и капризную особу. Она искала поводы для жалоб и находила их. Жизнь своих друзей и возлюбленных она умудрилась превратить в сплошные мучения. Она закончила жизнь бедной и больной, но только не старухой. Она была наделена галантностью, которая тотчас бросалась в глаза даже в ее пружинящей походке. Когда я звонил, чтобы поинтересоваться, можно ли мне проведать ее, пока она прикована к постели, она ответила: «Ты не выдержишь этого зрелища. Понимаешь, боль в глазу была столь невыносима, что я совсем поседела». Однако раз я пытался растопить лед в душе Г., умолял ее послать хоть пару строчек все еще любящей ее Мерседес.

— С меня и без этого хватит забот!

Я даже подумывал о том, не послать ли мне Мерседес цветы, притворившись, что они от Г. До сих пор корю себя, что я этого не сделал. Мой обман никогда бы не обнаружился. Но так уж случилось, что, пережив в полной мере кошмар пребывания в нью-йоркской больнице, испытав на себе грубое обращение сестер и врачей, Мерседес осталась без гроша в кармане. Она, можно сказать, превратилась в нищенку. Ей хотелось оставить вульгарность Голливуда и Нью-Йорка и снова посетить Европу. Но у нее не осталось ни друзей, ни денег. А теперь, без единого доброго слова от той, которую она любила больше, чем кого-либо в своей жизни. Мерседес ушла от нас в могилу. И у меня отлегло от души, что ее затянувшимся страданиям наконец-то пришел конец».

Глава 17
Сесиль продает свою историю

Сесиль публиковал тома своих дневников начиная с 1961 года. «Годы странствий», их первый том, повествовал о раннем периоде его жизни до 1939 года, «Меж времен» были посвящены военному времени. Что касалось следующего тома, то проблема для Сесиля заключалась в том, публиковать ли ему подробности его отношений с Гарбо или же целиком их опустить. Природный инстинкт подсказывал ему, что надо публиковать все, а в данном конкретном случае он считал, что это — неотъемлемая часть его жизни и любое умолчание исказит смысл публикации. С другой стороны, изучив Гарбо как свои пять пальцев, он прекрасно отдавал себе отчет, каковы могут оказаться последствия. Перед ним маячил печальный образ Мерседес. Именно то, как жестоко обошлась Гарбо с Мерседес, и заставило Сесиля принять окончательное решение — публиковать.

«Я зол на нее, что она так и не проявила снисхождения к Мерседес, — писал он в сентябре 1968 года, — и не сомневаюсь, что никогда не дождусь от нее никакой помощи, даже если буду остро в том нуждаться. Вполне возможно, что я сам создаю себе ситуацию, в которой я смогу действовать дальше и навлечь на себя проклятье».

* * *

Сесиль закончил машинописный вариант летом 1967 года, а в январе 1968 подписал контракт с издательством «Вайзенфельд и Николсон». Вскоре уже была вычитана корректура, и в ноябре 1971 года в американскую прессу просочились первые выдержки из книги.

«Мак-Кол» опубликовал отрывок, который затем подхватил «Ньюсуик». Сесиль же пытался смириться с тем, что он «натворил» в своем дневнике. Эти строки можно назвать вышедшим из-под пера катарсисом;

«Возможно, если мне удастся хотя бы частично запечатлеть его на бумаге, я смогу вздохнуть свободнее и беззаботно доживу свой век. Надо сказать, что я ужасно страдаю от ужасных спазмов, от которых мои бедные кишки словно просят пощады, а весь живот нестерпимо болит. Уинди Лэмбтон, этот ангел во плоти, позвонила мне из Лондона — она сказала, что ей известно о моих

страданиях, но я не должен ничего объяснять ей или жаловаться, а не то мне станет еще хуже вместо того, чтобы пойти на поправку. Теперь, после того как эта бомба взорвалась, все, чем я пытался утешить себя — все это семидневное чудо (в конечном итоге, что такое газетная статья?), — оказалось совершенно бесполезным. Я встревожен — и причем не на шутку. Я понимаю, что всего этого можно было бы избежать и я сам во всем виноват, но я решил проявить храбрость, а все остальное пусть катится к черту, но теперь я получил свое и никак не могу понять, как наилучшим образом выкинуть все это дело из головы. Если я буду и дальше заниматься садовой скульптурой, то создаваемая мною фигура станет воплощением моих переживаний, а если я возьмусь за кисть в студии, то все равно это станет выражением моего душевного состояния. Это такое чувство, которое часто не отпускало меня в ранние годы. Когда я опубликовал фотографию, которую, я знал, мне не следовало публиковать, в мой адрес сразу раздались возмущенные возгласы, и, господи, как я тогда переживал! Позднее, возможно потому, что я стал старше и осмотрительнее, подобные кризисы случались все реже — к моему величайшему облегчению, поскольку я уверен, что, несмотря на весь мой опыт общения с прессой, я стал еще более чувствителен и принимаю все слишком близко к сердцу. Ужасное чувство вины и тревога неотступно преследовали меня. У меня начались головные боли, и я чувствовал себя омерзительно. Я не мог уснуть, опасаясь, что стану терзать себя мыслями о каких-нибудь строчках из моего дневника в том виде, как их опубликовал «Мак-Кол», — что они обязательно оскорбят Грету или кого-нибудь из моих друзей. Затем, когда мне казалось, что волнение уже улеглось, я открыл номер «Телеграфа» и увидел фотографию, где были изображены я и Грета. Не может быть. В животе у меня все свело, и я опрометью бросился в уборную.

Еще немного новостей — правда, не таких печальных. Эйлин Хоуз (секретарь Битона с 1953 по 1980 год) позвонила мне рано утром. В прессе промелькнула одна очень хорошая новость.

Мне пожалован дворянский титул. Господи, только этого мне еще не хватало! У меня было такое чувство, будто мой бедный мозг не выдержит и взорвется. За эти последние дни чаша терпения оказалась переполненной. Разумеется, все это весьма приятно. В глубине души я всю свою жизнь лелеял надежду, что когда-нибудь удостоюсь такой чести. И хотя рыцари теперь не в таком почете, как прежде, тем не менее это большая награда, которой не грех и похвастать. И это вовсе не результат того, что у меня при дворе есть друзья (Вейденфильд с Уилсоном), или же проталкивания со стороны какой-нибудь крупной организации

(например, Фред Энтон из Ковент Гардена). Нет, в данном случае это «заслуга одного человека». Как жаль, однако, что моя мать не дожила до этого известия, а также мои тетушки Кади и Джесси. Неожиданно я ощутил себя этаким важным старцем. И все равно, как это мило с их стороны — удостоить меня такой чести, и, как мне кажется, я вполне ее заслужил — и не только за мой талант — за стойкость, выдержку, упорство, за мои разносторонние начинания. И вот теперь, когда все это произошло (или все же они передумают из-за этой статьи о Гарбо), странно, как мало занимает мои мысли это свалившееся на меня высокое звание. День тянется как и обычно: время от времени я думаю: «Звучит внушительно», но затем мне приходят на ум другие «рыцари» — Редгрейв, Раттиган, Хелпмэнн, и я начинаю воспринимать все гораздо спокойнее. И все равно я счастлив — и должен постараться хорошенько его прочувствовать, как кульминацию долгих трудов, и вдобавок радоваться, что эта новость порадует еще не одного человека».

О посвящении Сесиля в рыцарское звание было объявлено 1 января 1972 года, и вскоре он был приглашен в Букингемский дворец, чтобы услышать новость уже из уст самой королевы. Последствия того дела оказались не столь радужными. С того самого момента, как Сесиль опубликовал свои откровения о Гарбо, он так и не был до конца уверен, что кое-кто из старых друзей не отвернется от него и вообще пожелает с ним еще знаться. Одной из тех, кто открыто выразил свое неодобрение, стала хозяйка яхты, Сесиль де Ротшильд. Во время тура «Connaissance des Arts» по северу Германии в мае 1972 года подруга Гарбо пошла в лобовую атаку.

«Позволь спросить тебя, сколько же ты заработал на Гарбо, публикуясь в «МакКоллз», «Таймс», «Огги» и прочих журналах? То есть сколько, вместе с фотографиями для «Вога», за последние двадцать лет?»

Сесиль попытался дать самый что ни на есть точный ответ. По его подсчетам, сумма составляла где-то четыре тысячи фунтов. Баронесса тотчас упрекнула его.

«Ну и как, неплохо? Я бы не отказалась получить четыре тысячи фунтов на мелкие расходы, — и она рассмеялась своим слегка гнусавым смехом. — Неплохо, а? Для кого-то, кто не нуждается в паблисити? Даже Стоковский не посмел продать газетам свою историю».

«Счастливые годы» вышли в Лондоне в июне, и поначалу Сесиль отказывался читать отклики. Как и следовало ожидать, за публикацией последовали разные домыслы, но вскоре обозреватели уловили суть того, что пытался сделать Сесиль: не

столько похвастаться перед всем миром тем, что у него был роман с Гарбо, сколько нарисовать ее портрет, используя для этого свою удивительную наблюдательность. Из тех критических отзывов, которые были важны для него, следует выделить заметку Беверли Никольс и Сирила Конноли. Беверли Никольс писала в «Спектейторе»: «Это либо подлинная история, либо пустышка. Как мне кажется, она правдива от первой строчки до последней. Битон придал образу Гарбо новое измерение, значительно упрочив ее положение в истории нашего времени».

Сирил Конноли, более именитый критик, опубликовал рецензию на книгу в «Санди Таймс»: «Я не думаю, что он поступил хуже, чем, например, художник, который выставил свой потрясающий портрет без разрешения того, кто для него позировал». Но раздавались и враждебные голоса. Э. С. Тернер писал в «Лисенере»: «Для автора данных строк сама картина того, как Битон нежно поглаживает позвоночник «Божественной», представляется едва ли не богохульством, подобно тому, как господин Эрик Линклатер лобызал боттичелевскую «Весну», обнаружив ее в годы войны в тайнике».

Старые соперники остаются таковыми вплоть до самой смерти, как то еще раз подтвердил пример Ивлина Во, написавшего два критических отклика. Первый для «Харперс энд Куин»: «Несмотря на то, что эти (дневники) были тщательнейшим образом пересмотрены и отредактированы, несмотря на то, что местами в них сквозит излишняя осмотрительность, данный том можно порекомендовать как наглядное свидетельство нескольких отвратительных лет британской истории, о которых поведано с подкупающей задушевностью». Год спустя, в «Чикаго Трибьюн», Во еще резче отозвался об американском издании книги: «Самая печальная и чудовищная часть рассказанной Битоном истории заключается в описании им романа, который, судя по всему, имел место между ним и Гарбо. По мере того как эти две неприкаянные души разыгрывают отведенные им роли — он, как импульсивный, но тонко чувствующий экстраверт, одержимый идеальной страстью, она, как некий боязливый фавн, — мы видим битоновское предназначение в безобразном, холодном свете: сначала нам видно, что за аффектацией и ложными ценностями скрывается эмоциональная опустошенность, печаль и одиночество, но затем нам становится ясно, что за печалью и одиночеством находится объект жесточайшей и совершенно неописуемой комедии». Этот последний отзыв больно задел Битона, когда тот наткнулся на него во время особенно изматывающего рекламного турне весной 1973 года.

Но еще до этого вечно издерганному неприкаянному

фотографу пришлось пережить еще больший кошмар. Ему повсюду начали мерещиться двойники Гарбо — будь то в самолете или на улице. Вскоре это превратилось в навязчивую идею. В своих более поздних дневниках Битон посвятил немало места анализу того, что он сам называл, «моим преступлением». Хотя он неизменно заявлял, что будь у него возможность заново принять решение, он все равно поступил бы точно так же. Тем не менее Битон временами впадал в раскаяние. Один из неприятнейших для него моментов имел место в конце лета 1973 года. Сесиль прогуливался с одним из своих друзей-американцев, Сэмом Грином, когда им неожиданно встретилась Валентина Шлее в темных очках.

«Эта была наша первая случайная встреча после того, как я опубликовал свои дневники, в которых не раз делал намеки на маленького мужчинку (ее мужа). А вдруг ей захочется дать мне пощечину? Или же выскажет все, что обо мне думает? Расстояние между нами неуклонно сокращалось. Она холодно посмотрела на меня. Когда мы поравнялись, я с нарочитой учтивостью приподнял соломенную шляпу. «Ах, мой «дарлинк»[13] Сесиль! Ах, ты, господи!» Мы расцеловались, рассмеялись и обменялись парой банальных фраз. Я поинтересовался, уж не отдыхать ли она приехала сюда.

«Ах, разве сейчас можно где-нибудь отдохнуть?» — ответила она вопросом на вопрос. Сэм Грин прокомментировал это таким образом:

«Сесиль совершенно серьезно испугался, что она накинется на него».

Гарбо так ни разу и не высказалась публично, и не стала обращаться к адвокату, но все равно, последние годы Сесиля не оставляло ощущение вины. Он утешился, получив присланное Патриком О'Хоггинсом описание Гарбо. Патрик, который приходился ей почти что соседом по Верхнему Ист-Сайду, вспоминал, как в апреле 1973 она делала покупки в итальянской зеленной лавке по соседству от ее дома: «У нее с собой было две сумки, в которые она затем положила купленные овощи. Она была в темных очках и постоянно улыбалась, и каждый пытался ей чем-то помочь, понимая, однако, ее желание сохранять инкогнито». Эта сценка, отдаленно напоминавшая первые кадры фильма «Безумная из Шайо» с участием Кетрин Хэпберн, стала для Сесиля последним напоминанием о женщине, которая владела его сердцем долгие годы. Тем не менее судьба ниспослала ему еще одну, заключительную встречу. На протяжении нескольких лет Сесиль мучился кошмарными головными болями. В июле 1974 года он перенес серьезный удар,

в результате чего у него отнялась кисть правой руки, резко ухудшилась память на имена и почти ничего не осталось от его элегантной манеры держать себя. Сесиль пытался побороть все эти трудности и постепенно даже научился пользоваться левой рукой — писать, рисовать, делать фотографии. В октябре 1975 года в Англию, вместе с Сэмом Грином, приехала Гарбо; на этот раз Битон стал ее самым преданным спутником. Сэм нередко путешествовал и с Сесилем, и поэтому ему хотелось во что бы то ни стало взбодрить последнего, захватив с собой Гарбо. «Мне казалось, что это лишь пойдет ему на пользу, — говорит он, — и ей со мной будет как-то легче». Путешественники добрались до вокзала в Солсбери, но неожиданно Гарбо запаниковала и принялась высказывать домыслы, не поджидает ли ее — по наущению Сесиля — на каком-нибудь дереве фотограф:

— У него наверняка что-нибудь на уме.

Сэм заявил, что он, тем не менее, едет в Бродчолк. Гарбо ничего не оставалось, как присоединиться к нему. Сесиль был несказанно рад снова ее увидеть, и Гарбо тоже нежно льнула к нему и даже устроилась у него на коленях. Свои седые волосы она перевязала шнурком. Но когда Сесиль, едва передвигая ноги, направился в столовую, Гарбо повернулась к его секретарше Эйлин и прокомментировала: «Ну, как, скажите, я могла выйти за него замуж? Вот за такого-то!»

На следующий день, когда Гарбо стала готовиться к возвращению в Лондон, Сесиль потянулся к ней, чтобы обнять, сказав при этом: «Грета, любовь всей моей жизни!»

Грета, не зная, что на это ответить, заметила книгу для посетителей. Она уклонилась от объятий и, нарушив неизменное правило, полностью Написала свое имя. После этого она сделала все, чтобы ей больше не видеться с Сесилем. Когда в феврале 1978 года Сесиль прилетел в Нью-Йорк, он многократно пытался дозвониться до Гарбо, но телефон отвечал неизменным молчанием. От этого ему стало нестерпимо грустно. 18 сентября 1980 года, через несколько дней после того, как ему исполнилось семьдесят шесть. Битон скончался в своем Уилтширском имении Бродчолк. Когда его опускали в могилу, Гарбо не прислала даже цветка.

Глава 18
Гарбо: «Я должна успеть домой до семи»

Разделенные несколькими этажами, Валентина и Гарбо жили в том же самом доме еще двадцать пять лет после смерти Джорджа Шлее. Гарбо любила выходить из дома днем, в то время как мадам Шлее под вечер. И верно, Гарбо частенько говаривала: «Мне надо успеть домой до семи, пока не вышла мадам Шлее». Теоретически, они не должны были встречаться, но, разумеется, время от времени это происходило. Сэм Грин вспоминает, как однажды вечером, около семи, он возвращался вместе с Гарбо, когда заметил, что навстречу им движется Валентина. Русская мадам с вызовом взглянула на шведку. Гарбо смутилась и поспешила отвернуться. Это была неприятная для обеих встреча.

Валентине удалось сохранить кое-кого из друзей, таких, например, как Глория Вандербильд, однако ее старость была одинокой. Зиму Валентина проводила в Нью-Йорке, летом же, следуя многолетней привычке, отправлялась в Венецию, где для нее всегда держали номер люкс в отеле «Чиприани». Поговаривали, будто народ «при ее прибытии разбегался куда-то». И впрямь, мало кого могли привлечь ее резкость, ее эксцентричность, ее вычурная русская манера держаться, ее беспрестанные разговоры о религии и потусторонних вещах. Временами она бывала донельзя вспыльчивой и угрюмой. Сесиль стал одним из тех, кто совершил к Валентине нечто вроде паломничества. Он поднялся на лифте на четырнадцатый этаж и вошел в ее апартаменты. Что весьма нетипично для Нью-Йорка, Валентина одна занимала целый этаж, откуда открывался вид на Манхэттен и через Ист-Ривер — на Квинс. Ее гостиная поражала простором и великолепием — здесь в ряд выстроились восемь окон, сквозь которые доносился приглушенный гул движения по Ист-Ривер-драйв. Вдоль стен выстроились тома в кожаных переплетах, некоторые из них были повернуты обложками наружу, чтобы были видны орнамент и заглавие. После смерти Шлее здесь ничего не изменилось. В его кабинете перья все еще лежали рядом с пресс-папье, а множество фотографий свидетельствовали о счастливо прожитой жизни, почти без единого намека на невидимые глазу драмы. Здесь же находились фотографии Валентины с Ноэлем Кауэрдом и герцогиней Виндзорской, с Рексом Харрисоном, который жил этажом выше.

В 1970 году Сесиль оставил воспоминания о своем посещении Восточной Пятьдесят Второй улицы:

«Я пришел домой к Валентине, чтобы попросить у нее один из театральных костюмов для моей музейной коллекции (в музей Виктории и Альберта). Я не был у нее около двадцати лет, отчасти из-за ситуации со Шлее и Гарбо, но главным образом потому, что Валентина — одна из невыносимейших эгоцентриков-маньяков. Теперь, когда она постарела, мало кто согласен заискивать перед ней, поэтому Валентина была готова отдать мне все, что попрошу. Поначалу меня поразило, как ее квартира была похожа на квартиру Гарбо. Возможно потому, что у них одинаковая планировка (все-таки это одно и то же здание), но главное — все те же чрезмерные украшения и побрякушки: аляповатая позолота соседствует с великолепными образцами в стиле Людовика XV. Повсюду, словно пятна экземы, намалеваны цветы (особенно по стенам) — совершенная безвкусица. Однако главным потрясением стала сама Валентина: зубы у нее явно вставные, а нос стал более мясистым, глаза, наоборот, превратились в щелки — она вся какая-то бесцветная, хотя когда-то производила впечатление настоящей красавицы.

«Дарлинк, тебе нравится мой волос? (Она все еще плохо говорит по-английски). Я сама его мою. Я его обрезала — ты пощупай», — она говорит, сильно при этом жестикулируя, о Виндзорах и других малоинтересных вещах. Она принялась расхваливать кресло в англо-французском стиле, зажигает свет, чтобы я разглядел ее Монтичелли, а затем показывает мне огромное дерево гибискуса. Она получила его в подарок (когда-то это был крошечный росток) от Мэгги Тейт, в обмен на костюм для «Пелея и Милисанды». Валентина говорит, что подкармливала его витаминами, пересаживала, мыла — ухаживала, как только могла; а еще она говорит, что каждый раз по возвращении из-за границы дерево встречало ее пышными цветами, словно в знак приветствия. В мою честь сегодня на нем тоже распустился цветок. Просто удивительно, как ей удалось сохранить русский образ жизни, даже сейчас, когда для нее наступили тяжелые времена. Так или иначе, у нее есть пара горничных, которые за ней ухаживают, но в остальном она совершенно одинока, и поэтому любое незначительное происшествие становится в ее глазах важным событием. Мне, надо признаться, понравилось, как она суетилась вокруг меня, желая угостить тоником. Количество льда тщательным образом взвешивалось — за чем следовало распоряжение служанке: «А теперь будь добра, поди отрежь ломтик лимона, и получше».

Никакого легкомыслия — все в этом доме совершается с

величайшей серьезностью. В некотором роде приходится признать, что она — прирожденный художник. Затем Валентина принесла серое шифоновое платье, легкое, как дуновение ветерка, сделанное для Тэмми Граймс в «Хорошем настроении». Это был шедевр портновского искусства и математики. «Материал китайский», — сказала она, ощупав швы. И тогда я понял, что она искренне верит, будто талант дан ей богом, а посему должен сохранить свою божественную сущность и им не должно злоупотреблять. Недавно один менеджер обратился к ней по телефону с просьбой, чтобы она за четыре дня изготовила ему пять костюмов. В ответ Валентина дала ему резкую отповедь. Затем она сбросила с себя одежду, оставшись в черных панталонах и лифчике, и принялась демонстрировать мне платье во всей его разнообразной красоте, после чего сама же мне его и завернула. Сколько в этом движении было утонченности и заботы! Произведением искусства было даже то, как она пыталась завернуть платье в какие-то обрывки скомканной тисненой бумаги. «Они, конечно, не новые, но зато чистые. Это сложим вдоль, это — поперек, — и еще разок».

Она стояла длительное время в мучительно болезненной позе, наклонясь вперед (ведь у нее радикулит), но была сосредоточена только на том, что делала в этот момент, — а именно, готовила для будущих поколений произведение искусства. Когда она сделала заключительное движение, совсем по-детски закатав при этом рукава, то наклонилась вперед и поцеловала сверток. «Прощай», — произнесла она при этом. Сцена получилась поистине трогательной — в ней не было ни грана фальши.

Десять лет спустя Валентина повстречала Диану Вриланд в гостях у Глории Вандербильд и пригласила ее на обед. Миссис Вриланд приняла приглашение и, по ее воспоминаниям, обед отличался натянутостью. И хотя там звучали тосты и шутки, в честь друг друга поднимались бокалы, но разговор как-то не клеился. Миссис Вриланд сразу сделала вывод: «Трудно понять, как вообще ей удается прожить каждые новые сутки».

Но к этому времени Валентине было уже за восемьдесят и она постепенно впадала в хвори и уныние.

Летом 1984 года увидели, как она плутает на улицах Венеции, и лишь большим чудом ей удалось избежать больницы. Когда ее дням подошел конец, она безвылазно находилась в Нью-Йорке, время от времени попадая на больничную койку, но неизменно возвращаясь домой на Пятьдесят Вторую Восточную улицу. В последние годы Валентина пала жертвой болезни Паркинсона и поэтому не могла обойтись без постороннего ухода.

В глубокой старости она имела привычку спускаться вниз, чтобы посидеть в фойе, глядя, как редкие жильцы ходят туда-сюда по своим ежедневным делам.

Скончалась она 14 сентября 1989 года, предположительно в возрасте девяноста лет. Похороны ее состоялись утром 18 сентября — по иронии судьбы, в день рождения Гарбо, когда той исполнилось восемьдесят четыре. О Валентине к тому времени практически все забыли, но в последний путь ее проводили достойно. Билл Бласс был одним из тех, кто посвятил ей памятные строки: «Она создавала замечательные наряды, но никто не выглядел в них так, как она сама». Спустя несколько дней после смерти Валентины лифтер дома № 450 по Пятьдесят Второй Восточной улице увидел, что Гарбо выходит из своих апартаментов, и поспешил сообщить ей, что мадам Шлее умерла. Услышав это. Грета разрыдалась. Сама Гарбо к этому времени хотя и бодрилась, но передвигалась с трудом. В последующие недели содержимое апартаментов Валентины было выставлено на аукционе Кристи, а в газетах начали появляться фотографии Гарбо — изредка репортерам удавалось запечатлеть ее во время ее нечастых вылазок к врачам. 15 апреля 1990 года, спустя семь месяцев после смерти Валентины, Гарбо скончалась в Нью-Йоркском госпитале.

Иллюстрации

Грета Гарбо в «Гранд-Отеле», 1932 г.

Сесиль Битон с сестрой в своем «аркадском раю»

Мерседес де Акоста — «Черное и белое»

Возлюбленные Мерседес: Эва Ле Гальен — она играла в пьесе Мерседес.

Алла Назимова, русская актриса.

Она Мансон с Кларком Гейблом в «Унесенных ветром»

Гарбо по прибытии в Швецию.

Марлен Дитрих в «Красной императрице», 1934 г.

Мерседес де Акоста. Снимок сделан Марлен Дитрих

Двойной портрет — Гарбо и Дитрих. Автор снимка Эдвард Штайхен.

Грета Гарбо. Фото сделано Битоном в 1946 году в отеле «Плаза».

Валентина Шлее в одном из своих нарядов в нью-йоркских апартаментах на 52-й улице.

На «Русском вечере», организованном Валентиной. (1947 г.)

2.
NO PARK

Грета Гарбо в сопровождении своего «телохранителя» Джорджа Шлее во время поездок в Лондон (1947 г.) и Нью-Йорк (1946 г.)

Гарбо, сфотографированная Сесилем, в своем саду. Калифорния, март 1948 г.

Гарбо и Шлее. Париж, 1941 год.

Рам Гопал, известный индийский танцовщик, друг и возлюбленный Мерседес.

Поппи Кирк в столовой Белого дома во время Второй мировой войны. Мерседес жила с ней в конце 40-х годов.

Гарбо ставит свою подпись под документом о принятии американского гражданства. (1951 год)

«Реддиш Хаус», Дом Сесиля в Уилтшире.

Гарбо в диванной комнате «Реддиш Хауса»

Гарбо с Клариссой Черчиль

Сесиль и Гарбо на одном из своих званых вечеров в 1951 году. На заднем плане — Ноэль Кауэрд.

Фотография Сесиля и Гарбо, сделанная неизвестным репортером в то время, когда они покидали резиденцию английского премьер-министра (1956 г.).

Вилла Ле Рок на юге Франции, где Шлее и Гарбо проводили летние месяцы с конца 50-х до начала 60-х годов.

Гарбо и Аристотель Онассис летом 1956 года

Гарбо и Шлее на празднике в 1958 году

Во время путешествия по Греции: Фредерик Ледббур, Сесиль и Гарбо

Гарбо в горах. Снимок сделан Сесилем.

Сесиль и Гарбо на борту судна.

Гарбо и Сесиль Ротшильд на парижских улицах в 1979 году. Одна из последних фотографий актрисы.

Фотография Гарбо, которую Сесиль хранил в своей спальне до самой смерти.

notes

Примечания

1

Абрам — муж Мерседес

2

Руритания А. Хоупа — вымышленное королевство из романов.

3

Любовный союз троих *(франц.)*

grande nouvelle *(франц.)* — грандиозная новость.

profile perdue (франц.) — безупречный профиль.

ad infinitum *(лат.)* — до бесконечности.

a la grecque *(франц.)* — под гречанку.

haute couture *(фр.)* — высокая мода.

папарацци *(итал.)* — фотографы бульварных изданий.

то есть королеву-мать. *(прим. перев.)*

11

Quel oiseau! *(франц.)* — Что за птичка!

12

Bonjour Tristess *(франц.)* — Привет, грусть

испорченное англ. слово «darling» — дорогой